Гражданин Города Солнца

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сергей Львов — критик, публицист и прозаик. Ему принадлежат многочисленные статьи о советской и зарубежной литературах, опубликованные в периодике, публицистические статьи, составившие сборники «Сердце слышит» и «Еще один экзамен», художественно-публицистические книги для детей — «Откуда начинается путешествие» и «Можно ли стать Робинзоном», рассказы и повести — «Город не спит», «Пятьдесят строк в номер» и другие.

Писатель работает также в историко-биографическом жанре, он написал книги: «Огонь Прометея» — рассказы из истории и истории литературы, «Эхо в веках» — очерки из истории книг и из жизни писателей, «Питер Брейгель» и «Альбрехт Дюрер» — жизнеописания великих художников.

Повесть «Гражданин Города Солнца» посвящена выдающемуся итальянскому революционеру и мыслителю Томмазо Кампанелле (1568–1639), автору знаменитого «Города Солнца» — трактата о справедливом и разумном государстве. Значительную часть жизни он провел в застенках инквизиции, но не сломился и не смирился, а продолжал мыслить и творить; исключительное мужество, яркость и цельность этого характера вызывают интерес и сочувствие к его героической судьбе.

- Сергей Львов
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
  - Глава XVI
  - Глава XVII
  - Глава XVIII

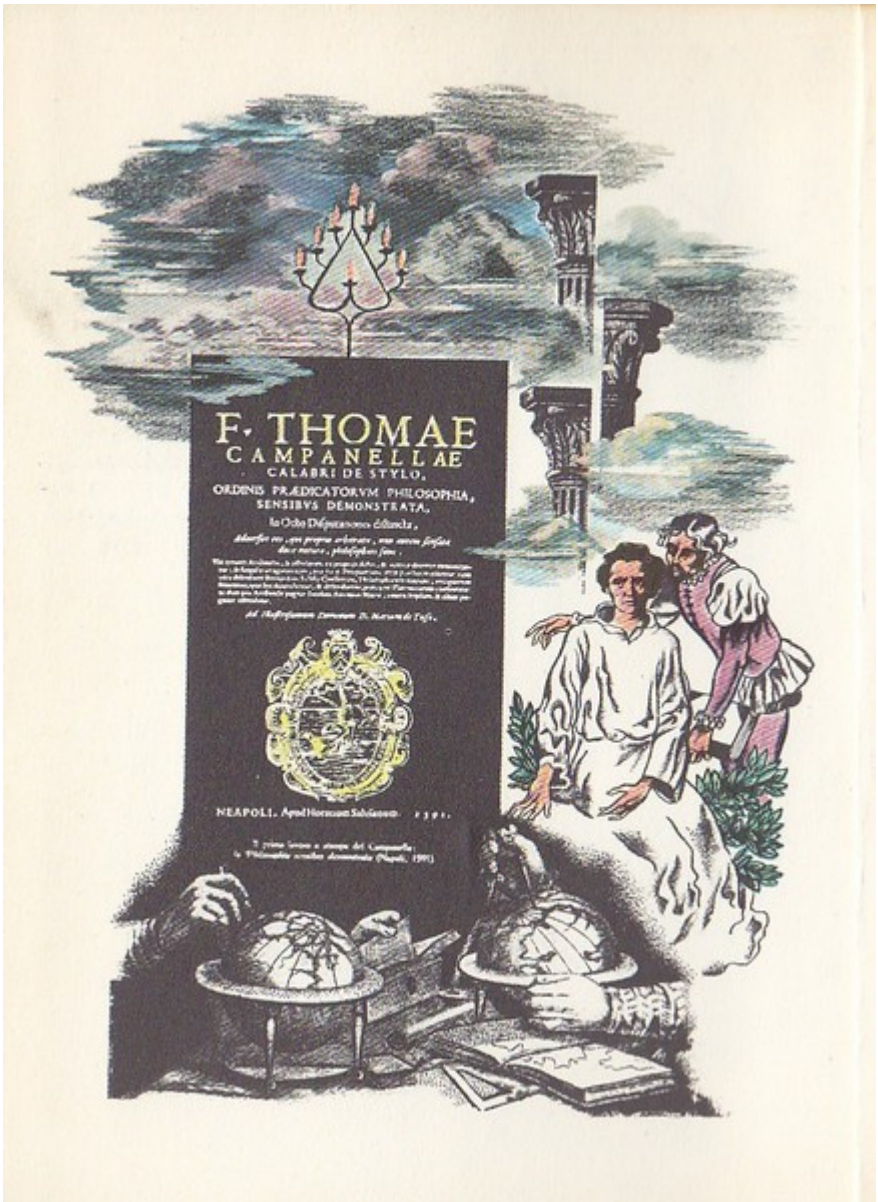
- Глава XIX
- Глава XX
- Глава XXI
- Глава XXII
- Глава XXIII
- Глава XXIV
- Глава XXV
- Глава XXVI
- Глава XXVII
- Глава XXVIII
- Глава XXIX
- Глава XXX
- Глава XXXI
- Глава XXXII
- Глава XXXIII
- Глава XXXIV
- Глава XXXV
- Глава XXXVI
- Глава XXXVII
- Глава XXXVIII
- Глава XXXIX
- Глава XL
- Глава XLI
- Глава XLII
- Глава XLIII
- Глава XLIV
- Глава XLV
- Глава XLVI
- Глава XLVII
- Глава XLVIII
- Глава XLIX
- Глава L
- Глава LI
- Глава LII
- Глава LIII
- Глава LIV
- Глава LV
- Глава LVI
- Глава LVII
- Глава LVIII
- Глава LIX
- Глава LX
- Глава LXI
- Глава LXII

- Глава LXIII
- Глава LXIV
- Глава LXV
- Глава LXVI
- Глава LXVII
- Глава LXVIII
- Глава LXIX
- Глава LXX
- Глава LXXI
- Глава LXXII
- Глава LXXIII
- Глава LXXIV
- Глава LXXV
- Глава LXXVI
- Глава LXXVII
- Глава LXXVIII
- Глава LXXIX
- Глава LXXX
- Глава LXXXI
- Глава LXXXII
- Эпилог

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Сергей Львов
Гражданин Города Солнца
Повесть о Томмазо Кампанелле

Глава I



Ранней осенью, 5 сентября 1568 года на юге Италии в маленьком городе Стило жена сапожника Джеронимо — Катаринелла родила мальчика. Новорожденного нарекли Джован Доменико, а дома звали Джованни. Позже, когда он принял

монашество, ему в честь святого Фомы Аквинского дали имя Фома, Томмазо. А еще с детства у него, как у его деда и отца, было прозвание — Кампанелла, что значит Колокол.

Под именем Томмазо Кампанелла он и вошел в историю.

Мальчик шагает по узкой каменистой дороге между маленькими низкими домами. Они сложены из неровных каменных глыб, обмазаны светлой глиной — желтой, голубой, серой. Крыши плоские, окна — узкие щели. У богатых в окнах слюда, у бедных — бычий пузырь. Над входными дверями всюду блестящие стручки красного перца — верное средство от дурного глаза. Почему? Это знает каждый. Так ответил отец, когда мальчик спросил, почему от глаза помогает перец. Каждый день у него появлялись все новые вопросы, и все чаще отец отвечал на них: «это знает каждый», «так повелось», «не нашего ума дело», «вырастешь — узнаешь» или просто щелкал сына по затылку пальцем, изрезанным дратвой.

Над головой синее небо, неподвижные пухлые облака. Вот о чем он еще хотел бы узнать, почему облака иногда толстые, плотные, а иногда — тонкие, прозрачные. Почему одни висят в небе неподвижно, а другие стремительно скользят по нему. И почему, случается, в облаках узнаешь то коня, то рыбу, то собаку, то бородатого старика, а бывают облака — просто облака…

Над дорогой дрожит разогретый воздух. Сквозь него все кажется зыбким. Жарко, тихо, сонно. В ушах неумолчный звон, словно звенит кровь. На самом деле звенят цикады. Мальчик ловил их, чтобы разглядеть, чем они звенят. Отпускал, так и не узнав секрета.

Порой тишину разрывает густой рев — кричит осел, жалуется на судьбу. Кого еще так вьючат и так колотят? Зато у него свои правила: как ни погоняй — шага не ускорит, нагрузишь сверх меры — с места не сдвинешь. Человека можно принудить побоями сделать то, чего он не хочет, вислоухого ослика — никогда.

Над крышами домов поднимаются горы: рыже-коричневые скалы, синевато-зеленые склоны. На них растут сосны, изогнутые от борьбы с ветром. Жара, горы, сосны, звон цикад, крик ослов… Невозможно представить себе, что где-то этого нет. Улочка, по которой идет мальчик, не кажется ему кривой и узкой, дома — бедными. Когда соседки пронзительно перекрикиваются через улицу, он знает — они не бранятся, они мирно обсуждают домашние дела. В этом краю всё и все говорят громко. Тут даже на ухо друг другу шепчут так, что только нелюбопытный не услышит. А Джованни и в голову не приходит, что можно

говорить иначе. Он здесь вырос. Идет сейчас из деревни Стиньяно в город Стило, куда его послал отец. Город смахивает на деревню, но все-таки в нем и дома выше, и улицы шире, и воду берут не из родника, а из фонтана. В деревне, где живет Джованни, есть часовня, а в Стило — церковь.

Раньше семья сапожника жила в Стило, Джованни там и вырос. Потом что-то случилось — мальчику не объяснили, это дела взрослых, — пришлось перебираться в деревню. Отец долго не мог примириться с этим. Его лицо стало лицом неудачника.

Между деревней Стиньяно и городом Стило по горным склонам тянутся виноградники. С незапамятных времен в этих краях говорят: «Нет запаха слаще, чем запах цветущего виноградника!» Виноград тут растет замечательный: розовый, пурпурный, черный, белый. На одних виноградниках ягоды мелкие, круглые, матовые, на других — крупные, длинные, прозрачные. Виноград скоро совсем поспеет. Начнется трудное, сладкое, буйное, пьяное время. Все будут работать на виноградниках и в давильнях от зари до зари, а жажду утолять молодым неперебродившим вином. Оно пьется легко, но ударяет в ноги, потом в голову. Отец на время закроет свою мастерскую: когда убирают виноград, нет дела важнее.

А в обычные дни он сидит на низком с плетеным сиденьем табурете, вырезает острым ножом подошвы из воловьей кожи, вымачивает кожу для верха, кроит ее, прокалывает шилом дырочки для деревянных гвоздей, стучит молотком по коже, обминая ее на колодке, всучивает в нить колючую щетинку, чтобы она лучше входила в отверстие, или варит черный вар. От отца пахнет кожей и смолой. Вар въелся в порезы на его руках, отмыть руки невозможно. Он тачает башмаки для односельчан — башмаки без затей, простые, грубые, тяжелые, сработанные надолго. Во хмелю похваляется, что случалось ему шить из сафьяна, из шагрени, из лайки, из драгоценной белой кожи с тисненым узором. И будто заказывали ему ту обувь здешние бароны и даже знатные испанцы — с давних пор они здесь хозяева. Но хотя и бароны в этом краю жили, и богатых испанцев тут было предостаточно, однако никто из них не заказывал обувь сапожнику Джеронимо. С отцом, однако, не спорили. Каждому хочется хоть вообразить себя выше, чем суждено быть на деле. Джованни больше любил отца, когда тот, не хвастая богатыми заказчиками прошлых лет, сидел на низеньком табурете, вбивал деревянные гвозди в подошву и пел бесконечную песню, невесть когда сложенную таким же горемыкой: «Мне не спать на собственной постели. Мне не спать в собственной хижине. Я построил себе хибарку, хозяин сломал ее. Я посеял пшеницу,

пожал беду. На мое поле налетела саранча, а то, чего не сожрала она, то отнял хозяин. Я пошел к судье. Сам же попал в тюрьму». Беды и злосчастья, поминаемые в песне, кажутся бесконечными. Но вдруг она становится насмешливой. Тот, кто когда-то сложил ее, потешается над своей незадачливостью: «Я хотел уснуть, но свалился с кровати. Хотел разжечь огонь в очаге, собака обмочила угли».

Отец поет, когда есть работа. А это редкость. Заказчиков в Стиньяно мало. Односельчане носят самодельные сандалии — кусок сыромятной кожи вместо подошвы да ремешки. Отец, когда видит такую обувь, только сплевывает. Ну а уж тот, кто раскошеливается, чтобы заказать башмаки по мерке, хочет носить их вечно. Он и на тот свет отправится в неизносимой паре. Отцу больше приходится латать старье, чем тачать новую обувь. Торгуются отцовские заказчики нещадно — поминают мадонну и всех святых, десять раз приходят и уходят, двадцать раз спрашивают: «Это твое последнее слово? Тогда пеняй на себя!» Заказчик вопит, что за такие деньги он не то что в Стило — в Неаполе может заказать себе башмаки. Отец голосит в ответ, что в Стило сошьют хуже, а возьмут дороже, а что до Неаполя, то на какие доходы и с чего это вдруг отправится туда сосед. Оба вздыхают. Случаи, когда стиньянцы выбирались в Неаполь, вся деревня помнит годами. Обе стороны понемногу уступают и наконец сговариваются.

Каждый уверен — он перехитрил другого. Теперь самое время выпить, иначе подошвы отвалятся…

В Неаполе живет родственник. Нельзя сказать чтобы близкий, но для простоты и вескости его называют «дядей». Он человек почтенный, состоятельный. Учился в университете и теперь стряпчий. Сколь различна судьба человеческая! Один в глухой деревне латает чужие башмаки, а другой в большом городе составляет бумаги, сочиняет прошения, выступает в суде. И каждое слово, которое он напишет или скажет, падает в его кошелек звонкой денежкой.

Отец понимает: жизнь прожита, ее не переделаешь. Дом какой-никакой, а собственный, мастерская, виноградник, огород — все привязывает его к Стиньяно.

Но оба сына растут неучами. А для одного из них, для Джованни, он желал бы иной участи. У мальчика светлая голова, редкая память. Он на удивление речист. Непонятно, откуда узнал все, что уже знает. Ради Джованни отец давно собирался повидать родственника в Неаполе. Но такое с маху не делается. Надобно разведать, как относится к стиньянской родне неаполитанский дядя. С оказией ему посылают деревенские подарки: кувшин меда

из собственного улья, бутыль вина собственного виноградника, домашний сыр, пахнущий травами горного пастбища, связку отборного чеснока, мешочек пестрой, как камушки с морского берега, фасоли. Когда Джеронимо хотел одарить человека, он не скупился. Сосед, вернувшись из Неаполя, сказал, что стряпчего видел, подарок тот принял, велел благодарить, родственников из Стиньяно помнит, но что у него есть племянник, которому сейчас десять лет, не знал. Тут было что-то неясное. Рассказывая о Неаполе, сосед отводил глаза в сторону. Джеронимо не успокоился, пока не выпытал, что родич вспомнил его с трудом. Особых родственных чувств не проявил, подарок, не разглядывая, отправил на кухню, посланца наградил, но не щедро. Отец засомневался: примет ли родич Джованни к себе в учение, поможет ли выбиться в люди? Да и, по правде говоря, какой он дядя? Так, дальний родственник. Стоило посылать ему все, что было послано, отнимая у собственных детей! Особенно жаль меда.

Вот и в этот день сапожник, как всегда, обдумывал будущее сына, а ему дал поручение — отнести заказчику починенные башмаки. Поручение обычное. Необычно то, что заказчик жил в Стило, где были свои сапожники, и что заказчик — священник. Денег с него брать не велено. Отца Франческо не оказалось дома. Джованни отдал башмаки его домоправительнице, та одарила его пышкой с вареньем и велела пока что домой не возвращаться, а ждать в церковном саду. За ним придут. Кто? Этого она не сказала. Джеронимо наказал сыну, чтобы тот обратил внимание заказчика: к башмакам прикинуты новые подошвы, в подошву вбиты медные гвозди, на каблуки и носки прилажены подковки — священнику много приходится ходить по каменистым тропкам, с подковками и гвоздями башмаки век не стопчутся. Обхаживает отец священника из-за планов, связанных с будущим Джованни.

По дороге в церковный сад мальчик привычно останавливается возле школы. Она неподалеку от церкви. Учителем в ней церковный причетник. В Стиньяно школы нет, а в Стило есть. Правда, учат детей в старом ветхом доме. Отцы города давно говорят, что нужен бы дом попросторнее и покрепче. Но где взять денег? Испанские власти обложили все: вино, сушеный виноград, хворост, соль, бочки, рыбу, фрукты — такими налогами и податями, не вздохнуть. Времена тяжелы, город забыт богом, мал и беден, так беден, страшно сказать!

Двери в школу приотворены, иначе там задохнешься от кислого запаха пыли, пота, чеснока, затхлости. Джованни давно знает всех учеников и в лицо и по именам. Среди них есть его ровесники, есть младше, есть старше. Одни учатся не первый год,

другие — недавно. Все сидят в одной комнате. Учитель обращается то к одним, толкуя им, какая буква как называется, то к другим, заставляя их читать по слогам, то к третьим, требуя, чтобы они читали молитву или отвечали на его вопросы. Перед тем как ответить, они долго молчат и отвечают с запинками. Джованни недоумевает. Как можно не ответить на такой вопрос? И вообще на любой, какой задает учитель? Или не суметь прочитать то, что он велит? Сколько он себя помнит, он умеет читать и не знает даже, кто показал ему буквы. Отец едва мог расписаться. И когда проведал, что сын читает, ему стало не по себе.

Когда они еще жили в Стило, и потом, когда перебрались в Стиньяно, Джованни постоянно тянуло к открытым дверям школы. Его не пугало, что в классе часто раздавался плач наказанных. Для него важно одно: объяснения учителя. Войти в школу Джованни не решался, он уже знал: за все надо платить. За учение тоже. Раз отец не отдал его в школу, значит, не может внести платы. На самом деле отец набрал бы денег, но чему может научить такого мальчика церковный причетник, невеликого ума человек, который сам выучился в школе не лучше этой? А где взять другого?

Джованни часто стоял у дверей школы. Его не гнали.

Однажды произошло событие, необычайно важное в его жизни. Он снова оказался у дверей школы. Учитель задал вопрос, а ученики — ни один! — не смогли на него ответить. Сейчас учитель разгневается, ударит неуча линейкой по руке. Джованни за порогом школы ничего не грозило, но он весь сжался. Сам он терпеливо переносил боль: когда всадил себе в ладонь рыболовный крючок и отцу пришлось сапожным ножом разрезать ему руку, не плакал. Ошпарившись, без стонов терпел, когда мать, меняя повязку, отрывала присохшие тряпки, но он не выносил, если боль причиняли другому. Когда наказывали соседских детей и они кричали, Джованни, пока был маленьким, убегал, зажимая уши. Став старше, бросался на выручку. Глаза его пылали при этом такой яростью, что иной взрослый пугался и выпускал провинившегося.

Вот и в тот раз перед дверями школы, опережая учительский удар и плач того, кого постигнет наказание, Джованни крикнул:

— Можно я отвечу?

В классе все повернулись на голос. Учитель снисходительно разрешил. Не без любопытства. Для него не секрет, что его уроки слушает необычный ученик. Как-то он поговорил с мальчиком и изумился — так много тот знал. Этим можно похвалиться: даже собирающие крохи на пороге его школы знают больше, чем иные,

которых пичкают до отвала в других местах.

Когда мальчик вызвался ответить, такое неистовое желание звучало в его голосе, что учитель позволил. Пусть он покажет лодырям, на что способно истинное прилежание. Но Джованни ответил так, что учитель призадумался. Выходит, чтобы знать то, чему он учит, не нужно каждый день сидеть на его уроках, а родителям платить за то деньги: пренеприятная мысль! Мальчишка, схвативший с полуслова все, что другие не могут запомнить, сколько в них ни вколачивай, озадачил учителя. Его похвала Джованни прозвучала кисло. Джованни и потом случалось отвечать, когда ученики в классе только глазами хлопали.

Однажды школяры подстерегли его, когда он возвращался домой. Они спрятались за живой изгородью из колючего барбариса у пролома, через который можно неожиданно выскочить на тропинку, преграждая путнику дорогу. Слева крутой обрыв, справа — колючки, через них не продерешься… Джованни понял: засада! Отступать поздно. Предстоит драка нешуточная и не один на один. Первым нападет на него тот, кто на голову его выше, старше, сильнее. Вон какие кулачищи! Другие не останутся зрителями. Повернуть назад? Убежать? Может, не догонят. Позвать на помощь? Может, услышат. Джованни почувствовал в груди холод. Не расслабляющий страх, а пьянящее предвкушение опасности, чувство, похожее на радость, только острее и слаще. Он испытывал его, когда карабкался на горную кручу в лоб. Когда, забравшись на гору, подходил к обрыву и заставлял себя, не держась за ветки, наклониться и посмотреть вниз, а камушки срывались из-под ног и летели в пропасть.

Джованни пошел прямо на школяров. Пятнадцать шагов до них. Десять… Пять… Три… Он шел не быстро и не медленно, не опуская головы. Шел на того, кто стоял в середине, на самого старшего, самого высокого, самого сильного. И смотрел на него в упор с таким напряжением, что казалось — его взгляд колет, как шпага. И тогда предводитель вдруг посторонился и пропустил Джованни, а потом растерянно поглядел ему вслед. А тот прошел мимо него, прошел сквозь враждебную засаду, сразу превратившуюся в беспомощную толпу, словно не замечая ее, и пошел дальше, не оборачиваясь, не ускоряя шагов. Сердце в груди гулко и тяжело стучало.

Когда потом мальчишки разбирались, как они могли так осрамиться, и все попрекали предводителя, тот нашелся.

— Деревенский заговорен! — сказал он. — Он идет на меня, а мне чудится, что кто-то шепчет: «Посторонись! Пропусти!» Я и пропустил. И вы тоже его пропустили! Он и учителю всегда так

отвечает, потому что спознался с нечистым.

Все согласились — Джованни заворожен, заговорен, заколдован. Признать это легче, чем сказать себе, что он и умнее их, и смелее.

С тех пор Джованни больше не вызывался отвечать. Он не испугался, но понял: мало чести в такой победе. Да и не так уже тянет его к дверям школы: все, что там можно узнать, с некоторых пор кажется пресным и плоским. Не такие вопросы хотелось бы услышать ему и, главное, не такие ответы.

Теперь, когда ему случается бывать в Стило, его привлекает не школа, а старая церковь, тот самый сад, куда его послала домоправительница отца Франческо. Церковь называют Ла Каттолика. У нее пять башен, пять куполов. И построена она, говорят, пять веков назад. Вообразить себе такую вереницу лет мальчик не может. Церковь стоит на утесе, возвышаясь над городом. Отсюда хорошо видны плоские крыши Стило, несколько извилистых улиц, фонтан на площади, дорога, что ведет в Стиньяно, и другая, которая петляет между серебристо-зелеными оливковыми деревьями и ведет неведомо куда. Туда, где он еще не был. Что там? В этой дали? Там — должно быть прекрасно. Там и таятся ответы на все вопросы…

А как называется это *там?*

…Если спросить местного жителя, откуда он родом, тот скажет: «Из Стило. Стилезец я!»

А если спросить: «А где твой Стило?», подумав, ответит: «В Калабрии». Так называется этот край. А если допытываться дальше, спрошенный неохотно проговорит: «В Неаполитанском королевстве». Мало радости вспоминать, что живешь в королевстве, которым давно управляют испанцы.

В Неаполе сидит испанский вице-король. А сам король Филипп II за тридевять земель, в Мадриде. Здесь его никто никогда не видел. А вот вспоминать приходится часто: суровыми законами, тяжелыми поборами напоминает он о себе.

— Ну а Неаполитанское королевство где?

Вот уж на этот вопрос житель Стило вряд ли ответит. Самый простой ответ: «В Италии!» — не придет ему в голову. Такой страны он не знает. Да и где? И есть ли она?

Неаполитанским королевством давно правят испанские короли из Арагонской династии. Папской областью — папа. Они враждуют и между собой и с городами — Флоренцией, Венецией, Генуей, Сиеной… На Италию легко нападать то Франции, то Германии — разобщена страна, расколота и потому слаба. Чтобы отбиться от врага, итальянские государства на время замиряются друг с другом, призывают на помощь какого-нибудь

могущественного соседа. Он помогает прогнать захватчика, но потом сам укореняется здесь: его помощь оказывается хуже всякой вражды.

Этого никто еще не объяснял Джованни, но из печальных песен, горьких пословиц, разговоров взрослых он знал: у его родины много врагов, а на ее земле мало согласия. Все, что творится, плохо, а будет еще хуже.

Джованни отворил кованую калитку в церковный сад. Калитка давно не мазана, ее ржавые петли скрипят. Все в Стило, вот и этот ржавый скрип, говорит о бедности, о запустении. Каменные ступени лестницы истоптаны. Резная церковная дверь потрескалась. В тенистом церковном саду тихо, пусто. Жарко. Во всей округе траву на горных склонах уже скосили. Стерня пожелтела. Сено сложено в стога и томительно пахнет. Гудят пчелы. Одна служба отошла, другая не начиналась. Джованни лежит навзничь на теплой сухой земле, глядит то в небо, то на церковь. Думает. Церковь кажется ему огромной. Он нигде, кроме Стило, не бывал и не видал больших. Церковь сложена из плоских оранжево-красных кирпичей. Так уже давно не строят. Некому объяснить мальчику, что строили эту церковь византийцы, когда господствовали на здешней земле. Кирпичи образуют сложный и четкий узор. Разглядывать его можно долго, он завораживает. Джованни не знает, как называется отчетливое чередование стыков, прямых и косых линий в этом узоре, которое так влечет его. Вот так же и некоторые слова: если их соединять друг с другом и четко выговаривать, в них слышится музыка. А в других словах ее нет. Почему? Об этом тоже не у кого спросить. На башнях старой церкви невысокие, чуть выпуклые купола. Они крыты черепицей.

Джованни пытается вообразить, что тропинки, которые идут из города к церкви, длинные и пологие, протоптанные старыми людьми, крутые и короткие, протоптанные молодыми, и сама церковь, и все вокруг нее уже существовало, когда он еще не родился на свет. Каким оно было? Таким же? Другим?

Когда он думает об этом, кружится голова, словно смотришь в бездонный гулкий колодец, но все-таки думать об этом легче, чем о том, что когда-нибудь его, Джованни, не будет, а все, что окружает его, останется. Исчезнет он, но ничего не изменится. Такие мысли навещают его ночью, когда он просыпается в духоте дома, где резко пахнет кожей, варом, старой обувью. За стенкой храпит отец, бормочет во сне брат, на дереве за огородом ухает сова. А он лежит, уставившись в темноту, и пытается представить себе еще более черную темноту смерти. На исповеди он попытался рассказать об этих мыслях исповеднику и услышал

сквозь решетку исповедальни, что такие мысли — великий грех. Душе человеческой дарована вечная жизнь, и если жизнь земная будет праведной, то жизнь небесная будет не только вечной, но и райски блаженной. Слава Иисусу Христу! Проговорив это утешение, исповедник наложил на Джованни епитимью: прочитать во искупление десять раз «Отец наш небесный», пять раз «Славься». Мальчик все, что было велено, сделал, но страх смерти не уходил из его души, хотя он знал, что умрет еще не скоро.

Теперь, лежа навзничь на теплой земле церковного сада и глядя в высокое небо, он вспоминал, как и когда это началось. Еще недавно ему казалось: он будет жить вечно. Потом ему пришлось провожать на кладбище сверстника. Горная речка, что текла через Стиньяно, летом пересыхавшая, весной вздулась. Гвидо переходил ее вброд. Он перепрыгивал с камня на камень, поскользнулся, упал, ударился головой о каменный выступ, вскрикнул, встать не смог, а когда его вытащили, было уже поздно. И вот Гвидо лежит в гробу, известная плакальщица из соседней деревни причитает над ним, соседки подхватывают, гордые тем, что плачут на похоронах вместе с такой знаменитостью. А мать Гвидо убивается: мальчик умер без покаяния! Куда же попала его душа? Джованни вместе со всеми шагает за гробом на кладбище, слушает слова молитв и причитаний, вопли матери и сестер покойного и думает: «Почему Гвидо? И неужто его душе суждены вечные муки — ведь он утонул, не получив отпущения грехов? Разве это справедливо? А если несправедливо, разве может быть несправедливым бог?»

Он попытался представить себя на месте Гвидо — в гробу, где его тело, и там, где сейчас душа Гвидо, и так изменился в лице от ужаса перед непостижимым, что отец тряхнул его за плечи. Пусть очнется и ведет себя, как подобает. Священник же, услышав на следующей исповеди вопросы Джованни, кратко ответствовал о воле божьей, вопреки которой ни единый волосок не упадет с головы человеческой. «Благословение божие да пребудет с тобой, сын мой!» — сказал он и отпустил, назначив снова епитимью. Джованни опять прочитал все молитвы, что велено прочитать, отбил все поклоны, что велено отбить, но чувство, возникавшее в душе каждый раз, когда он пытался представить себе, что будет, когда его не станет, где будет он, когда его не будет на земле, не оставляло его. У этого чувства было два цвета — нестерпимой черноты, если оно возникало ночью, и бесконечной, холодной и пустой синевы, если оно возникало днем. Стучались в его душу и иные вопросы. Например, о землетрясениях. Они в его краю случались часто. Последнее было особенно страшным! Те, кто

пережил его, говорили о нем вполголоса. Не накликать бы нового! От домов не осталось камня на камне, убитые и раненые валялись на земле, почва сотрясалась, собаки выли, и птицы метались в воздухе. В проповедях говорится — «божья кара». Кара? За что?

Все побуждало к вопросам — неисчислимые звезды в черном небе, неожиданные перемены погоды, мерцание зеленых светляков, внезапные оползни в горах.

Присутствие тайны Джованни ощущал, когда вечером сидел перед очагом, подбрасывал хворост в огонь, глядел на тлеющие угли и не слышал, если его окликали. В такие минуты в его душе слова подбирались одно к другому, складывались во что-то непохожее на обычную речь. Он не знал, что это стихи, что созвучия слов — рифмы, а мера, которой они подчиняются, — ритм, но чередование звуков завораживало его так сильно, что иной раз он пугался: уж не заболел ли? Он пробовал записать эти слова на бумагу, не получалось. Музыка ускользала из них.

Его двоюродную сестру Эмилию, худую, всегда испуганную девушку со странным взглядом, многие побаивались. Эмилию мучили припадки падучей, она корчилась, билась головой о землю. А когда приходила в себя, невнятно и восторженно лепетала, что перед припадком испытала счастье и охотнее всего навсегда осталась бы там, где была в забытьи. Джованни расспрашивал, хотел дознаться, где блуждала ее душа, но она не умела ему ответить.

Кого спросить об этом? Когда он был меньше, он обо всем спрашивал отца, но давно перестал. Отец искал слова, пытался что-то объяснить, видел, что не получается, и его беспомощность превращалась в гнев: «Хочешь быть умнее всех, а?!»

Странный мальчик, коренастый, некрасивый, с грубыми чертами квадратного лица, лежит на земле в запущенном церковном саду под одичавшим олеандром, усыпанным мелкими розовыми цветами, глядит в синее небо, по которому плывут облака, в нестрашное, уютное небо, и думает, думает, думает.

Ему есть о чем думать. Отец давно собирается послать его в Неаполь. В учение к дяде-стряпчему. Он не уверен, что тот пожелает взять Джованни в ученики, но чем неувереннее отец, тем настойчивее говорит, что учение в Неаполе — дело решенное. Он даже заказал плащ, куртку, штаны для сына соседу-портному. Небывалое дело! До сих пор Джованни носил обноски. Что значит стряпчий, Джованни представляет себе плохо. Немногое, что рассказал отец о профессии дяди, Джованни не по душе. Он попытался сказать об этом отцу. Объяснение закончилось ссорой. Отец кричал: «Синьор мой сын предпочитает, как я, тачать

сапоги, провонять кожей? Отлично!»

Отец усадил, нет, не усадил, а швырнул сына на табурет, сунул ему в руки кусок кожи и нож. Мать плакала. Отец долго молчал. Потом вырвал нож у Джованни. «В этом деле из тебя толку тоже не будет! Руки слепые!» — объявил он, а ночью долго шептался с матерью, обдумывал новый план.

Теперь отец стал хлопотать о расположении отца Франческо. Тот обещал подыскать мальчику настоящего учителя.

— Будет жаль, если такая светлая голова останется неученой, — сказал отец Франческо.

Отцу понравились эти слова. Он повторял на все лады: «Такая светлая голова! Такая светлая голова не останется неученой». Ему казалось: полдела сделано.

И действительно, священник нашел для Джованни настоящего учителя — странствующего монаха-доминиканца. Он на время обосновался в Стило.

— Старец святой и строгой жизни, начитанный как в Писании, так и в сочинениях отцов церкви, — сказал о нем отец Франческо.

Джованни скоро должен был увидеть доминиканца. Каким будет его наставник? Чему научит его? Сможет ли ответить на его вопросы?

Джованни задремал. Он проснулся оттого, что кто-то положил ему руку на лоб. Негромкий голос ласково сказал:

— Не следует спать на солнце. Особенно с непокрытой головой.

Джованни открыл глаза. Рядом с ним стоял высокий худой монах в грубом одеянии, подпоясанный простым ремнем, в тяжелых сандалиях на голых ногах. У него запавшие щеки. Глубокая складка перерезает лоб. Седые, неровно подстриженные волосы окружают тонзуру. Обращаясь к Джованни, он улыбается. Одними губами. Глаза невеселы. А голос странно тих.

Джованни привык: все вокруг говорят громко. Кричит отец, объясняясь с заказчиками. Кричат заказчики. Кричит мать, когда говорит с соседками. Кричит учитель в школе. Вопит во всю глотку деревенский глашатай. И отец Франческо проповедует столь громогласно, что его можно слушать с паперти. Даже горное эхо в этом краю громкое. И слова в любом разговоре здесь несутся вскачь. Им помогают стремительные жесты.

Доминиканец же говорил медленно и тихо. И плавными были движения его рук. Некогда у доминиканцев существовал обет долгого молчания. И в память об этом обете наставник приучил себя никогда не возвышать голоса, никогда не проявлять радости, волнения, гнева.

При первой встрече в церковном саду доминиканец благословил Джованни, сказал, что наслышан о нем и от отца Франческо и от школьного учителя. Чуть улыбнувшись, он заметил:

— Ты, сын мой, верно, единственный ученик, всему выучившийся в здешней школе, не переступая ее порога.

Затем доминиканец сказал, что учение благо, ежели служит не суетному любопытству и порочному мудрствованию, а постижению вечной истины, заключенной в Святом писании и сочинениях отцов церкви. И наконец сообщил главное:

— Отныне и доколе я буду в этом граде, я сам стану учить тебя. Святому писанию. Латинскому языку. Наукам, что входят в тривиум — грамматике, риторике и диалектике — и в квадривиум — арифметике, геометрии, астрономии и музыке. А что составляет предмет каждой, ты узнаешь впоследствии.

Джованни вначале обрадовался, потом испугался. Церковь не раздает своих благ бесплатно. Венчает ли молодых, крестит ли новорожденных, соборует ли умирающего — за все надо платить. Платить за видимое, например за свечу, и за невидимое, например за отпущение грехов.

Какую плату потребует с отца этот монах, вызвавшийся учить его? У него пересохло во рту. Сгорая от стыда, Джованни спросил — собственный голос показался дерзким и грубым, — во что обойдутся эти уроки.

Монах чуть слышно ответил:

— «Даром получили, даром давайте», — сказал Господь.

Глава II

Учитель у Джованни оказался необычным. И учил и экзаменовал под открытым небом. Чаще всего на ходу.

— Уподобимся в том древним. Коих называли перипатетиками, «прогуливающимися», ибо учили они, гуляя, — сказал он.

Занятия с ним длились долго — с одиннадцатого по тринадцатый год жизни мальчика. Наставник то покидал Стило и отправлялся в странствия, то снова возвращался в Стило и проверял, что успел Джованни, покуда его не было.

Толкуя о премудрости божьей, сотворившей весь зримый мир, доминиканец подводил ученика к ручью, выбивающемуся из-под скалы и струящему свои чистые воды, подобно невидимому, но еще более прекрасному источнику божественных знаний, к виноградной лозе, рассуждая о том, как совершенно ее строение, но сколь прекраснее сего вертограда вертоград господен. Ласточки, чертившие в воздухе резкий узор, ящерица, пригревшаяся на камне, — все служило поводом к поучению. Наставник на память читал длинные латинские тексты, и не только те, что написаны отцами и учителями церкви, но и те, что созданы поэтами-язычниками, заслуживают, однако, чтобы знать их. Слова язычников тоже могут быть истолкованы во славу божью. Доминиканец рассказывал о житиях святых, блаженных, мучеников. Он позволял мальчику задавать вопросы, он требовал, чтобы тот его спрашивал обо всем непонятном, и сам задавал ему вопросы, особенно о том, что порождает сомнения в душах верующих.

— Так что же ты ответишь, сын мой, если тебя спросят, как понять воскресение души человеческой, если никто из умерших не возвращался на землю к оставшимся, чтобы подтвердить — сие воистину так?

Джованни затруднился ответом. Доминиканец выждал, а потом тихо и неспешно сказал:

— Не ищи ответа в доводах разума. Истина сия им неподвластна. Она не доказуется, ибо не требует доказательств. Она дается верой. Знаю, что так, ибо верую, что так. А верую потому, что знаю: как в Адаме люди впали во грех, так во Христе спасутся и воскреснут. Воскресение доказывать не надо. В него надо верить.

Ответ поразил Джованни простотой и неопровержимостью. Быть может, он прозвучал бы для него не с такой силой, если бы не время и место, выбранные наставником для разговора.

Беседуя, они поднялись по крутой тропке на одну из гор, окружавших Стило. Вечерело. Над долиной, над городом, над горами только что отзвучал вечерний колокольный звон «Ангелус». Его многократно подхватило эхо.

Прямо против того места, где они присели на камень, чтобы перевести дух, закатывалось огромное солнце. Облака над зубцами гор стремительно меняли окраску: становились оранжевыми, красными, потом багровыми, потом фиолетовыми, наконец синими до черноты. Сквозь грозную черную синеву проступал краснеющий островок — там угадывалось солнце. Наконец и это пятно погасло, небесные краски померкли, все вокруг поблекло, потускнело, помертвело, освещенное слабым вечерним светом, а когда они начали спускаться вниз, темнота стала гуще.

Наставник сказал:

— Тьма надвинулась на землю на одну ночь, завтра солнце снова встанет над долиной, поднимется, как поднималось вчера, позавчера, каждый день твоей жизни и как поднималось тогда, когда тебя не было. С самого сотворения мира. Тому, кто приказывает ему подняться, имя Бог. Начало всех начал. Создавшее этот мир и эту череду дней и ночей, отмеряющую жизнь человека. А божий сын, распятый во имя спасения людей, гибелью своей сделал душу человеческую бессмертной.

Джованни охотно принял эту мысль. Остры и мучительны были у него приступы страха перед смертью. А такие слова утешали.

Когда они спускались вниз, доминиканцу приходилось осторожно нащупывать тропинку под ногами. Он признался, что в темноте не видит ничего. Зрение ослабело после обета великого постничества. Он блюл его, покуда настоятель монастыря не запретил, узрев в его обете признаки великой гордыни. И теперь, сказал наставник, его одолевают сомнения, потому ли ослабли его глаза, что сие кара за гордыню — он пожелал жить по ревностным правилам древних пустынников, или потому, что он не выполнил обета, покорился настоятелю, а не внутреннему голосу своему. Но и сомнение такое тоже великий грех… Он говорил так, словно перед ним взрослый или будто обращает свои речи к себе самому. Спускаясь по чуть видимой тропке, доминиканец тяжело опирался на плечо Джованни, и тот впервые почувствовал — учитель его стар и тело его слабее, чем дух. И еще: вопросы терзают не только тех, кто молод и несведущ. Но Джованни не знал другого. Того, в чем наставник его не признался бы даже на исповеди. Постриженный в молодости, он не ведал радости отцовства. Он называл Джованни своим

духовным сыном, но со смятением в душе чувствовал, что привязался к нему, как к родному. И еще одно испытывал он, когда рядом с ним был Джованни.

В молодости доминиканец мечтал, что будет не только странствующим проповедником, но получит кафедру в университете, как многие его собратья по ордену. Увидит перед собой учеников, жадно внемлющих его словам, прочитает на их лицах отражение своих мыслей. Как это, должно быть, сладостно! Но и этого ему не дано было. Теперь, поучая и наставляя Джованни, он вкусил эту радость.

В тот вечер, когда они спускались с горы, Джованни добрался до дома, когда все уже спали. Он лег на свое убогое ложе. Он спал на тюфяке, набитом сухими листьями, накрывался драным плащом. Всегда он засыпал быстро. Но сегодня сон не шел к нему. Перед глазами стояло зрелище солнечного заката, непереносимо грустное, если бы не знать, что завтра будет новый восход. И небо с трепещущими лампадами звезд. Бледные, чуть заметные, они начали появляться на небе, едва зашло солнце, а когда учитель и Джованни спустились в город, все небо было усыпано большими яркими звездами. И теперь Джованни казалось: сквозь низкий потолок он прозревает огромное высокое небо. Видение превращалось в слова. Они связывались у него в уме друг с другом так, что их уже нельзя было забыть. Соединившиеся так слова и есть стихи, про которые толковал ему учитель. Он сложил стихи! Стихи о звездах на ночном небе. Он вскочил. Ему стало казаться, что он существует отдельно от самого себя, смотрит на себя со стороны, потом подумалось, что все это однажды уже было с ним. Он лег и заснул, с облегчением вспомнив, — завтра снова будет рассвет, снова солнце над горами, снова день. Завтра, пожалуй, он скажет учителю стихи, которые сложил ночью.

Глава III

В Стило бушевала разгульная ярмарка. Противостоять ее соблазнам Джованни не мог. Но когда она кончилась, когда откричал свои дерзкие шутки в кукольном театре Пульчинелла, когда как сквозь землю провалились бродячие жонглеры, словно ветром сдуло с площади балаганы, доминиканец спросил Джованни, не случалось ли ему слышать рассказы о невежественных, жадных и лицемерных монахах. Как только догадался, что его ученика давно и сильно мучили мысли об этом? Ну конечно, Джованни слышал такие истории. Их рассказывали повсюду. Особенно в беспутную пору ярмарки. Рассказывали взрослые, и повторяли за ними мальчишки.

Например, о споре между братьями-кармелитами и другими монахами, кому в дни церковных праздников идти в голове процессии. Спор дошел до герцогского совета. Главу кармелитов спросили: «Когда образовался ваш орден?» Он горделиво ответил: «Мы были монахами в то время, когда еще не было святых отцов, основавших другие ордена». И тут герцогский шут, выслушав эти небылицы, сказал: «Святой отец говорит истинную правду, во времена апостолов не было других братьев, кроме них. Это их подразумевает апостол Павел, когда пишет: „Погибель от лживых братьев“. От этих лживых братьев и пошли кармелиты».

Но это была еще сравнительно невинная история. А были куда более опасные. Вот исповедник устраивает так, чтобы ревнивый муж мог подслушать исповедь неверной жены. Монах оказывается гнусным нарушителем тайны исповеди. А другой монах, искренне верующий и благочестивый, — простофиля. По его глупости отъявленного злодея после смерти объявляют святым. Еще один монах, проходимец из проходимцев, сулит крестьянам показать одно из перьев архангела Гавриила, выдавая за него перо попугая. Однажды услышав подобную историю, Джованни запоминал все: и то, что в ней происходило, и слова, которыми передавал ее рассказчик, и его многозначительную улыбку, и лукавое подмигивание, и хохот слушателей. А чего только не рассказывали о распутных монахах! Вот монах, уверив простушку, что в нее влюблен ангел, является к ней в образе этого ангела и овладевает ею. Вот другой, обещав куме, что разбудит ее дочь-лежебоку, развлекается с девицей всю ночь.

Джованни знал: слушая такое, он впадает в смертный грех, но был не в силах оторваться от этих рассказов. В них звучало не только осуждение распутных монахов, но и прославление телесных соблазнов, устоять перед которыми трудно.

Выросший в тесном деревенском домишке, Джованни, конечно, представлял себе, что такое плотское соитие. Но с некоторых пор любое слово об этом, любой намек на телесную близость с женщиной вызывал в его теле мучительно-сладостное томление. И сны. Он знает, они греховны, но вечером хочет, чтобы они снова ему приснились.

Вот почему он так смутился, когда учитель спросил, не случалось ли ему слышать о недостойных священниках и монахах. Он покраснел, кивнул головой, но не вымолвил ни слова. И тогда доминиканец тихо и проникновенно проговорил:

— Не стану уверять, будто среди духовных пастырей нет таких, которые погрязли в мерзости пороков и утонули в пучине грехов, но именно из этого, сын мой, ты можешь узреть, сколь велика мощь и непобедима истина христианской веры и нашей святой римской церкви, если грешники, прикидывающиеся ее сынами и слугами, не могут причинить ущерба ее славе! Чем мерзостнее их пороки, тем больше ее святость. Их низкие поступки не затрагивают чистоты ее белоснежных риз. Так грязь, засохнув, отлетает от плаща праведника, превращаясь в пыль под его стопами.

Случалось старому доминиканцу и его ученику говорить и о другом. Начертив мелом на дорожном камне треугольник, рассуждать о законах геометрии и о божественной мудрости, проявляющейся в них. На восковых табличках для записи упражняться в счете. Заучивать с голоса учителя строки его любимых древних поэтов. Сколь горько знать, что они, взысканные такими талантами, родились и умерли язычниками, скорбел наставник. Он не пожалел бы трудов, дабы обратить в истинную веру, например, Вергилия, но нет дороги, ведущей вспять в те века, когда жил сей поэт. Необратимость быстротекущего времени тоже становилась предметом их бесед.

Сапожник Джеронимо стал все чаще с удивлением замечать, как изменились речи сына, как много в них ученых слов и мудреных мыслей. Простому человеку и не разобраться. Речь Джованни стала неспешной, размеренной, нечто отрешенное от дел земных и мелких уже звучало в его голосе. И он уже привыкал, подражая наставнику, ходить, опустив глаза, сосредоточившись на своих мыслях.

А думал он теперь все больше о несправедливости. Почему один живет в богатстве, довольстве, роскоши, а другой рождается в нищете и всю жизнь мыкается в бедности, ест впроголодь, одевается в рубище? Почему один до старости наслаждается здоровьем, а другой рождается на свет калекой? Разве это справедливо? За какие грехи насылаются на человека, еще не

успевшего согрешить, бедность и болезни?

— Давно я ждал таких вопросов, — сказал наставник. Джованни показалось, он обрадовался, что услышал об этих сомнениях своего питомца.

Они сидели на краю оливковой рощи, шелестящей синевато-серыми листочками, опустив ноги в пересохшую канаву. Джованни глядел на спокойное лицо учителя, слушал его тихий голос, которым тот повторял много раз одно и то же, находя все новые доводы. Джованни заметил: если он внимательно вслушивается в речь учителя, он скоро перестает слышать что-нибудь, кроме нее, — ни шелест травы, ни скрип песка под подошвами, ни резкие голоса женщин на винограднике не проникают более в его слух. Странное оцепенение охватывает его. И сквозь него пробивается, заполняя все его существо, все его мысли, один только голос учителя, вытесняя сомнения, давая ответы… И начинает казаться: тревожиться о людском неравенстве, о несправедливости, царящей в мире, не надо. Богатство и здоровье — тленные земные блага. Хворый и убогий на земле, бедный и несчастный в сей жизни, столь краткой, таким опасностям подверженной, будут вознаграждены сторицей в жизни вечной. И уж совсем нет дела до преходящих земных благ тому, кто посвятит себя высшему благу, откажется от скоротечных земных радостей, сделает для себя законом обеты нестяжания, целомудрия, повиновения, постоянства — станет монахом.

Учитель много странствовал, живал подолгу в доминиканских обителях Франции, Испании, Германии. Джованни не мог себе представить других стран с другими языками и другими обычаями. Горы, окружавшие Стило и Стиньяно, были границей его мира. Даже Неаполь казался невероятно далеким. Что говорить о Риме, Париже, Мадриде, Кельне!

Наставник посохом рисовал на песке набросок карты.

— Вот Альпийские горы, вот море, вот начинаются чужие края. — Упоенно рассказывал он о знаменитых монастырских библиотеках, где на длинных полках бережно сохраняются бесценные тома Священного писания и сочинения отцов церкви, старательно переписанные от руки, дивно изукрашенные рисунками. Об искусных почерках старинных переписчиков, о смиренных примечаниях в конце тома, где переписчик называет свое имя, просит помянуть его за этот труд в молитвах, а ошибки извинить. Он рассказывал о новых книгах, которые стали появляться лет сто с лишним назад, книгах, отпечатанных посредством хитроумного искусства «типографии». В праведных руках оно служит распространению слова божьего, апостольских

поучений, трудов святоотческих, но в руках еретиков оно — страшная опасность, хуже моровой язвы. Когда он говорил о книгах, спокойное его лицо чуть розовело, а в голосе звучало волнение. Однажды, упомянув сочинения латинских ораторов и поэтов, которые собраны в библиотеке Лауренциана, что во Флоренции, он вздохнул: «Грешен! Не могу победить в себе тяги к сочинениям времен языческих. Каюсь в том, как некогда каялся святой Иероним, прославившийся переводом Библии на латинский язык». И, помолчав, снова вернулся к рассуждению о том, что нет такой степени учености, учености во славу веры, которую нельзя было бы обрести в монастырских стенах.

— А университет? — осмелился спросить Джованни.

В своей глуши он и слова бы такого — «университет» — не услышал, если бы однажды в Стило не забрела ватага странствующих студентов. Что привело их сюда? Кто знает! Жителей богом забытого Стило до полусмерти напугал их вызывающий вид, их дерзкие песни, острые шпаги под оборванными плащами, громогласная божба, ненасытный аппетит, неутолимая жажда. За несколько дней, что они провели в Стило, ночуя, впрочем, за городскими стенами, как было осторожности ради предписано властями, они одним горожанам написали красноречивые прошения, другим составили гороскопы, третьим продали лекарства и дали медицинские советы. Они вскружили головы многим девицам и замужним дамам, заняли деньги в долг у простаков и стянули то, что плохо лежало.

Буйную братию Джованни впервые увидел, возвращаясь из Стило в свою деревню. Студенты сидели на опушке рощи вокруг костра, жарили на вертеле гусей и кур, которых в это время оплакивали хозяйки. Разумом Джованни страшился беспутных пришельцев, но сердце влекло к ним. Вначале студенты хотели прогнать его, потом позволили остаться. Он провел в их обществе несколько дней, вместе с ними нарушал пост и еще несколько заповедей сразу. Учитель прихворнул, отлеживался в доминиканской обители, а дома уже давно не вникали в то, где пропадает сын. От школяров Джованни наслушался таких речей и песен, что пришлось исповедоваться в неурочный день. На этот раз епитимья была на него наложена строгая: пятьдесят раз прочитать «Верую» и поститься месяц во все скоромные дни.

Но кроме историй о любовных шашнях, покоренных красавицах и одураченных мужьях, о хитроумных проделках, жертвами которых становились простаки, скупцы, педанты, о попойках и потасовках, переходивших иногда в настоящие сражения, — все это Джованни слушал с немалым интересом — новые знакомцы рассказывали о профессорах, столь ученых, что

ради их лекций не жаль пешком пройти страну из конца в конец, о диспутах, которые, начавшись утром, затягиваются до позднего вечера, а иногда захватывают и следующий день, о новостях из университетов Германии, Франции, Испании.

Джованни спросил наставника:

— А университет? Разве в университете нельзя научиться мудрости?

Доминиканец помолчал, явно огорченный этим вопросом.

— Да, университеты для того и созданы, чтобы нести свет истинного знания, учить главнейшей из наук — богословию и другим, коим подобает быть его прислужницами. Немало ученейших богословов вышли из их стен. Пламенные проповедники тоже воспитывались в университетах. И все-таки над университетскими стенами тяготеет некий рок. Каждый университет плодит еретиков и еретические лжеучения. Вот, например, Парижский. Едва возник, а уже его святейшеству папе пришлось посылать туда своего легата, чтобы искоренить опасные увлечения некоторых тамошних богословов. И достойный легат осудил их лжемудрствования, назвав их moderna curiositas. Как переведешь ты сии слова, сын мой?

Подумав, Джованни перевел:

— «Странные новшества».

— «Новые умствования», так будет лучше. По смыслу переводить всегда надо, по смыслу.

Слова-то он с грехом пополам перевел, а вот того, что рассказывал ему учитель, не понял. Не мог представить себе, что такое университет. Университеты, о которых говорили странствующие студенты, совсем не похожи на те, о каких рассуждал наставник.

— Ты хочешь стать ученым, сын мой, — сказал учитель и замолчал. Джованни встревожился. Что значит это вступление? Что значит этот перерыв в речи, которая всегда лилась плавно и без запинок? — Ты можешь стать ученым! — твердо и торжественно закончил доминиканец. — Но не в университете, где много соблазнов, кривых путей, уводящих в сторону от дороги истинного знания и спасения души. Верь мне: я некогда сам убедился в этом. Послушай, что я тебе расскажу.

Доминиканец поведал Джованни историю святого Фомы, которого чтил превыше всех иных святых.

…Родился некогда в благословенный час на итальянской земле юноша, одаренный с детства великим умом и жаждой божественной истины. Семья, богатая, знатная, гордая, могла послать его в самый славный университет, но сочла за благо доверить его воспитание монахам. Он рос среди братии

знаменитого бенедиктинского монастыря. Монте Кассино.

Кроме великого благочестия, издавна утвердившегося в стенах этой обители, она исстари славилась прекраснейшей библиотекой. Отрок провел в Монте Кассино несколько лет и навсегда проникся любовью к монашеской стезе. В неаполитанском монастыре, у доминиканцев, прожил он до своего семнадцатого года послушником, но пострига покуда не принимал, зная, что это неугодно его отцу, и горько о том сокрушаясь. Видя его великое усердие к наукам, братья по ордену доминиканцев послали его в Парижский университет. Помолившись святому Юлиану, покровителю и защитнику путешествующих, он отправился в путь.

— Но по дороге на него напали! Не разбойники, родные братья. Силой хотели вернуть его на мирскую стезю. Не внемля его мольбам, заточили в отцовском имении. Он был почтителен к родителям и старшим братьям, но веровал в свое призвание. Он понимал: повиновение отцу небесному превыше покорности родному отцу. — Голос доминиканца зазвучал торжественно: — Он бежал от семьи в Неаполь и здесь принял пострижение в монастыре. В монашестве нарекли его Фомой Аквинским, Томмазо Аквинским. Навсегда запомни это имя, сын мой! Орден послал Фому Аквината продолжить учение в немецкий город Кельн, а затем и в Париж. Знаменитый университет, куда он давно стремился, оказался для него мачехой. Каких только ков не чинили ему здесь! Однако Фома препоясался терпением, вооружился мужеством. Недруги его не смогли помешать ему получить звание доктора богословия. Молодым человеком взошел он на кафедру наставлять студентов, начал писать главный труд своей жизни об истинности католической веры — «Сумму против язычников», принялся искоренять заблуждения, свившие себе гнездо под кровлей Парижского университета. Земная жизнь Фомы из Аквино была недолгой. Ему и пятидесяти не исполнилось, когда он опочил. Однако труды во славу божию, свершенные им при жизни, чудеса, явленные им после смерти, послужили к тому, что он был сопричислен к лику святых. Да послужит всем нам, а тебе особенно, его жизнь наставлением и примером.

Когда наставник произносил такие речи, голос его делался звучным и сильным. Казалось, он обращается не к единственному, а ко многим слушателям сразу, видит перед собой не одного воспитанника, а такую же толпу внемлющих, которая некогда заполняла аудитории, где читал лекции Фома Аквинат.

Если бы Джованни был старше и проницательней, он,

пожалуй, почувствовал бы, что душу наставника не только наполняет благочестие, но и томят воспоминания о своих собственных несбывшихся надеждах.

— Ты спрашивал об университете, сын мой? Разум твой подобен драгоценному камню. Ему подобает пройти огранку в университете. Но я желаю для тебя не мирской стези, но господней. Пусть она, ежели так, если будет богу угодно, приведет тебя в университет утвердившимся в вере, стойким против соблазнов и искусов. Но прежде стань монахом. Иначе твой сильный ум может превратиться в игралище мирских страстей. Есть ордена, в которых от тебя потребовали бы обета невежества, — по лицу наставника пробежала тень. — Такого тебе не посоветую. Но доминиканский орден, из которого вышел святой Фома и к которому принадлежу я, его ничтожный и смиренный член, не таков.

Так беседы о Фоме Аквинском переходили в размышления о будущем Джованни и длились много дней с примерами и поучениями. Они должны были доказать Джованни: наука — его призвание, а из всех наук важнейшая — богословие, и лучший путь к ее постижению — монашество, лучший из орденов — доминиканский. Он уже видел себя то в одежде послушника, то в облачении монаха. Хотелось ли ему этого? Он и сам не знал. Он, никогда не остававшийся в тесном доме наедине с самим собой, думал о тихой, спокойной чистой келье, где он будет один. Он, видевший всего несколько книг, воображал себе монастырскую библиотеку с сотнями томов. Он, с детства слышавший одни только разговоры о подметках, каблуках, худых башмаках, об огороде, который плохо уродил, о запасах, которые иссякли в кладовой, представлял себе неспешную беседу братии о предметах важных и ученых. Ему хотелось принять постриг. Грубая монашеская одежда, долгие посты его не страшили. Он и дома ходил только что не в рубище. Он и дома изведал голод. Став послушником, он узнает то, чего не знал, увидит то, чего не видел. А узнать новое ему хотелось никак не меньше, чем читать. Любознательность томила его сильнее голода. И все-таки… Он знал о запретах, которые наложит на него монашество. Пугал запрет любить и быть любимым. Он уже заглядывался на девушек. Любви в его жизни еще не было, но, думая, что ему придется отказаться от нее навсегда, он жалел об этом как о страшной утрате. Спросить у учителя, неужто тот прожил всю жизнь без того, что неудержимо манило Джованни, он не решился. Признаться в этих мыслях на исповеди не смог. И мысли такие — грех, и умолчание — грех, но сказать о них благодушному отцу Франческо не мог. Тот станет с

любопытством выспрашивать о подробностях, и отпущение, данное им, покоя не принесет. А доминиканец отказался исповедовать Джованни. «Наш орден имеет право исповеди всюду и всегда, но я не могу быть и твоим наставником и твоим исповедником», — решительно сказал он.

Если тебе четырнадцать лет, если отец, словно гвозди в подметку забивая, постоянно твердит, что ждет от тебя того, чего не добился сам, если он с утра до вечера повторяет, что ничего для тебя не жалел, если брат тебя не понимает, если мать плачущим голосом жалуется на трудную жизнь, если столько хочется узнать, а рядом умный, терпеливый, столько повидавший наставник, как не поддаться ему?

Наступила осень. Виноград был убран, бочки полны вином. Воздух пах винным брожением. Дети были перемазаны сладким и липким соком черных ягод шелковицы. Пьяняще сладостной сытной осенью труднее отказаться от привычной деревенской жизни. В миру тоже много соблазнов. Но где взять в деревне книги?

Конечно, Джованни любил читать, и мысль о монастырской библиотеке прельщала его. Но его влекли не только книги. Разве не диво то, как ласточки строят свои гнезда? Он мог тихо лежать у нагретых солнцем стен церкви и наблюдать, как птицы терпеливо прилепляют кусочки серой глины к желто-красным кирпичам стен. Их домики с земли казались крошечными, но на диво складными, и каждый неотличим от другого. Кто их учит так строить? Как они передают такие уроки? Джованни присматривался к жизни пчел в отцовских ульях. Если не отмахиваться, не подходить слишком близко к летку, не дотрагиваться до улья, пчелы не жалят. Удивительные эти создания жили такой разумной жизнью, так заботились об общем благе — людям впору позавидовать. Кто научил их этому? Конечно, всех и всему научил господь, но как он смог научить пчел строить соты, выбирать царицу, готовить запас меда на зиму, как предписывал, кому стать рабочей пчелой, кому трутнем, как приговорил трутней к короткой жизни и скорой гибели? Бог может все. В этом Джованни не сомневается, но вот как? А муравейники? Безжалостная война муравьев черных и красных задала ему тысячу загадок. Увидит ли он, когда запрется в келье, все это — ласточек, муравьев, пчел? Будет ли у него время там поразмыслить над чудесами природы? Найдет ли он там книги, толкующие об этом? После долгих разговоров с доминиканцем он представлял себе, что не везде высятся такие горы, шумят такие сосны, зреет такой виноград, дует такой теплый ветер. Вступив на

стезю, о которой толкует его наставник, не уйдет ли он от всего этого? Разлука с привычным страшила. Тоска охватывала душу.

Между тем доминиканец требовал ответа. Четырнадцать лет — самый возраст, чтобы стать послушником, да и не может наставник век оставаться в Стило, ожидая, пока любимый ученик скажет «да».

В день, когда наставник на время покидал Стило, отправляясь в новое паломничество, он рассказал Джованни о великане Геракле, которого чтили древние. Перед ним в юности явились две богини. Одна манила его наслаждениями и негой, другая — трудами и подвигами. Геракл пошел по пути, который указывала вторая богиня. Непомерен был труд, совершенный им, тяжки дороги, им пройденные, неслыханны подвиги, свершенные им, но он обессмертил свое имя. И его — язычника! — до сих пор вспоминают в христианском мире.

— Поразмысли об этом, сын мой, — сказал доминиканец на прощание. Вскоре после того как они расстались, Джованни заболел. Может, от страха перемен, может, от сырого тумана, который осенью иногда наваливался с гор. Его трясла лихорадка, его бросало то в жар, то в холод. Когда хворали дети, отец ругался нечестивыми словами, ругал мадонну, беспомощно убегал в мастерскую, то и дело срывался со своего табурета, подбегал к ложу, на котором метался больной, спрашивал: «Что с тобой?» Попрекал мать, что она недоглядела. Позвать к мальчику лекаря из Стило никому и в голову не приходило — они не богачи.

Мать ласково положила свою твердую мозолистую ладонь на лоб сына, почувствовала, что он весь пылает, сказала отцу: «Надо звать тетку Тину!»

Тина, одинокая старуха, заговаривала бородавки, варила приворотное зелье, помогала девушкам, попавшим в беду. У тетки Тины можно было купить вино от прострела, от болей в желудке и печени, а если очень попросить и посулить хорошее угощение, она гадала по руке. Ей давно пришлось бы переведаться с инквизицией, но стиньянцы и стилезцы берегли знахарку, посторонним о ней не рассказывали и даже ревновали, если к ней приходили из других деревень. Священник не ссорился с нею, сам просил у нее помощи, когда его мучила подагра.

Впервые она появилась в доме сапожника, когда собиралась пороситься свинья.

— Известное дело, чтобы поросята удались, молиться надо мадонне, — сказала тетка Тина, потом произнесла молитву: «Сделай так, о Мадонна, чтобы моя свинья благополучно и счастливо опоросилась семью поросятами. Клянусь бородой

сатаны: одного из поросят я пожертвую святому Антонию. — Потом тетка Тина добавила: — Поросенка для святого Антония мы отдадим ему через ту, которая научила нас этой молитве». Вся семья истово взывала к мадонне. Джованни эта молитва насмешила.

И вот теперь не о поросятах должна заботиться тетка Тина, а о том, чтобы Джованни, сын сапожника Джеронимо, на которого возложено столько надежд, освободился от злой лихорадки. Тетка Тина, вызванная по столь серьезному поводу, была совсем непохожа на ту, которая приходила ради свиньи. Пришла в новом платье, в черной вязаной шали.

Сквозь жар, боль и бред Джованни расслышал ее голос. Она принесла с собой высушенную тыкву, бутыль с питьем — ночной росой, настоенной на семидесяти семи травах. Тетка Тина влила глоток этого питья в рот Джованни, силой разомкнув его обметанные жаром губы, и начала заговаривать болезнь, поминая придорожный камень, ключевую воду, падучую звезду, зеленый папоротник, вьющийся хмель, черного коршуна, недобрый глаз и много чего еще. Она не отходила от больного, бесконечно повторяла заговор, отпаивая больного своим снадобьем. На рассвете, когда закричали петухи, мальчика прошиб пот, он перестал метаться и задремал. Сквозь дремоту он слышал все тот же немолчный шепот. Знахарка покинула дом сапожника, когда Джованни первый раз встал и вышел на воздух. На улице тетка Тина столкнулась с доминиканцем. Он только что вернулся в Стило, услышал, что ученик его опасно болен, и поспешил в деревню, не зная, застанет ли Джованни в живых. Тетка Тина, исхудавшая за время бдения над больным, увидев доминиканца, почтительно и смиренно подошла к нему под благословение. В иное время он отмахнулся бы от нее: знахарка была ему противна. В то, что она колдунья, просвещенный монах не верил. Но тут он сдержался и спросил:

— Как Джованни?

— Он был совсем плох, но поправился, — сказала тетка Тина. — Благодарение Христу, мадонне и всем святым.

Доминиканец, не дослушав ее, вбежал в дом. Джованни бледный, очень вытянувшийся, сидел на тощем тюфяке и с удовольствием ел похлебку.

Если бы его любимый ученик умер, доминиканец не стал бы оплакивать его. Так угодно богу. Но Джованни остался жить: значит, богу угодно так. Радоваться этому не грешно.

— Ты здоров, мальчик мой, — сказал доминиканец и вспыхнул. Такое обращение не подобало. — Ты здоров, сын мой, — поправился он. — Я молился за тебя, покуда шел из

Стило, где узнал о твоей болезни.

На самом деле доминиканец не шел, а бежал, потрясенный вестью о смертельной болезни Джованни, творя молитвы и давая обеты. Джованни был еще очень слаб. Волнение наставника передалось ему.

— Я сделаю так, как вы хотите, отец мой. Я готов стать монахом.

— Нет, — возразил тот. — Сейчас не время для таких решений. Когда силы позволят тебе, мы отправимся с тобой по святым монастырям. Поклониться им и чудотворным реликвиям, кои в них хранятся. Вознести благодарность за твое чудесное выздоровление! Ты увидишь монастырскую жизнь. И тогда решишь окончательно…

Глава IV

Решение принято, согласие отца получено, мать, поплакав, примирилась с разлукой, пора собираться в путь. Отец спросил, не опасна ли дорога. В горах ведь пошаливают.

Доминиканец спокойно и даже высокомерно возразил:

— Какая опасность может угрожать тому, кому устав его ордена запрещает иметь при себе деньги?

Об этом запрете Джеронимо слышал, но, по правде говоря, не очень-то верил ему. Его давно подмывало спросить у святого отца, как обстоит дело с некоторыми другими запретами, обетами и зароками, черств ли хлеб, постна ли похлебка, одиноки ли ночи монахов, но не решался. Был благодарен монаху, что тот принял на себя заботу о будущем Джованни.

У отца, впервые снаряжающего сына в дальнюю дорогу, много забот. Путь не ближний, гористые тропки трудны. Не подарить ли монаху коня, чтобы тот, посадив мальчика перед собой, совершил бы путь не пешком? Он не знал, где достанет денег на это, но осведомился у доминиканца, будет ли такой дар тому угоден. Тот отрицательно покачал головой:

— Без особого разрешения монастырского капитула доминиканцам ездить верхом не разрешается.

О том, не будет ли монах согласен на более скромный дар, на осла, приученного к седлу, сапожник не спросил, постеснялся. Но, может, и езда на ослах у строгого ордена под запретом? Хотя почему бы, если сам Иисус Христос въезжал в Иерусалим верхом на осле?

Доминиканец пожелал узнать, что дают родители мальчику с собой. И хотя не слишком богатой была сума Джованни, половину приготовленного велел оставить дома.

— Пусть привыкает отказываться от всего лишнего, — сказал наставник. — Тогда ему будет легче в обители.

Когда наступил день расставания, оказалось, что у наставника нет ни сумы, ни припасов, ни ножа на поясе, ни кошелька в кармане, ни фляги с вином. Он, называя свой орден нищенствующим, не шутил.

Дорога оказалась нелегкой. Таких расстояний Джованни за один день прежде проходить не случалось.

На перевале они сели подле родника, который выбивался из-под замшелой каменной глыбы. Огромный пробковый дуб ронял листья в ручей. Доминиканец жевал черствую лепешку, запивая ее ключевой водой. Джованни следовал его примеру, хотя у него был сыр, завернутый в виноградные листья, виноградный сок,

уваренный до густоты меда, печеная тыква. Но он не решился предложить это учителю.

— «Прекраснейший из напитков — ключевая вода, и лучшее из яств — корка черствого хлеба», — произнес доминиканец строки кого-то из своих любимых поэтов и, не спрашивая Джованни, отдохнул ли тот, встал, чтобы продолжать путь.

— Прежде чем мы спустимся вниз, остановись и оглянись, — сказал доминиканец. — Вот внизу твое Стиньяно.

Внизу в долине среди виноградников и огородов виднелись домишки Стиньяно. Джованни попытался разглядеть родную кровлю. Может быть, сейчас отец, знавший когда-то лучшие времена, недовольный своей нынешней жизнью, и мать, замученная возней по дому, и брат смотрят на эту дорогу, по которой шагает он, и говорят о нем. И соседи тоже толкуют о Джованни, сыне сапожника Джеронимо, оставившем отчий дом. А может быть, и не вспоминают, занятые своими делами? Тяжело почувствовать себя отрезанным ломтем! Нет ничего прекраснее его родного Стиньяно! Нет людей приветливее, чем его семья в Стиньяно, нет родителей, более любящих, чем его родители, нет девушек прекраснее, чем в Стиньяно. Остаться в родной деревушке, в родном доме, унаследовать ремесло отца. Что может быть лучше! Он не хочет уходить из родных краев. Не хочет бросать отчий дом. Он не хочет, он не хочет, он не хочет быть монахом!

Доминиканец почувствовал, что происходило в душе Джованни. Он положил руку на его плечо и мягко повлек за собой. Мальчик еще раз посмотрел вниз и назад — туда, где лежало Стиньяно, вздохнул и покорно зашагал, стараясь не отставать от наставника. И вот уже перевал позади, и уже не виден спуск в долину, откуда они пришли, уже не видно Стиньяно. Джованни шагал упорно, опустив голову и стиснув зубы, глотая слезы и больше всего страшась, что наставник спросит его: «Хочешь вернуться?» А он не выдержит и ответит: «Да!»

Но впереди — огромный мир, полный непрочитанных книг, таящий в себе загадки и тайны, города, которых он не видел, иные люди, все иное. Он хочет все увидеть собственными глазами. Он не станет больше оборачиваться. Он пойдет вперед.

Глава V

Ни одна дорога не врезается в душу так, как дорога, которая уводит из отчего дома. Каждый шаг удаляет тебя от дома, но все напоминает о нем: старый плащ, который пахнет отцом, заплата на плаще, заботливо положенная материнскими руками, пухлая лепешка, испеченная матерью на дорогу, пахнущая родным очагом, кусок домашнего сыра с душистыми травками, растущими подле дома, тощий кошелек с мелкими монетами из скудной домашней казны. Память юного путника еще полна родными запахами. Они манят, они зовут: вернись, вернись, вернись! Но неутомимо шагает наставник, не задумываясь над тем, успевает ли Джованни за ним, и все дальше, все дальше, все дальше уходит он от дома, и вот уже пройдено столько, что один он побоялся бы вернуться и только теперь понимает — он ушел. Из родного Стиньяно ушел… Там сейчас холодные вечера. Домашние, верно, сидят вокруг медной сковороды в деревянном круге, на которой тлеют угли, и греют ноги. Сидеть бы ему с ними… Доминиканец понимает, что творится в душе мальчика, который впервые покинул родной дом, помнит то бесконечно далекое время, когда и он вот так же покидал родное гнездо, свои страхи, свои опасения, свои надежды. Он замедляет шаги и говорит:

— Сказано в Святом писании: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин Меня».

Наставник проговорил это медленно, отделяя слово от слова. Они падали, как тяжелые камни.

— Как понимаешь сие? — спросил он, пытливо глядя на мальчика.

Джованни затруднился ответом. Монах не торопил его:

— Поразмысли.

Тут было над чем поразмыслить. Представить себе своих родных своими врагами Джованни не в силах. Верно, в этих жестоких словах скрывается некий сокровенный смысл, ему недоступный. Он знал, что должен возлюбить того, кому принадлежат эти слова, — сына божьего — больше своих родных, он силился, чтобы чувство великой любви к тому, кто спас род человеческий страданиями своими, пересилило в душе чувство любви к отцу, матери, братьям. Но как узнать, свершилось ли это,

есть ли в его душе эта любовь, которая должна быть превыше всякой иной? Иногда ему кажется, он ощущает ее, но чувство это непрочно.

Однако он еще очень молод и не может только грустить об оставленном доме и только размышлять над вопросами доминиканца. Джованни никогда прежде не уходил так далеко от родной деревни. Они давно оставили узкие тропки и шли теперь по широкой дороге, во времена Древнего Рима вымощенной камнями. Здесь все привлекало мальчика своей новизной. Вот им навстречу двигаются носилки с шатром. Горят на солнце начищенные медные бляхи на сбруе мулов, лоснится шерсть холеных животных, тяжелыми складками ниспадает ткань шатра. Тонкая белая рука чуть приподняла занавеску, сверкнули из тьмы огромные глаза. Носилки окружены вооруженными слугами на конях. Они громко переговаривались, смеялись, бранились. Процессия удалялась, а Джованни все оглядывался. Кто эта прекрасная дама, куда несут ее?

Медленно тянутся по дороге тяжело груженные деревенские повозки — везут товары на рынок, подати баронам, монастырям, церквам. Разговоры крестьян невеселы. Минувший год не порадовал урожаем, но подати от этого не уменьшились.

Повстречались им странные путники. На головах у них вязаные колпаки с кистями. Прядь волос закрывает половину лба, колючие усы воинственно торчат вверх, за кожаными поясами пистолеты и кинжалы. Они пронзили мирных путников острыми взглядами. Миновав их, Джованни еще долго чувствовал недобрые глаза на себе.

— Кто это? — тихо спросил он.

Доминиканец неохотно ответил:

— Страшные люди, виновные и перед богом, и перед людьми. Продают свои руки и оружие каждому, кто может заплатить. А потом по его приказу запугивают того, на кого он укажет, а то и убивают. Наемные кинжальщики и пистолетчики — «брави». Нет у них ни совести, ни чести, и во всей стране нет на них управы.

Когда наставнику приходилось говорить с Джованни о бедах, терзающих их родину, он мрачнел. Что лучше — говорить или умалчивать? И сомнения эти были ему тягостны. Он понимал, что на его родной земле плохо, но не знал, как сделать, чтобы было хорошо. И молитвы не давали ответа.

Их обгоняли всадники на прекрасных конях, на простых рабочих лошадях и на тощих, замученных клячах. Наставник много пострaнствовал на своем веку, он умел по виду плащей, по обуви, по седлам и чепракам определить, откуда человек родом, кто он, дворянин или купец. Ну а простолюдина видно и так.

Дорогу он превратил в урок. Он рассказывал об этой земле. О племенах и народах, селившихся на ней и проходивших через нее: об италийцах, древних римлянах, греках, лангобардах, норманнах. Об алжирских и турецких пиратах, нападавших, да и сейчас нападающих на ее берега. О знаменитых полководцах, которые вели по этим дорогам свои войска, и о том, чем кончились их походы. О развалинах языческих храмов, скрывающихся в этой земле, о надписях на стенах и надгробьях, о легендах, созданных в этих краях, о славнейших итальянских поэтах, здесь рожденных, о прекрасном наречии, уже много веков назад зазвучавшем здесь. Джованни загорелся.

— И в монастыре можно будет обо всем этом узнать?

Доминиканец ответил не сразу. Джованни почувствовал — его вопрос не понравился наставнику.

— Присядем, сын мой, — сказал он. — Слушай меня внимательно и запоминай! Ты спешишь все прочитать, все узнать, все понять. Такое желание может стать великим благом, но оно может обернуться страшными соблазнами, смертным грехом. Богу нужны смиренные, а не гордые. Превыше всего возлюбившие его, а не науку. Преподам тебе молитву. Запомни ее и неустанно повторяй. Она создана для тебя. — Доминиканец прикрыл глаза и, молитвенно сложив руки, произнес: — «Дай мне, Боже, кроме знания наук еще и знание добродетели и умение пользоваться сим главнейшим знанием. И если я не могу вместить в себе того и другого — знания наук и знания добродетели, то возьми от меня знание и дай мне добродетель. Не дар познаний в науке хотел я получить от тебя, когда покинул отечество свое и родных своих: я стремился к тому, чтобы ты провел меня к вечной жизни по пути совершеннейшей добродетели. Таково было желание мое, Господи, и я молю тебя, помоги мне осуществить его лучше без всякого знания, чем без добродетели. Аминь».

Джованни не сразу проник в смысл этих слов, а когда понял их, был поражен. Значит, он перед богом отрекается от знаний? Но он еще так мало знает! Он еще и краешка наук не коснулся! Почему же заранее отрекаться от них? Почему науки должны быть отвергнуты ради добродетели, почему науки не соединить с нею? Почему он должен делать выбор — наука или добродетель? Куда справедливей был выбор, предложенный Гераклу.

Доминиканец увидел его смятение и сказал:

— Настанет время, и ты поймешь мудрость этой святой молитвы. Пока повинуйся, не рассуждая.

Голос его звучал строго. Он прочел молитву еще раз и еще, снова и снова заставляя Джованни повторять за собой ее слова. А тот устал шагать по бесконечной дороге. Устал повторять

молитву, против которой все в нем восставало. Устал! Когда же отдых?

Доминиканец знал, чем рассеять его, и рассказал несколько историй из монастырской жизни.

— Настоятель одного древнего монастыря, прославленный своей мудростью и строгостью, — неспешно повествовал наставник, — послал к отшельнику, жившему вне стен обители, двух послушников, они наткнулись на огромную ядовитую змею.

Джованни живо представил себе эту встречу. Вокруг Стиньяно тоже встречались ядовитые змеи. Были места, где жители боялись ходить босыми и без палки.

— Мальчики-послушники не испугались, — продолжал наставник. — Они схватили змею, завернули ее в куртки и с торжеством принесли в монастырь. Все в монастыре хвалили их твердую веру, которая позволила мальчикам победить змею. Но мудрый настоятель приказал их высечь…

— За что?! — с негодованием вскрикнул Джованни. Негоже перебивать старшего, но он не удержался.

— Настоятель понял, — с тонкой улыбкой ответил доминиканец, — всю пагубу их ранней гордыни. Он высек их затем, чтобы они не приписывали собственной воле дела божьи и волю божью. Запомни эту историю, сын мой. Вспоминай ее каждый раз, когда тобой овладеет гордыня, к которой ты, увы, склонен…

Наконец, вдали показалось селение с постоялым двором на краю. У коновязи лошади опускали головы в торбы с овсом, потряхивали ими, взмахивали хвостами, отгоняя слепней. Оборванный, загорелый до черноты парень дремал на нагруженной повозке, караулил товары. Дверь харчевни хлопала, впуская и выпуская гостей. Внутри было людно и чадно. На кухне скворчало и трещало. Пахло жареным, вареным, печеным. Острыми подливками. Густыми похлебками. Харчевник, в засаленном фартуке, с длинными поварскими ножами, засунутыми за пояс, встретил монаха и его спутника почтительно, подошел под благословение, усадил гостей за удобный стол в углу, мигом вытер столешницу фартуком, поставил оплетенную соломой флягу на стол, спросил, что подать:

— Есть мясная похлебка, молодая козлятина на вертеле, жареная курица с грибами и печеными каштанами.

У Джованни при этом перечислении даже голова закружилась.

Доминиканец нетерпеливо перебил харчевника:

— Мальчику дашь похлебку, пусть подкрепит свои силы, а мне… Есть на твоей кухне постная пища?

— Постная? — растерялся хозяин. — Но ведь сегодня нет ни большого поста, ни малого.

— Невежда! Наш пост продолжается полгода — от праздника Воздвижения Креста Господня до светлой Пасхи! — с гневным достоинством сказал доминиканец.

Харчевник, никогда прежде не встречавший среди иноков таких строгих постников, растерялся. Поразмыслив, он предложил бобы и рыбу. Доминиканец согласился. Здесь, где за каждым столом оголодавшие путники разрезали большие куски баранины, кромсали толстые ломти ветчины, с хрустом разгрызали птичьи косточки, со смаком высасывали мозг из говяжьих, здесь, где шумно жевали, чавкали, чмокали, доминиканец преподал урок воздержания мальчику. Произнеся слова молитвы, он перекрестился, выждал, когда Джованни все повторит за ним, съел несколько ложек бобов, крохотный кусочек рыбы, едва пригубил вина, и трапеза его на том закончилась. Джованни было стыдно, но он своего аппетита сдержать не смог. Неужто это грешно после такой дороги есть с удовольствием? Неужто еда и питье грех?

— Где ты устроишь нас на ночлег? — спросил монах у хозяина.

Тот виновато вздохнул:

— Все заняли купцы. Место есть только в общей комнате.

В общей комнате, где ночевали слуги, погонщики, кучера, грузчики, было тесно. Хозяин с трудом освободил для доминиканца и Джованни две скамьи. Доминиканец снял плащ, но сандалий снимать не стал. Правила ордена предписывают братьям спать в одежде и в сандалиях, чтобы быть готовыми встать и идти по первому слову Того, кто может приказать им отправиться в путь.

В комнате душно, шумно, чадят светильники. Незнакомые люди укладываются спать, переговариваются, кашляют, чешутся, божатся и бранятся.

— Затвори свой слух. Спи! — сурово велел доминиканец, но Джованни долго не мог уснуть. Перед глазами все тянулась дорога, по которой они шагали бесконечный день. Мешали громкие голоса. Вначале их было много, потом общим вниманием овладел один. Вокруг него постепенно все затихло, и стало отчетливо слышно, что рассказывает плутоватый голос. А рассказывал он о настоятеле большой богатой обители, проведавшем, что его братия хитроумным путем провела в монастырь некую любвеобильную девицу и по очереди утешается с ней в кельях. И как оный аббат вознамерился жестоко наказать распутников, для чего хотел застать их на месте преступления.

Но, подглядев в дверную щелку…

Доминиканец — он не знал, что Джованни уже давно слышал эту историю, — вскочил со своего ложа, хотел перебить бойкого рассказчика. Но как заставить его замолчать? Как устыдить всех, кто так жадно его слушает? Он резко дернул за руку Джованни.

— Вставай! Будем спать на улице…

Двор перед харчевней был пуст. У коновязи сонно дышали лошади. То одна, то другая просыпалась, начинала подъедать остатки разбросанного у коновязи сена, всхрапывала. Небо было черным, усыпанным звездами. После душной комнаты на воздухе казалось прохладно. С гор дул холодный ветер. Доминиканец бросил плащ под старой раскидистой шелковицей. Джованни никак не мог улечься: твердые корни упирались в спину, лицо задевали невидимые в темноте ночные мотыльки. В кустах трещали цикады. Наконец сон одолел его.

Проснулся он от музыки и пения. Веселая компания, до того гулявшая в харчевне, вывалила во двор. Осветили двор факелами, воткнув их в землю. Три музыканта — один с лютней, другой с дудкой, третий с бубном — играли и пели. Остальные подпевали, чокаясь в такт стаканами: мех, полный вина, повесили на дереве — подходи и нацеживай!

Доминиканец привстал. Он глядел на поющих и играющих и слушал их. Тут он бессилен. Если в харчевне он мог бы строгим голосом пресечь нечестивую болтовню, то, когда жители его горячо любимого, его погрязшего в грехах края собрались попеть и поплясать, с назиданиями лучше не соваться. Не поглядят ни на сан, ни на одеяния — высмеют, освищут.

Бражничающие образовали полукруг. Они не замкнули его, заметив путников под шелковицей. Пусть и монах и парень поглядят, нам не жалко! На площадку вышли плясуны — двое молодых мужчин и девушка. В свете факелов сверкали белки их глаз и белозубые улыбки. Вначале девушка не двигалась. Она стояла на месте, а парни то по очереди, то одновременно танцевали перед ней, вызывая ее на пляску своими движениями, выманивая жестами, обольщая улыбками. Но она лишь пренебрежительно поводила плечами, хотя было видно — огонь танца уже вошел в ее тело и пробегает по нему быстрыми искрами. Тут парни встали один против другого и начали пляску, в которой каждый брался переплясать другого. С насмешливо-вызывающим видом танцевали они, задирая друг друга дерзкими жестами, озорными словечками. Потом начался пляс такой быстроты и ловкости, что Джованни казалось, будто у танцоров по три пары рук и ног. И вот один переплясал другого! Победитель — он был постарше противника и пошире в плечах —

важно, будто это не он только что скакал, прыгал, топал с невероятной быстротой, плавно, медленно подплыл к девушке и сплясал перед ней горделивое приглашение на танец. Она отозвалась на его призыв. Поплыла ему навстречу. И вдруг в музыке и танце что-то случилось: возникла долгая, томительная нота дудки и нарастающие сухие дробные удары пальцев в кожу бубна, короткое позвякивание бубенцов. Тревожно, завораживающе звучала эта музыка. Парень наступал, девушка отступала, маня и завлекая его. Он просил и молил. Девушка отталкивала его, вырывалась из его рук, которые почти схватили ее, отбегала в сторону и снова дразнила, манила, звала, влекла. Джованни не мог отвести от них глаз. Факелы дымились, их пламя колебалось. Черные тени пляшущих метались по земле и по белой стене харчевни. Джованни казалось, что девушка и его зовет. Она, босоногая, в простом платье, никак не могла быть той, что проплыла мимо него на носилках, на мгновение призывно сверкнув глазами. Нет, та, что пляшет, другая. Но они слились в его душе в одну. И он с пронизывающей болью подумал, что, уйдя в монастырь, отречется от счастья когда-нибудь вот так плясать с девушкой. И до слез стало себя жаль, жаль своей молодости.

Неужели у него в жизни никогда не будет такой девушки, которая так же позволит ему подойти к себе, как позволила парню та, что пляшет сейчас? Вот они пляшут теперь рядом. Парень наступает, девушка отступает, но недалеко. Вот она пляшет, почти слившись с ним. Стан ее выгибается, она откидывает назад голову, ее черные косы метут землю, дрожь ее тела сливается с музыкой, которая стала еще тревожнее, почти нестерпимой стала. Судорога проходит по гибкому телу плясуньи — музыка обрывается. Джованни очнулся от наваждения.

— Щекотка дьявола! — гневно сказал доминиканец. — Вставай, обувайся, идем!

Тяжело, не выспавшись, шагать в полной тьме по каменистой дороге. Но наставник неумолим. Он влечет за собой Джованни, а музыка, разбудившая их, звучит в ушах его питомца, и девушка с черными косами пляшет перед его глазами в ночной черноте.

Все на свете кончается. Кончилась и эта дорога. Они дошли до известной доминиканской обители, куда наставника привели дела и где он хотел показать Джованни, что такое большой

монастырь. За время пути в душе у Джованни что-то перегорело. Отошло все пестрое, непонятное, манящее, что встретилось на дороге, все, что жило в сытном и хмельном чаду харчевни, в дерзких россказнях, в ночной пляске. Все это, грешащее языком, глазами, кожей, всей плотью, — не для него. Ему так не есть, не пить, не плясать. Он избрал иную долю, сулящую не скоротечные радости на земле, а вечное блаженство в райских кущах под сладостное пение серафимов. Почему же так грустно ему, почему так смутно на душе?

Глава VI

Перед воротами монастыря, куда они держали путь, Джованни увидел странное, пугающее зрелище. Некий человек, почти обнаженный, с пучком розог в руке, валялся в пыли перед монастырскими дверьми и, не поднимая головы, с трудом выговаривая слова, хрипя и запинаясь, произносил покаянную речь.

— Кто это? — спросил Джованни.

Наставник нахмурился, вопрос был ему неприятен. Впрочем, даже хорошо, что ученик его узнает сразу, как наказываются прегрешения монашествующей братии. Полуобнаженный, который кается, валяясь во прахе, содеял тягчайшее преступление — отрекся от ордена, пояснил наставник.

— Вначале такому грешнику провозглашается анафема, и он изгоняется из обители. Его отсекают, как гниющий член, способный заразить тлением все тело. Но обычно такой человек недолго живет потом в миру.

— Почему? — спросил Джованни.

— Кара небесная! — ответил наставник. Он не стал говорить, что эта кара нередко воздается земными руками. — Такой грешник, отрекшись от святого обета, не находит покоя в мирской жизни, мечется, всего страшится. Отвергнутый небом, он не принят миром. И если не погибнет сразу, то, подобно полураздавленной гадине, приползет к стенам обители, будет молить снять с него проклятие, восприять его снова в святые стены. И если ему будет оказана величайшая милость прощения, он еще целый год будет появляться в капитуле с обнаженной спиной, открытой для бичевания.

Они сидели в небольшом, дивно возделанном монастырском саду в тени старых грабов. Ровные дорожки, затейливо выложенные камушками, были обсажены кустами темно-красных и лилейно-белых благоухающих роз. Пышно цвели олеандры. Солнечные блики лежали на блестящих листьях магнолиевых деревьев. Огромны были их восковые цветы. В теплом воздухе гудели быстрые пчелы, и так же, как пчелы, хлопотливы были оборванные работники, трудившиеся в саду. Все дышало благолепием и покоем. Тем страшнее был вид человека, все еще валяющегося в пыли перед запертым входом, хрипло вопиющего о грехах своих, жалостно молящего о прощении.

— Запомни то, что ты видишь! — строго сказал наставник. — Смотри, сколь подобен он шелудивому псу, вымаливающему ласку у хозяина, которого посмел облаять.

У них было время для разговора. Настоятель занят. Наставник воспользовался ожиданием, чтобы рассказать Джованни о порядках в монастыре.

— Став послушником, ты получишь наставника, — сказал доминиканец. — Он преподаст тебе, сколь благая участь быть монахом. Монахи славят Господа, Пречистую деву и всех святых. Жизнь инока — постоянное восхваление бога и великих милостей его.

Джованни не сдержался и, что не подобало, перебил доминиканца: «Разве не вы отец мой..?»

Монах не дал ему договорить.

— Наставника не выбирают, — сурово ответил он. — Его назначает капитул. Я недолгое время буду еще с тобой. Но ты попадешь в хорошие руки. Послушником пробудешь год. Затем тебе откроются все требования, что орден предъявляет к братии. Если они покажутся тебе непосильными и ты убоишься сей стези, — наставник вздохнул, — если окажется, что я обманулся в тебе, тебя отпустят с миром. Но если за год послушания ты укрепишься в желании избрать монашескую долю, будешь пострижен. Мне хотелось бы, чтобы в монашестве ты принял имя Томмазо, в честь святого Фомы Аквината… Да будет он твоим патроном и вечным примером! Прожив несколько лет в обители, ты сможешь стать странствующим проповедником и отправиться в путь, неся людям слово истины христовой. Другим порогом, который ты одолеешь, когда войдешь в годы, будет разрешение преподавать. Университеты, где ученых из нашего ордена встречают с почтением, есть повсюду. Прозри свою цель, но помни: она лишь малая, низкая, ничтожная ступень для достижения цели более высокой — истинного блага. Скромной будет твоя одежда, когда ты станешь монахом. Будешь носить, как и я, грубое шерстяное одеяние до щиколоток, а под ним другое, доходящее до колен. В нем ты будешь ходить днем и спать ночью, никогда не снимая ни его, ни сандалий.

Джованни поморщился. В родном Стиньяно с головы до ног мылись четыре раза в год, запах грязи и пота был обычен, и люди бы удивились, если бы кто-то попытался избавиться от него. Мыло варилось дома из сала и щелока и отнюдь не благоухало. Но спать, никогда не снимая одежду, не разуваясь? Почему это угодно богу? Впрочем, его наставник тщательно моется, едва представится возможность. Моется, таясь, а потом кается, ибо все, что делает человек в угоду своему телу, — грех.

— И должен ты знать, — продолжал учитель, — что принимать пищу в келье запрещено. Пищу братия принимает только сообща в трапезной, где надлежит соблюдать молчание.

Молчание подобает также в кельях и в ораториуме.

— Молчание в ораториуме? — Джованни улыбнулся, а наставник нахмурился: когда говорят о правилах ордена, не улыбаются. — Освобождать от молчания в местах, где предписано немотствовать, не дано никому, даже старшим…

Как он любил поучать, этот человек!

Обнаженное грязное, потное тело кающегося жалили слепни, кожа судорожно вздрагивала, а он все хрипел слова о раскаянии и мольбу о прощении. Наконец двери перед ним отворились, и он вполз на коленях в обитель.

«Почему он прежде отрекся от ордена, а теперь отрекается от своего отречения?» — подумал Джованни.

Время в благоухающей тени монастырского сада текло медленно. Но вот перед пришельцами предстал один из здешних братьев. Он приветствовал их словами: «Да почиет на вас благодать господня!» — и пригласил войти в обитель. Настоятель ждет их.

Джованни испугался. Уж не хочет ли наставник оставить его в этой обители, которая встретила его столь устрашающей сценой покаяния? Но доминиканец сказал настоятелю, что они совершают паломничество, чтобы ученик его присмотрелся к разным монастырям, увидел, как могуч орден доминиканцев. Джованни радовался тому, с каким почтением принимают его учителя. Неужто и ему когда-нибудь будут отворяться двери всех доминиканских обителей, он будет сопричастен ко всему, что значит этот славный орден?

Наступил день, когда наставник разбудил его раньше обычного. Он не выспался, на воздухе его зазнобило. Но утро было солнечным, теплым, прекрасным. Дорога круто шла на подъем. Когда они добрались до перевала, Джованни не сразу понял, что перед ними. Казалось, он видит перед собой два синих неба — одно над головой, другое под ногами.

— «Таласса!» Так радостно восклицали греки, увидев перед собой то, что мы видим сейчас, — море, — сказал наставник. — Бесконечная синева, в которой отражается бесконечная синева неба. В море впадают реки, а оно впадает в океан. Океану же несть конца. Велик и могуществен океан! Но что его величие, что его могущество, что его красота по сравнению с величием, красотой и могуществом создавшего его бога?

Они спускались вниз по крутой тропе, и казалось, что море притягивает их к себе, — эта крутизна спуска заставляла их ускорять шаги. Гибкие ветки хлестали их по разгоряченным лицам. В воздухе все сильнее пахло свежестью и солью.

И вот они на берегу — узкая полоса мелкой гальки лежит под

натруженными ногами, она тянется направо и налево, насколько хватает глаз. Перепутанные космы бурых водорослей лежат у кромки воды. От них резко и сильно пахнет. Этого запаха Джованни не забудет никогда, как никогда не забудет этого дня. Волны то плавно накатывают с мягким шелестом на берег, то откатывают от него, оставляя на гальке пузырящуюся пену. Рыбачьи лодки под пестрыми рваными парусами медленно-медленно скользят по воде. Рыбаки вытаскивают сети.

Доминиканец проговорил:

— «Проходя же близ Моря Галилейского, увидел Иисус Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Вот и завершено наше странствие. Я хотел закончить его у моря, чтобы ты увидел на нем рыбаков и подумал не о тех рыбаках, что ловят рыбу, а о тех, что, подобно великим апостолам, уловляют человеческие души. Ибо тебе предстоит стать одним из них. Достойным своего предначертания!

Джованни еще тянуло к воде. Но он не смог сказать об этом наставнику, поглощенному своими высокими мыслями, медленно и важно говорящему о его будущем.

Они повернули вспять.

И вот снова родное Стиньяно. Джованни сильно вытянулся, повзрослел, лицо его загорело до черноты, обветрилось. Не только Стиньяно, даже Стило показался ему маленьким. Он еще не повидал мира, но уже заглянул в него, уже прошел далекими дорогами, поднимался на крутые перевалы, видел постоялые дворы, полные суеты и шума, и обители, полные тишины и благолепия. Видел людей, непохожих на стиньянцев и стилезцев. Ночевал под открытым небом. Встречал прекрасных женщин. Видел грешника, распростертого во прахе. Путешествие не насытило его любознательности, а лишь разожгло ее. Сможет ли он, став послушником, а позже монахом, утолить ее? Но решение больше нельзя откладывать.

Наставник ждать не мог. Орденские дела предписывали ему новую дорогу. Было решено, — Джованни станет послушником в монастыре, что в Плаканике, это недалеко от Стиньяно. Он всегда сможет повидать своих, а они — его. Он со страхом понимал: когда он перешагнет порог обители, прежняя жизнь будет отрезана, дверь в нее захлопнута. Но он решился.

Проводив Джованни в обитель, наставник заторопился. Не хотел длить расставания с питомцем, к которому привязался. А более всего, не смел признаться себе в этом чувстве и страшился, что его заметят другие. Прощание их было коротким,

сдержанным, выглядело сухим. Учитель благословил Джованни, постарался не заметить слез на глазах питомца и покинул Плаканику. Навсегда ушел из жизни Джованни.

Глава VII

Обитель в Плаканике невелика, скромна, незнаменита. Быть может, именно поэтому немногочисленная ее братия любила рассуждать о сияющей в веках славе ордена, к которому принадлежит и она, о доминиканцах — великих ученых, доминиканцах — знаменитых художниках, которым даровано божественное искусство изображать мадонну с младенцем и страсти Христовы столь удивительно, что люди, взирая на эти картины, чувствуют себя просветленными. О том, что доминиканскому ордену принадлежат кафедры богословия в Париже, Падуе, Праге, Болонье, Вене, Кельне, Оксфорде, Саламанке. Джованни преподали историю ордена. Его основатель родился в Испании. Доминику де Гусману было четырнадцать лет, когда он поступил в университет. Прошло всего десять лет, и Доминик стал каноником. Потом основал монастырь. Был миссионером среди магометан и еретиков, во Франции пытался обращать в истинную веру отпавших от нее альбигойцев.

Тут Джованни осмелился перебить того, кто его наставлял. Магометане — это турки, от страха перед которыми долгие годы дрожало все побережье Италии. Они — язычники, не признают христианской религии. Но кто такие еретики? Он уже знал: еретики тоже верят в Христа, только не так, как предписывает верить святая церковь. И о них говорят, будто они хуже язычников.

— Вот таких-то, кто тоже верит в Христа, но хуже язычников, не верящих в него, обращал во Франции в истинную веру испанец Доминик? — спросил он.

— И, увы, вначале не слишком в том преуспел. Несмотря на пламенность своей проповеди, — сказал его новый учитель. — Папа, сидевший тогда на престоле Петра, полагал, что вернее, чем слово убеждения, будет меч войны и клещи палача.

Монах произнес эти слова спокойно. Джованни вздрогнул. Нельзя было вырасти в то время, в какое вырос он, не зная, что такое пытка клещами. Если ее не доводилось испытать самому, от чего боже избави, если не приходилось повидать, как терзают на городской площади какого-нибудь беднягу, то непременно случалось услышать песню, расписывавшую пытку в подробностях, или повидать листок с ее изображением, купленный на рынке.

— И послал папа во Францию, в тот край, где совсем осмелели еретики-альбигойцы, большое войско. Вместе с войском пришел туда Доминик. Он был назначен главой следственной

комиссии, уличавшей еретиков в ереси. И виновные в ереси шли на костер, — спокойно говорил его новый наставник.

Этого Джованни понять не мог. Папа прав. Папа, наместник Христа на земле, не может быть неправым. Доминик, действовавший по его приказу, тоже прав. А люди из далекой Франции по кличке «альбигойцы» не правы. И грешны потому, что не правы. Но за это — на костер? На смерть мучительнейшую? Почему? Прежний наставник терпеливо отвечал на все «почему» Джованни. Новый резко его перебил.

— Грех их был страшен! Они отрицали святые таинства, ад и чистилище… — Джованни содрогнулся. — Ты видишь в костре только муку, но не понимаешь: этой мукой тела очистятся их души для вечной жизни, освободятся от мук бесконечных. Что по сравнению с вечной мукой души в аду час страданий в земной юдоли? Что значит жалкая грешная плоть? Она зловонная темница души! Ей можно, ей нужно причинять страдание, чтобы тем спасти душу!

Джованни попытался представить себе, что чувствует человек на костре, его затрясло.

— Кто придумал это? — спросил он, избегая страшного слова.

— Что «это»? — спросил учитель и резко приказал: — Говори яснее!

Джованни замялся, но потом все-таки промолвил:

— Костер!

Доминиканец пожал плечами. Джованни не успокоился:

— Праведников тоже мучили и сжигали. Потому что считали их грешниками! А потом оказалось, они — праведники. Христа мучили и распяли. Может быть, и альбигойцы… — сбивчиво проговорил он.

— Запрещаю тебе договаривать! Ты готов впасть в грех лжемудрствования, за который нелегко получить отпущение. Когда война с альбигойцами была закончена, еретики обращены в истинную веру, — продолжал монах, — а упорствующие наказаны, Доминик преобразовал братство, некогда основанное им для борьбы с еретиками, в орден странствующих проповедников.

Может быть, было бы лучше, если бы братство с самого начала увещевало только проповедью, а не огнем и мечом? Джованни этого вопроса не задал. Он плохо понимал своего нового наставника.

— Орден доминиканцев принял суровый устав. И символ — изображение пса с пылающим факелом в пасти. Почему ты не спрашиваешь меня, сын мой, что означает оный символ? Пес

означает, что наш орден призван сторожить и охранять церковь, а факел — что орден призван озарять мир пламенем истинной веры. Само имя «доминикане», образованное от имени славного основателя нашего ордена, стали мы толковать с тех пор как domini canes — «господни псы»! Запомнил?

Это он запомнил! Образ грозного стража — пса с пылающим факелом в пасти — трудно забыть.

— Орден стремился проповедовать среди простого люда, прославить себя подвижничеством и бедностью. Но римский престол счел за благо освободить доминиканцев от запрета владеть недвижимым имуществом, разрешил строить монастыри и церкви, не только проповедовать среда простолюдинов, но и учить в университетах. Доминиканцами были знаменитые богословы Альберт Великий, Фома Аквинский. Наш орден дал римской церкви сотни епископов и архиепископов, десятки кардиналов, несколько пап… Великая честь и огромное благо стать одним из скромных сочленов нашего ордена. Скромна, почти забыта людьми наша обитель в Плаканике. Но она гордится своей причастностью к великому ордену. Подумать только, уже три века назад доминиканские монастыри были и в Греции, и на земле обетованной — в Палестине, и, страх сказать, в далекой, закованной во льды Гренландии.

Каждый день в обители был строго размерен. Колокольный звон не давал забыть многочисленных служб, скудных трапез, долгих часов непременного молчания. В начале третьего часа пополуночи монахов и послушников будил гулкий колокольный звон — призыв к всенощной. В дормитории — общей спальне послушников — все просыпались, зевали, потягивались. Монахи-надзиратели торопили встающих. Начинался день, заполненный молитвами, пением псалмов, назидательными беседами, многотрудными уроками, подчиненный суровым предписаниям и правилам. Трудно подолгу молчать, трудно говорить тихо, трудно ходить, низко опустив глаза, трудно никогда не смеяться, трудно не задавать вопросов. Родной дом близко, но отпроситься туда нелегко. И домашние тоже не часто выбирались к Джованни. Дела, заботы. Да и чувствовали они себя в стенах обители стесненно. Недалеко ушел Джованни от родного дома, а стена обители стоит между ним и его близкими высокой преградой. Он еще не монах, но уже совсем и не деревенский подросток. Как говорить с ним, неизвестно.

Джованни тосковал, особенно когда просыпался и видел себя среди чужих. Другие послушники были старше, провели в обители больше времени, привыкли. Они из разных концов Италии, у каждого свое наречие, а по-латыни далеко не все

объяснялись так свободно, как Джованни. Они плохо его понимают, а он плохо понимает их. Отрадны были некоторые занятия в школе, но суровы наказания за малейшую провинность. За незнание Джованни наказывать не приходилось: изучение псалтыря, церковное пение, начала богословия, основы грамматики, свободные искусства давались ему легко. Чисты и без ошибок были его записи, сделанные вначале острым грифелем на восковых дощечках, позже чернилами на бумаге. Но и ему случалось провиниться: то засмотрится в окно, то перебросится словом-другим с соседом, то подскажет кому. За это били линейкой по рукам — боль от такого наказания подобна ожогу, рука вспухает. За провинности более серьезные пороли розгами. Пороли жестоко. Послушники шепотом рассказывали, что в одной обители тот, кому предстояло такое наказание, был послан на черный двор за розгами, но вместо того, чтобы покорно принести их, поджег монастырь. Никто не знал, что стало со смельчаком. Впрочем, вслух его называли не смельчаком, а грешником, Джованни подумал об этом послушнике, что хорошо бы иметь такого друга.

Многое в обители Джованни по душе: прекрасный сад, аккуратные внутренние дворики, расчищенные дорожки, посыпанные песком, тенистые и тихие уголки, прохладные полутемные переходы внутри обители, чистота. Особенно нравились ему кельи самых старых и уважаемых братьев. В них все создано для ученых занятий. При келье дворик, отделенный от других высокой стеной. Здесь можно гулять, дышать запахом цветов, ухаживать за ними, не видя никого вокруг себя, не общаясь ни с кем, кроме птиц, *У* кельи прихожая. Там стоит таз, вода для него поступает из-за стены, где прислуживающий монаху послушник наливает ее в воронку, вставленную в отверстие каменной кладки: глядеть на моющегося монаха никому не подобает. Некоторым самым почитаемым братьям позволяется даже принимать пищу в своей келье. Они могут целыми днями ни с кем не разговаривать, предаваясь в одиночестве размышлениям. Хорошо это или плохо? Наверное, для ученых занятий хорошо. Когда-нибудь и у него будет такая келья.

Некогда в Плаканике, как и в других обителях, была мастерская письма. Целыми днями переписчики в полнейшей тишине списывали книги Священного завета и отцов церкви, рубрикаторы размечали текст красными черточками, иллюминаторы рисовали красивые инициалы в началах глав, украшали их затейливым орнаментом. Но с той поры, как на севере в Германии изобретено книгопечатание, о котором идут

споры — от бога оно или от дьявола, — мастерские закрылись. Только самые старые монахи помнили предания о порядках в скриптории, да в библиотеке хранились искусным почерком написанные и дивно изукрашенные книги.

Монах, ведавший библиотекой, дозволил Джованни бывать в библиотеке. Джованни с величайшей охотой помогал ему расставлять книги. Отдельно самые большие — in folio, отдельно поменьше — in quarto, отдельно маленькие — in octavo. Он дивился толстым томам в тисненых кожаных переплетах, застежкам, украшенным чеканкой. Бережно стирая пыль с книги, иногда он украдкой раскрывал ее на середине и погружался в чтение. Рукописные читать ему было поначалу трудно, потом привык. А печатные с самого начала читал легко, хотя дивился, что в разных книгах латынь выглядит, — да и звучит, если прочитать вслух, по-разному.

Брат-библиотекарь сокрушался, что книг в монастырской обители мало, обитель бедна. Он помнил все про каждую книгу: где и когда переписывалась, если рукописная, где и когда печаталась, если печатная, кем принесена в дар. Он говорил о книгах с нежностью. Однажды он сказал проникновенным голосом, цитируя чей-то трактат: «Книга — светоч души, зеркало тела, она учит добру и прогоняет пороки, она — венец мудрости, путеводитель путешествующих, друг семьи, утешитель болящих, помощник и советник правителей, книга — сад, полный спелых плодов, луг, полный благоухающих цветов; книга приходит к нам, когда нужна, книга всегда готова помочь нам, книга знает ответы на все вопросы; книга проливает свет на тайны, книга озаряет темноту, помогает в беде и учит умеренности в счастье». Библиотекарь сам прервал себя — грех так любить что-нибудь, сотворенное руками человеческими. Но ведь он любит не сами книги, а божественную мудрость, в них заключенную. Конечно, книжники вместе с фарисеями были врагами того, кто пришел искупить вину рода человеческого, но сколько отцов церкви, блаженных и святых были почитателями книжности? Недаром святой Иероним изображается всегда с книгами, с прибором для письма, погруженным в раздумье над текстами!

Библиотекарь перелистывал рукописный том и вдруг заметил, что широкие поля книги обрезаны. Кровь ударила ему в голову. Голос его пресекся. Он с трудом выговорил, что дознается, кто снова охотится за чистым пергаментом: на таких полосках переписывают молитвы на продажу неразумным женщинам. Те верят, что молитва, написанная от руки, помогает больше, чем молитва, напечатанная в типографии. Пакостнику не миновать монастырской тюрьмы!

Если бы Джованни мог, он бы не выходил из библиотеки. Но у молодого послушника много обязанностей. Конечно, в монастырской школе тоже есть книги — учебники грамматики, диалектики, арифметики. Но они побывали во многих руках, помяты, затрепаны, изрисованы. И все-таки даже эти невзрачные книги дороги ему. Его постоянно томит умственный голод. Впрочем, и простой голод тоже: монастырские трапезы скудны. Мясо Джованни и дома ел редко, чуть чаще рыбу. Но у доминиканцев мяса не готовят никогда, а строгих постов, когда и рыбы не дают, когда даже чечевицы не поешь досыта, много.

В дормитории часто говорят о еде. Те, кто из семей победнее, вспоминают простые лепешки, те, у кого дом побогаче, — жареные пироги с мясом и перцем, рыбу, печенную в золе, жирные деревенские колбасы. Да и каша на молоке чем плоха! А тыква, на меду варенная! Послушники родом с побережья вспоминают морских тварей — устриц, каракатиц, омаров. Из-за этого однажды вспыхнула ссора. Один послушник нахваливал такую еду, а другой накинулся на него: «„А все те, у которых нет перьев и чешуи… из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас“, — с торжеством процитировал он Ветхий завет. — А у этих твоих устриц, каракатиц, омаров нет ни перьев, ни чешуи! Есть их — осквернятся!» — говоривший истово сплюнул.

Житель побережья, привыкший, что все от мала до велика едят все, что другой назвал скверным, и с нежностью называют «фруктами моря», до смерти обиделся, но не знал, что ответить. Нашелся Джованни.

— Сказано Иисусом, — заметил он, — «не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет…» — и назвал главу и стих Евангелия, где именно это сказано. Столкнулись два текста — ветхозаветный и новозаветный. Между ними возникло противоречие. Как быть? Какому следовать? О споре, окончившемся безрезультатно, тотчас узнал монах, которому было вверено попечение о Джованни.

Монах расспросил Джованни, отчитал его за гордыню, за умствования, за рассуждение о том, что превыше его понимания, за попытку столкнуть две истины, которые должны быть для христианина одинаково святы. Какие доводы можно приводить в подобном споре, он не сказал. Прозвучали слова, не раз еще дома от отца слышанные, ненавистные Джованни, — «не твоего ума дело», последовало назначение строгой епитимьи. Ему было приказано неделю есть в трапезной, сидя на низенькой неудобной скамье, а еду перед ним ставили на табурет. Так что он сидел ниже всей братии, и все взирали на него с осуждением сверху

вниз, три дня в неделю его едой была только вода и черствый хлеб. За что? Почему?

Нет, нелегким был первый год в монастыре — год послушания. Конечно, могущий вместить да вместит, но могущий ли он?

Ему исполнилось пятнадцать. Его мучило любовное томление. Вспоминалась соседка, молодая, красивая, рыжеволосая. Однажды она полоскала белье на берегу ручья, стоя по щиколотку в воде. Легкая юбка была высоко подоткнута, рукава закатаны, белая рубаха обтягивала грудь. Джованни шел, задумавшись, и неожиданно оказался на берегу ручья совсем рядом с ней. Она вскрикнула, а он остановился на месте, не мог ни глаз от нее оторвать, ни убежать. Соседка заметила волнение мальчика и рассмеялась. В ее смехе звучал душный хмель летнего дня. Наваждение! От него надо откреститься, но его невозможно забыть.

И та, другая, мелькнувшая в носилках на дороге, сверкнувшая черными глазами, на миг показавшая белую руку, снилась ему ночью. И плясунья с черными косами, перегибавшаяся под томительный звук дудки, под сухое постукивание бубна, под звяканье колокольчиков… Говорили, что святая вода и чтение Евангелия от Иоанна обращают греховные видения в бегство, но это помогало не всегда. Кому расскажешь об этом и что услышишь в ответ! Услышишь о славных братьях минувших лет, которые, когда их томила плоть, причиняли себе страшную боль, чтобы заглушить ею соблазн, или трижды и три раза трижды входили в ледяную воду, чтобы преодолеть искушение. Некий брат, томимый такими видениями, бросался на колокольню, бил в колокол. Разбуженная братия устремлялась в церковь молиться, чтобы отогнать бесовское искушение от того, кто так слаб в борьбе с ним. «Можно представить себе, как они его ругали!» — подумал Джованни, рассмеялся и испуганно прикрыл рот рукой. И сама мысль, и смех были грешны. Сколько уже людей вели до него в монастырских стенах тяжкую эту борьбу, скольких она погубила!

Царь небесный создал свет и отделил его от тьмы, сотворил твердь земную, зелень, траву, деревья плодовитые, светила на тверди небесной, птиц, рыб, скотов, зверей и, наконец, человека — по образу своему и подобию. Но зачем создал он соблазны на пагубу человеку? Иногда ему казалось, что если бы он трудился так тяжело и с утра до ночи, как трудятся все в родном селенье, грешные мысли не столь сильно одолевали бы его. Хотя послушникам приходилось рано вставать, отстаивать долгие службы, долго сидеть на уроках, прислуживать монахам,

подметать коридоры обители, настоящего труда они не знали. Некогда уставы предписывали и братии и послушникам тяжкий труд в поле, в саду, в мастерских, но это ушло в прошлое. Монастырскую землю пахали работники. Угодья обители были невелики. Большую часть припасов она получала от окрестных крестьян: привозить в монастырь муку, чечевицу, вино, бобы, рыбу, виноград и прочие земные плоды было их повинностью. Когда на заднем дворе монастыря появлялись крестьянские повозки на высоких колесах, вытесанных из дуба железной твердости, когда двор заполняли загорелые до черноты, бедно одетые люди с каменно-твердыми руками, пахнущие солнцем и потом, Джованни тянуло к ним. Они были похожи на людей из родного Стиньяно.

Однажды, когда крестьяне привезли в обитель припасы и отдыхали на дворе, ожидая, пока инок, ведавший кладовой, пересчитает привезенное и отпустит их, один из парней, не думая о святости места, где находится, запел песню бедняка, брошенного в темницу.

— Так камень падает на морское дно, — пел певец. — О темница, как глубоко ты под землей! Такими бывают только могилы, но я жив, почему же я в могиле? Что творится на свете? Что с моими друзьями? Живы они или умерли? Мне никто не говорит этого! Всюду свежий воздух. Им дышат все. И все свободны. Как прекрасна свобода! Как же я потерял ее? Меня заточили в подземелье, заперта моя тюрьма, но открыты суды, чтобы снова судить меня! И мои друзья меня предали. Одни хотят, чтобы я вечно оставался в тюрьме, а другие и вовсе желают, чтобы я умер… Почему?

Певец пел негромко, уныло. Остальные молча слушали. Джованни чувствовал, как каждое слово песни западает ему в душу. Нет, обитель не похожа на тюрьму. Но почему так волнует его эта песня? Он запомнит ее. А если не запомнит, то напишет заново: она станет еще печальней и еще прекрасней.

На дворе появился отец-эконом. Пение прекратилось. Получив вместо платы благословение, крестьяне потянулись восвояси. На вытоптанном дворе остались клочья сена, которые выдул ветер. И снова тихо в обители. Лишь негромкие голоса, да пение в церкви, да тяжелые удары колокола. Джованни показалось, что было бы счастьем попроситься на такую повозку, уехать из этих стен, из этого ухоженного сада, от этой тишины. Да что уехать! Уйти! Домой. Туда, где отец колет острым ножом твердую дощечку, чтобы наделать из нее гвоздей, варит вар, сучит щетину, вощит дратву. Где мать озабоченно хозяйничает около очага, сложенного во дворе. Где растут брат и сестра. Туда,

где можно говорить во весь голос, ходить, не опуская глаз в землю, бродить по округе и никто не спросит тебя, где был. Туда, где можно снова встретить рыжеволосую соседку. Однажды он долго смотрел на нее через живую изгородь, она заметила его и не рассердилась. Как прекрасна свобода! «Почему же я потерял ее?» — вспомнилась песня, только что слышанная.

Но где взять дома книги? Как утолить дома жажду знаний? Ради нее он готов претерпеть все. Нет в его душе страсти сильнее, чем эта. Среди многих мудрых слов, сказанных наставником, который привел его в обитель, надеясь, что он, Джованни, со временем станет гордостью славного ордена доминиканцев, ему особенно сильно запали в душу не вполне понятые им, томящие его, как тайна, прекрасные слова: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Так учил проповедник Екклесиаст. Его очи еще мало видели, его уши еще мало слышали, но сколько бы ни увидел он, сколько бы ни услышал он, ему все будет мало! Он взыскует истины, и голод, живущий в его душе, неутолим.

Глава VIII

На протяжении года послушнику Джованни трижды прочитали монастырский устав и бессчетно повторяли: подняться к нему можно только по ступеням смирения. И каждый раз он отвечал, что хочет войти в лоно святой обители смиреннейшим ее братом. Ему снова и снова напоминали, что, приняв сие решение, он лишается права в будущем отказаться от монашества под угрозой вечного осуждения. Обычай требовал, чтобы он за время, предшествующее пострижению, много раз оставлял на короткое время обитель и стучался потом в ее стены. Прошел он и через это. Для него привычными стали рассуждения: «Мир — тлен, и все блага его — тлен, и вся жизнь — тлен!», но порой, когда он слышал или произносил эти слова, перед ним возникали горы вокруг Стило весной, когда на склонах цветут миндаль и дикие олеандры. Да, цветы отцветут! Но новой весной все возродится! А здесь поучают: «Разве можно назвать земную жизнь, которая вся — лишь ожидание смерти, жизнью? Она — жалкое прозябание. Живет лишь тот, кто упивается светом истины в стенах святой обители, вкушает радость слияния с богом, готовится к жизни вечной и уверен, что обретет ее».

Джованни слушал, повторял, затверживал. Но как судить ему о земной жизни, как отвергать ее, он ведь еще не жил?

В ночь накануне посвящения Джованни не спал. Терзался. Он так молод, так мало прожил за стенами обители, так мало земных радостей изведал. И завтра от всего отречься? Отречься, не имея возможности потом ничего изменить. Отречься навсегда. На-всегда, какое тяжелое слово! Ему представлялись сверстники, избравшие другой путь. Почему он здесь? Верно ли он поступил? Был бы рядом наставник, который направил его на эту стезю, выговориться бы… Но того нет. «Сегодня я в Гефсиманском саду», — подумал Джованни и ужаснулся дерзости этого уподобления. Но память подсказывала строки Евангелия об Иисусе, который, зная о том, что его ждет, пришел на место, называемое Гефсиманией, сказал ученикам: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». Потом отошел в сторону, упал на землю, начал молиться и плакать: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия».

Да минует меня чаша сия! — так мог бы воскликнуть и Джованни, которому наутро предстоит распрощаться со своим именем, со своим прошлым, со своими близкими. Его не ждет смерть, как того, кто, плача и томясь, молился в Гефсиманском саду, его ждет всего лишь умерщвление плоти, всего лишь

подчинение суровым заветам. Его ждет жизнь не человеческая, но иноческая. Да минует меня чаша сия!

Джованни уснул с трудом. Его разбудил громкий, торжественный благовест колоколов.

Пострижение в монахи нового брата — событие!

В назначенный час Джованни предстал перед братией в благоухающей ладаном церкви. На полу были разбросаны розовые лепестки. Прозвучало торжественное оглашение: «Обитель готовится восприять в свои стены нового брата!» В ответ Джованни смиренно произнес:

— Я прошу принять меня в лоно вашей святой обители и позволить мне стать ее иноком и слушать каждый день животворящее слово божественного откровения.

Настоятель сурово напомнил, сколь тяжки обязанности, кои возлагает на себя тот, кто выразил желание принять иноческий чин.

Джованни помедлил, это последняя возможность отказаться от пугающей его судьбы, но затем подтвердил свою решимость стать монахом. Мысль о науках, которые он надеялся постичь в монашестве, поддерживала его слабеющую волю. Джованни торжественно поклялся перед братией, богом и всеми святыми, что навсегда отказывается от прежней жизни, будет во всем послушен старшим. Под угрозой вечного осуждения. Произнеся клятву, он назвал имена всех святых, реликвии которых хранились в обители, потом написал собственноручно расписку, заверяя ею свою решимость, и все монахи трижды воскликнули: «Слава Господу!» Посвящаемый обошел церковь по кругу, становясь перед каждым из братьев на колени и прося смиренно помолиться о нем. Настоятель велел подать ножницы. Джованни, стоя на коленях, протянул их настоятелю, поцеловав его руку. Настоятель оттолкнул ножницы. Это повторилось трижды: так проверялась твердость духа постригаемого. Лишь в последний раз настоятель принял ножницы и выстриг в густых волосах Джованни кружок — тонзуру. Для инока той ступени, которым становился он, тонзура была маленькой — величиной с гостию[1]. Выстриженный кружок напоминал о временах, когда кающиеся грешники стригли головы наголо. Монах надел на нового собрата монашеское платье — длинную тунику с капюшоном-куколем, пояс и наплечник, покрывающий плечи и грудь и ниспадающий до колен. Кожаный пояс — знак умерщвления плоти. Тесная туника, облегающая тело, знак, что все члены монаха отныне мертвы для мира. Хор пел длинную печальную молитву. Один из братьев унес в кладовую прежнюю одежду посвященного. Он ее больше никогда не наденет, никогда не увидит.

Настоятель провозгласил, что новый инок нарекается именем Томмазо. Прозвучали слова торжественной молитвы: «Veni, creator spiritus!» — «Приди, дух животворящий!» Свершилось!

Глава IX

Трудны были первые дни молодого монаха, непривычно облачение. Он не сразу стал откликаться на новое имя — Томмазо. Когда в первый день после пострига шел по двору и крестьянин, который привез в монастырь муку, подошел к нему под благословение, Джованни — нет, уже не Джованни, а брат Томмазо — растерялся. С трудом проговорил полагающуюся формулу.

Пострижение отделило его от вчерашних товарищей, но не сделало своим среди монахов. Мешала разница лет. Мешала его порывистость. Хоть и сковывали ее монашеское одеяние и предписанная неторопливость движений, его характер, горячий, нетерпеливый, прорывался резким жестом, стремительным движением, страстным восклицанием. Едва такое случалось, он ловил на себе укоризненный взгляд кого-нибудь из братии. Если свидетелем вспышки оказывался один из начальствующих, Томмазо выслушивал поучение, а иногда и наказание принимал.

Монахи много времени проводили вместе в церкви, в трапезной, встречались в коридорах, переходах, во дворе, однако были разобщены. Общая беседа не возникала никогда, разговор двоих-троих был редкостью. В чем причина? Может быть, в различии мирских судеб этих людей. Здесь не принято расспрашивать о жизни в миру. Считалось, что каждый истребил прошлое в себе, похоронил. Но все-таки монаха родом из деревни, когда в монастыре появляются крестьяне, тянет к ним — расспросить об урожае, погладить лошадь, пощупать зерно. У него в речи нет-нет да проглянет деревенский говор. Его сразу отличишь от некогда богатого, обласканного судьбой дворянина, принявшего постриг после несчастья, разорившего его дом. Одинаково их одеяние, общим правилам покорствуют они, но это — разные люди.

Разными делали иноков их обязанности. Монах, ведавший библиотекой, не похож на того, кто распоряжается приготовлением крепкой настойки на сорока горных травах. Собирать их полагалось в тот день и тот рассветный час, когда в них начинается движение соков. При изготовлении настойки учитывалось положение небесных светил. Почтенный инок, занимавшийся этим делом, был немного алхимиком, немного астрологом, но сие не считалось греховным. Все свои действия брат-дистиллятор сопровождал молитвами. На бутылках было изображение святого покровителя обители, на сургуче, которым заливалась пробка, выдавливалась монастырская печать. Чего

больше! У бенедиктинцев свои настойки, у картезианцев — свои. Почему и доминиканцам не иметь своих?

Совершалось сие в отдельном домике в саду. Томмазо влекла туда его любознательность. Хотелось поглядеть на небесный календарь, с которым сверяется приготовитель настойки. На календаре обозначено положение светил в их небесных домах и в соответствии со знаками Зодиака. Хотелось спросить, почему одни травы набирают целебную силу в полнолуние, а другие, напротив, когда небо безлунно?

Ему было о чем расспросить и брата-пасечника. Загадка пчел издавна занимала Томмазо. Признать, что у них есть разум, подобный человеческому, грешно. Не признав, как объяснить столь разумное устройство их жизни? Людям есть чему у них поучиться!

Вопросы обступают его со всех сторон. И чудо улья, и чудо ночного неба, и отпечаток то ли листа, то ли животного на гладкой гальке, и сверкание молнии, и грохотание громов — все порождает у него поток мыслей. Заставляет сочинять стихи. С тех пор как у него своя келья и есть время, когда он предоставлен самому себе — оно предназначено для молитв и размышлений, Томмазо может писать стихи. Не писать — записывать. Потому что стихи приходят ему в голову неожиданно. Во время прогулок по монастырскому саду. Во время долгого стояния на молитве (великий грех!). Вечером, когда он засыпает. Иногда во сне. Вначале начинают звучать слова, странно связанные некоей музыкой. Обрывочные, неясные, они влекут за собой другие, подчиняя их той же музыке. Он уже знал — она зовется ритмом и следует правилам, о которых можно прочитать в книгах. Но он еще не ведал этих правил, а ритм уже пел в нем. В конце строки вспыхивала рифма, сплавляя эту строку с другой. Хотелось повторять строки на разные лады, менять местами, переделывать, дополнять новыми или вовсе придумывать другие. Он записывал стихотворение только тогда, когда оно целиком складывалось в нем. Где? В сердце, в уме, в душе? Он не знал, где обитает в человеке поэзия. Но он уже чувствовал, что не может жить без нее. Стихи, еще не занесенные на бумагу, покорны, как незатвердевшая, необожженная глина. Их можно все время лепить по-новому.

Когда Томмазо с отрешенным видом беззвучно шевелил губами, братия думала — молится. Он же сочинял стихи. По-итальянски и по-латыни. Различие и сходство двух языков было тоже одной из тайн, которые влекли и мучили его. Способность мысли выражаться на двух языках, оставаясь той же, но обретать разную окраску, волновала его воображение. Но и итальянский не

един. И калабрийцы, и флорентийцы, и генуэзцы — все считаются итальянцами, и язык у них — итальянский. А как по-разному говорят!

Стихов своих он никому не показывал и не читал. Да и кому? Впрочем, даже своему первому наставнику Томмазо не смог бы прочитать всего написанного. Есть у молодого инока такие стихи, которые он записывает нарочно самым неразборчивым почерком и сокращая слова. В стихах этих — тоска по любви, по женской ласке. В них гудит и звенит кровь, в них неровно, тяжело, глухо бьется сердце. Греховные стихи, Томмазо знает это, но не может не писать их, как не может победить своего любовного томления. Его влекут все тайны мира, среди них и тайна любви.

Глава X

С тех пор как он принял постриг, многое изменилось в его жизни. Уже не нужно высиживать на занятиях в монастырской школе, где ему давно нечему учиться. Обязательные службы полагалось отстоять, на общих трапезах присутствовать, но остальное время он проводил в своей келье или в тенистом саду. И это благо. Он открыл для себя книгу, которая надолго заняла все его мысли. Ее, поколебавшись, дал ему монастырский библиотекарь. Она называлась «Божественная комедия» и содержала огромную поэму, сочиненную два века назад неким Данте Алигьери.

Библиотекарь пояснил, что «Божественной» назвали поэму восхищенные потомки. Конечно, грешно создание человеческого ума называть божественным, но не озари ум и душу Данте свет божественной мудрости, он не смог бы написать своей поэмы.

— Ради всех святых, обращайся с книгой бережно, — закончил библиотекарь. — Не закапай страниц ни маслом из светильника, ни свежим воском. Не клади книгу на траву, чтобы не зазеленить страниц. Не загибай углов. Не пиши на полях. Я не дорожу непрошеными маргиналиями![2]

Томмазо долго не мог вчитаться. Строки показались ему чересчур размеренными, слог тяжеловесным, смысл темным.

Прошло несколько дней. Ранним вечером между двумя утомительными службами он вышел в сад. Было душно. На небе собирались тяжелые облака. Над землей тревожно носились ласточки. Все предвещало грозу. Сердце билось с перебоями. Он наудачу раскрыл том Данте. И прочитал:

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой зодчий вдохновлен:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворен.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья.

У него от волнения пересохло во рту. Руки стали ледяными. Слепец! Как мог он так постыдно заблуждаться! Какие стихи! Сердце теснил восторг. Но порой его охватывал жар стыда — он

не понимал смысла некоторых строк.

Италии он будет верный щит,
Той, для которой умерла Камилла,
И Эвриал, и Турн, и Нис убит.
Свой бег волчица где бы ни стремила,
Ее, нагнав, он заточит в Аду,
Откуда зависть хищницу взманила.

Господи, сколь жалки его познания, если он не может понять того, что написал поэт, живший за двести лет до него! Он вчитывался в строки, надеясь, что они откроют ему свой смысл, и часто запоминал их наизусть прежде, там понимал. Терцины Данте звучали в нем, и собственные мысли обретали облик терцин.

Надолго все остальные книги были оттеснены этой. Он не разлучался с ней, как другие монахи с бревиариями[3]. В книге Данте было все: горькая история родины, терзаемой усобицами, судьбы ее сыновей — великих и несчастных, осуждение ее врагов, сокровенные тайны бытия. Грозные предостережения о каре за земную грешную любовь и пронзительная жалость к бедным влюбленным. Вся жизнь человеческая, вся мудрость небесная! Читая Данте, Томмазо чувствовал себя то беспредельно счастливым, то слабым и ничтожным. Ему еще было далеко до половины земного срока, о котором писал Данте, но его поэма поселила в душе Томмазо нетерпение и тревогу. Ему стало тесно в стенах обители Плаканики.

Томмазо вымолил разрешение перейти в монастырь дель'Анунциата в Сан-Джорджо. Там библиотека богаче и монахи более сведущи в науках богословских и философских. Настоятель колебался: он видел — брат Томмазо скоро станет знаменитостью его монастыря. Кто хочет купить целебную настойку, спешит к брату, творящему чудеса в своих перегонных кубах, бочонках и бутылях, кто хочет просветить свой ум беседой о книгах, обращается к брату-библиотекарю. Есть исповедники, к которым кающиеся идут особенно охотно. А к брату Томмазо скоро можно будет послать того, кто нуждается не в бесхитростных словах увещевания, а жаждет спасительной беседы, чтобы в ней содержались ссылки на отцов церкви, на решения вселенских соборов, опровержения еретических лжеучений. Настоятель понимал — недалек день, когда он сможет поручить брату Томмазо проповедь, и она будет отличаться от тех, что звучат здесь обычно. Соблазнительно! Но всего соблазнительного следует избегать. Для его скромной обители в Томмазо всего

слишком много — ума, огня, таланта. И все слишком горячо и ярко. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, — подумал настоятель словами евангельского поучения, — иначе молодое вино прорвет мехи».

И получил Томмазо от настоятеля placet — соизволение перейти в другую обитель.

Глава XI

Дорога ошеломила Томмазо. Он любил ходить подолгу и быстро. Прекрасно, когда перед глазами открытый простор — взгорки, холмы, рощи, ручьи. И люди, люди, люди! За долгие месяцы в обители не видел он столько лиц, сколько за один день в пути. Ручьи пели, рощи смеялись, но невеселыми были лица встречных.

Когда он мальчиком совершал паломничество с наставником, он глядел на все глазами учителя. Он не замечал того, что теперь ранило его душу: земля щедра и богата, а люди, живущие на ней, те, что возделывают сады, окапывают виноградники, пасут стада, бедны. Ужасно бедны. Оборвана их одежда, скудна еда, рано старятся их женщины. Почему?

Справедливо ли это? Столь краток срок земной жизни, отпущенной людям. Почему же они должны так маяться? Почему? Крестьяне, которые годились ему в отцы, почтительно снимали шляпы, низко кланялись, подходили под его благословение, целовали ему руку, называли «святой отец». Он знал, иначе и быть не может, и все-таки испытывал смущение. Носить бы ему крестьянскую куртку, трудиться бы на земле от зари до зари. Может, это и есть счастье? Но дала бы такая жизнь ответы на вопросы, которыми томится душа?

В селении, куда он пришел, постоялого двора не было. Приют ему дали в крестьянской хижине. Хозяйка вынесла ломоть ноздреватого серого хлеба, несколько стручков сладкого перца, кусок овечьего сыра, хозяин принес из погреба глиняную флягу вина: налитое в стакан, оно казалось черным и на вкус было смолистым. Как непохожа эта скромная трапеза в деревенском дворе, где пахнет землей и только что привезенным со скошенного луга сеном, на обед в сумрачной монастырской трапезной под непрерывное чтение житий, где и от слов и от еды одинаково пахнет ладаном.

Поев, Томмазо уснул под тенистой шелковицей. Внезапно его разбудили. Темнело. Вокруг него толпились встревоженные люди, о чем-то просили его. Умирает женщина! Порезала на покосе руку, рука воспалилась. Все, что делали сведущие в лечении старухи, не помогло, и сейчас она, по верным приметам, кончается. Священник отправился вчера в город, скоро его не ждут. Женщина умоляет, чтобы ее исповедали и причастили.

Отказаться невозможно. С тяжелым сердцем пошел Томмазо за провожатым. Нищей оказалась хижина, тяжелым воздух, ужасным ложе, на котором лежала умирающая. Его оставили

наедине с ней. Тяжкая работа иссушила женщину. Сколько ей лет, понять было невозможно. Малодушная мысль мелькнула у Томмазо. Обойтись бы глухой исповедью! Она разрешена, когда покидающий этот мир не может говорить. Но женщина была в сознании и нетерпеливо жаждала рассказать все о своих грехах. Томмазо произнес простые слова утешения, сожалея, что не находит более сильных.

Женщина жадно внимала им. И вот — исповедь. Как ничтожны ее грехи и как горько она в них каялась! Скорбела, что долго не была на исповеди, — хворал муж, потом, заразившись от него, один за другим — дети, порча напала на виноградник, и она не успела в срок пойти в церковь. Она вспоминала, как случалось ей нарушить пост: была беременна, не смогла побороть искушения — захотелось ей в пятницу мясной похлебки, оставшейся от четверга. Случалось ей и побожиться, и позавидовать соседке, и поссориться с ней. И в церкви, вместо того чтобы слушать проповедь, вздремнуть.

Томмазо, жалея бедную, темную жизнь, в которой было так мало света и радости, отпустил умирающей ее грехи и помолился с ней. Она повторяла за ним: In hora mortis meae voce me. Jube me venire ad Te! — слова, смысла которых: «В смертный час призови меня. Прикажи мне прийти к тебе!» — не понимала. Томмазо сказал ей все, что мог, о бесконечном милосердии божьем. Святых даров у него не было, их принесут из церкви, если священник вернется раньше, чем она умрет. Теперь можно уйти, но он стоял, не решался покинуть умирающую: бесконечная жалость томила его душу. Он вышел, когда соседка сказала: «Отходит!» Другие, громко переговариваясь, готовили смертное одеяние. Муж умирающей благодарил Томмазо, хотел заплатить ему, Томмазо отдернул руку, будто монеты были раскаленными.

Уснуть он не смог и, хотя час был поздним, отправился дальше. Белая от каменной пыли дорога хорошо была видна в темноте. Он знал все, что сказано в Евангелии о бедных и сирых, которые непременно войдут в царствие небесное. Женщина, грехи которой он отпустил, должна спастись! Разве может быть жизнь беднее, скуднее, проще, горше, чем та, которую прожила она, надрываясь в работе, недоедая, страдая, когда рожала детей, страшась, когда они болели, оплакивая их, когда они умирали? Случалось ли ей улыбнуться? Разве что в молодости, которая пролетела так быстро, что она и вспомнить ее не может. Неужели для такой жизни была рождена она? Неужто заслужила муки антонова огня, тревогу о жалком доме, о семье, которых оставляет без хозяйки? И вечную муку, если бы не успела исповедоваться? Томмазо понимал — его мысли грешны, но не

мог остановить их. Неужели это и есть божественная справедливость? Почему? Он шагал, погруженный в невеселые размышления. Дорога была пустынной. Кто в этот час отправится в путь? С одной стороны тянулись тихо шелестящие оливковые рощи, с другой — черными свечами поднимались к небу кипарисы. Вдали между ними угадывался темный лес. Было так тихо, что он слышал собственное дыхание.

И вдруг вдалеке кто-то завопил, завыл, захохотал. Он вздрогнул и крепче сжал в руке тяжелый посох: никогда прежде не слышал он вопля ужаснее, хохота отвратительнее. Томмазо осенил себя крестным знамением и торопливо проговорил слова молитвы. Но воющий хохот не замолк. Значит, это не нечистый, а живое существо. Над кем оно хохочет? Почему воет? Ночная дорога сразу показалась зловещей. Но не возвращаться же назад, где сейчас уже, верно, распрощалась с жизнью та, которую он так неумело напутствовал. Вперед! Мрачна безлюдная дорога, вязнут сандалии в пыли, и неизвестно еще, долго ли ему шагать. Но вперед, вперед, вперед. Ни в милое его сердцу Стиньяно, ни в тихую Плаканику нет для него возврата…

Глава XII

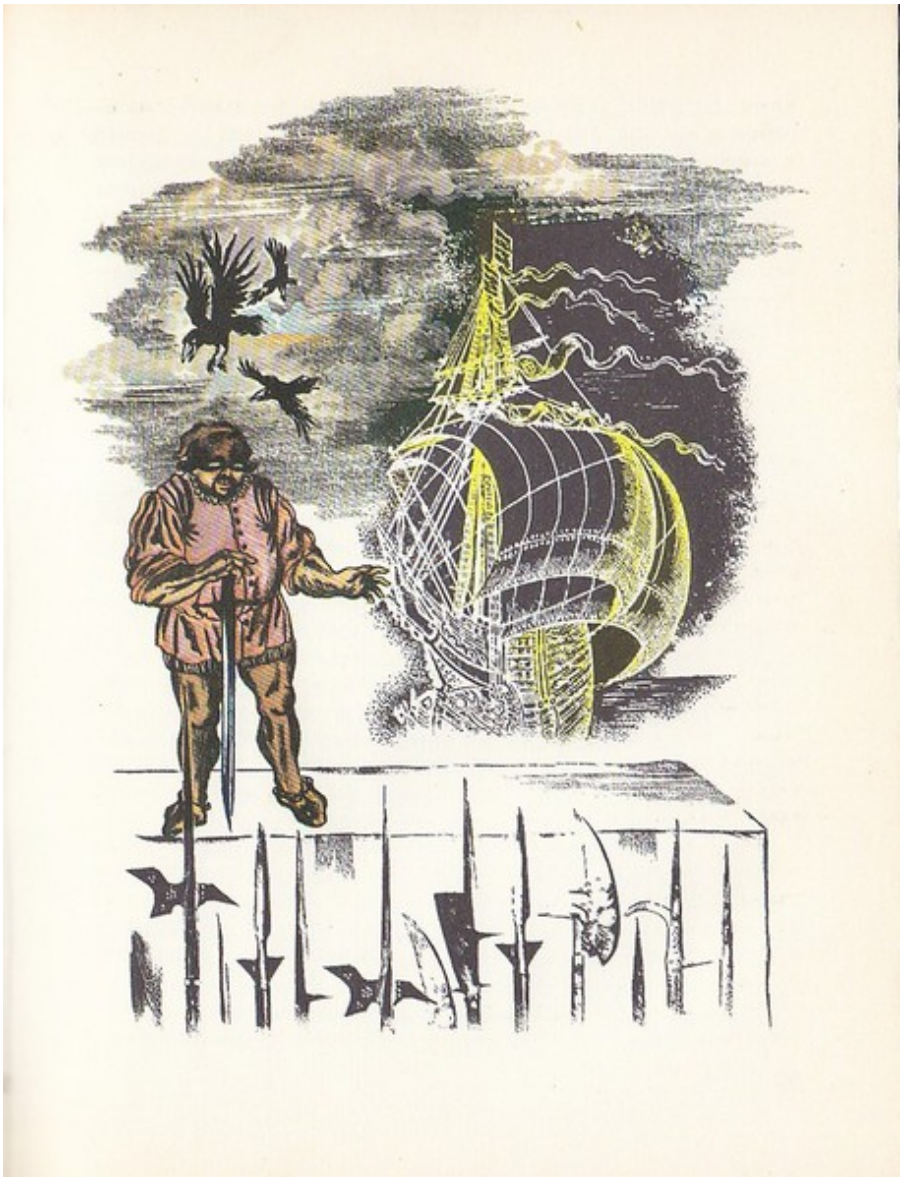
Первый же день в новой обители принес Томмазо немалое удивление. Здесь о нем, оказывается, хорошо знали. Настоятель, строгий и важный, беседуя с Томмазо, дал ему понять, что для него не тайна ни таланты молодого монаха, ни его склонность к умствованию.

— Почаще вспоминай, сын мой, что божественный доктор Фома Аквинат называл чрезмерную любознательность смертным грехом. Даже твои мелкие провинности здесь уже известны, — сказал он. Томмазо едва не спросил: «Откуда?», но проглотил напрасный вопрос. Настоятель сообщил, что переход Томмазо в новую обитель милостиво соблаговолил разрешить провинциал[4] ордена. Так молодой доминиканец впервые узнал: каждый его шаг на жизненном пути отныне совершается им не по собственному желанию. Начальствующие определяют, чему быть. И каждый его и обдуманный, и необдуманный поступок, и особенно проступок оставляет следы в канцеляриях ордена.

Поначалу к нему присматривались и он присматривался к окружающему. Здесь все было больше и просторнее, сама обитель, ее сады и дворы, рефекторий, кельи. Богаче было убранство церкви. Тонкими и восхитительными красками искусной рукой были изображены на средней части алтаря Благовещенье, а на боковых — святые Доминик и Иероним. В толпе людей, изображенных на алтаре, стояло на коленях семейство в богатых одеяниях — донаторы, которые принесли монастырю в дар этот алтарь. Позы их были смиренны, но лица полны надменности. В церкви было несколько исповедален с искусной резьбой по темному дереву. Фигуры Мадонны и святых, изваянные из мрамора, освещались огромными свечами и были украшены дарами молящихся — ожерельями, цепочками, шалями. Бедняки вешали фигурки из воска, богатые — из серебра и золота. Знает ли небо, что на земле золото дорого, а воск дешев? Томмазо испугался. Мысль эта кощунственна. Благоухали подле алтаря, увядая, розы, гвоздики, лилии. На аналоях лежали рукописные изукрашенные требники тонкого письма. Золотыми и серебряными были чаши и дарохранительницы, из тончайшего полотна — антиминсы[5]. Ризы, разноцветные — по дням недели, были изукрашены прекрасным шитьем, воскресная — из парчи и с золотой вышивкой. Могучими были басы и баритоны колоколов обители, слышные на всю округу. Знаменит был сладкогласный хор обители. Томмазо подивился всему, всем полюбовался, всем восхитился. Но больше всего его влекла библиотека.

Он уже обрел опыт. Этого желания нельзя проявлять. Не следует сразу показывать, сколь велика его тяга к книгам. Он решился пойти в библиотеку лишь через несколько дней. Библиотека его ошеломила и осчастливила. Здесь было несколько сот томов! Может быть, тысяча! Богатство невиданное…

Сам вид книг, шероховатость или гладкость бумаги, узор букв, то, как ощущался переплет, если медленно провести по нему рукой, запах бумаги — все волновало Томмазо. Он знал, такая великая любовь к книгам — грех, но ничего с собой не мог поделать. И когда он остался в библиотеке один и никто ему не мешал перелистывать книги, радость его стала безмерной.



Тут стояли сочинения всех отцов церкви, «Проповеди» святого Василия, «Письма» святого Иеронима, сочинения святого Иоанна Златоуста и блаженного Августина. «Сумма философии» Фомы Аквинского, сочинения по гомилетике и каноническому праву. Платон и Аристотель в переводах на латинский язык. Сочинения на греческом. По-гречески Томмазо читать еще не умел, отложил эти книги со вздохом сожаления. Вергилий, Цицерон, Тит Ливий, Тацит, Эпиктет, Сенека вызвали у него желание немедленно погрузиться в чтение. Он только не решил, с чего начнет. Сердце билось от стремления прочесть все. Имя

Боэция и название его книги «Утешение философское» он увидел впервые. Это нужно прочитать непременно! А вот и сочинения Кассиодора. О нем он слышал от библиотекаря в Плаканике. Тот восхищался Кассиодором как великим ученым и знаменитым собирателем книг. А вот книга «Сокровище» Брунетто Латини, которого так чтил Данте.

Братия дивилась на нового инока. Даже среди них, много часов соблюдавших молчание, он казался молчаливым. Странно видеть в столь молодом человеке такую погруженность в себя. А Томмазо читал, читал все время, которое оставалось от обязательных молитв, а когда не читал, тогда обдумывал прочитанное. Искал ответа на свои «почему?». Почему так устроен мир? И почему столь несчастливы многие его обитатели? Читал в келье. Читал в саду. Читал в библиотеке. И все чаще убеждался: на один и тот же вопрос книги дают много ответов. И они разные: истина манит, мгновениями кажется, она *готова* открыться, но снова, мелькнув перед глазами, она ускользает. И тогда ему слышится тот насмешливый хохот, который поразил его в ночи. Он читал богословские и философские сочинения, перечитывал Данте, которого уже десятками страниц знал на память. Он открыл для себя римских поэтов. Их латынь была непохожа на ту, которую он учил с детства. Не сразу смог он читать Вергилия, труден ему был поначалу Гораций, но постепенно он привык к этой латыни.

Необычное событие привлекло внимание к молодому монаху. В Сан-Джорджо приехал знатный барон Джиакомо II Милано, чтобы вступить во владение своим феодом. По сему случаю состоялись большие празднества. Монастырь принимал в них участие. Брат Томмазо прочитал перед собравшимися гекзаметры собственного сочинения, сложенные в честь нового господина Сан-Джорджо. Барон был приятно поражен поэтическим искусством и проникновенным голосом молодого инока. Жена барона, урожденная дель Туфо, принадлежавшая к знатной неаполитанской семье, пригласила Томмазо при случае навестить ее родных в Неаполе. Маркантонио дель Туфо, ее брат, недавно рукоположенный в Милето епископом, прибывший в Сан-Джорджо по случаю семейного торжества, тоже весьма милостиво обошелся с Томмазо.

Вернувшись с праздника в обитель, Томмазо почувствовал: его успех не прошел бесследно. Одни стали с ним приветливее, другие поздравляли, но как-то кисло, третьи, не обинуясь, поносили как выскочку.

На празднике Томмазо познакомился с местным врачом Соправия. Тот пригласил его в гости. Надо было найти предлог,

который не вызовет подозрений в обители. Соправия нашел его: пригласил Томмазо для душеспасительных бесед с больными, которых успешно пользовал у себя дома. У него собирались молодые люди — веселые, шумные, любознательные. Соправия не то беседовал с ними, не то читал им лекции — о своей науке, о великих медиках прошлого — о греках Алкмеоне Кротонском и Гиппократе, о пергамском враче Галене, об александрийце Эразистрате. Воздав им заслуженную хвалу, он однажды пылко сказал, что их суждения не во всем справедливы. Прекрасно, что мы их так чтим и помним. Ужасно, что мы их так чтим!

— Почему? — задал Томмазо свой постоянный вопрос.

— Потому, что новые времена рождают новый опыт, а новый опыт — новых врачевателей. Кто из вас слышал имя Везалия? Никто! А ведь он то, чем были Гален и Гиппократ, только для нашего времени.

Соправия рассказал, как Везалий, который умер лет двадцать назад, осмелился рассекать трупы умерших, чтобы узнать строение человеческого тела и тем помочь живым.

Слушатели содрогнулись. Рассечение мертвых тел казалось им кощунством.

— Рассекая трупы, он увидел, что тела человеческие устроены отнюдь не так, как полагал Гален, — продолжал Соправия. — И открытие едва не стоило ему жизни.

— Почему? — снова воскликнул Томмазо.

Соправия горько усмехнулся и загадочно сказал:

— Вы что, забыли, где и когда живете?! Все однажды утвержденное высечено, как надписи на камне памятника, но под этим памятником погребено не только давнее, умершее, но и то, что могло и должно бы жить.

Томмазо еще не привык к этому монастырю, как его внезапно перевели в обитель дель'Анунциата в Никастро. Там подвизался знаменитый богослов отец Антонио, знаток всего написанного Фомой Аквинским и Аристотелем. Орденское начальство сочло за благо, чтобы Томмазо, выказавший столь великие способности в науках, продолжил свое образование под водительством отца Антонио. Настоятелю же обители в Никастро было доверительно сообщено, что инок Томмазо, находясь в Сан-Джорджо, не удовлетворился изучением богословия и метафизики, как подобает будущему ученому, принявшему монашеский сан, но спознался с неким живущим в том городе медиком Соправия, каковой, собрав слушателей, преимущественно молодых, читает им лекции о языческой философии Левкиппа и Демокрита, о кощунственных опытах Везалия и осмеливается нападать на Аристотеля и Галена. Вот истинная причина спешного перевода

брата Томмазо в Никастро. Об этом он сам не знал и знать не должен был, просто в новый монастырь была прислана с гонцом бумага, в которой убористым почерком был запечатлен каждый шаг брата Томмазо.

На прощание Соправия сказал своему молодому другу:

— у Гиппократа есть такие слова: «Искусство долго, жизнь коротка». А дальше так: «Суждение затруднительно, опыт опасен». Запомни их.

Вопросы, которые Томмазо задавал отцу Антонио, ставили того в тупик. Сокрушаясь, он восклицал: «Ты плохо кончишь, брат Томмазо!»

Томмазо привыкал к новой обители трудно. Несколько молодых монахов явственно хотели сблизиться с Томмазо, но испугали его своим фанатизмом. Они упоенно рассуждали о пустынниках и отшельниках былых времен, безжалостно усмирявших свою плоть и обретавших за то способность творить чудеса. Ссылались на старинные сочинения о праведниках, ходивших нагими, чтобы их жалили насекомые, о других, спавших на голой земле, о тех, кто никогда не мыл тела, и о тех, кто по обету никогда не стриг волос. Славили стационариев, которые не ложились и не садились, а стояли, подняв руки, так что те постепенно отмирали, подобно ветвям сухого дерева. Воспламеняясь, повествовали о столпниках, живших на столбах, о дендритах, живших на деревьях, о пожизненных молчальниках, о приковывавших себя короткой цепью к столбу или камню. Глаза их горели, речь, вначале восторженная, становилась задыхающейся и сбивчивой, а вопросы Томмазо — «А зачем? Зачем это? Почему господу угодно грязное, вонючее тело или уподобление человека цепному псу?» — приводили в ярость поклонников такой аскезы. Томмазо нажил себе врагов. А ему так нужен друг!

Другие монахи поразили его тем, как поклонялись мадонне. Они, соревнуясь друг с другом, называли ее заступницей людей перед богом, распределительницей престолов, девой, одерживающей победы над ересями прошлого и настоящего, лилией церкви, проводницей в священные врата благодати, непреклонным врагом сатаны, могучей победительницей змея, небесным садом, сладостным прибежищем человеков, царицей небесной, увенчанной двенадцатью звездами, присноблаженной, прославляемой всеми девятью чинами ангелов, матерью мудрого избрания, сокровищем господа, запечатленным источником святого духа. Каждый из них кроме предписанных поклонов отбивал еще сотни поклонов деве Марии. Они знали множество молитв, обращенных к мадонне: «Радуйся, звезда над морем»,

«Здравствуй, царица», «О преславная владычица» и восторженно толковали о созданных вначале в Германии, потом в Италии «братствах роз» для поклонения Марии.

Их речи удивляли и пугали Томмазо чрезмерностью. Было в этой исступленности нечто греховное. Почему именно мадонну выбрали они для такого поклонения? Он не решался признаться даже себе, что история Марии вызывает у него страшное сомнение. Его учили: непорочное зачатие — это тайна, постичь ее умом нельзя. Но ум требует ответа: «Неужели это возможно!»

Одно сомнение влекло за собой другое. Он стал плохо спать. Голова горела от напряженных мыслей. Душу томила невозможность выговориться. Не с кем поделиться сомнениями, не на кого опереться. Молитвы не приносят облегчения. Ему нужен друг!

Глава XIII

Томмазо прогуливался по саду. К нему подошел незнакомый инок, облик которого заставил вспомнить изречение: «клобук не делает монахом». Крупные четки в его руках казались горошинами. Под монашеским облачением угадывалось могучее тело. Мускулисты его обнаженные ноги в огромных сандалиях. Широк и крут высокий лоб. Резки черты лица. Стремителен размашистый шаг и громок голос, который он не мог смирить, как не мог сделать более плавной и медлительной походку. Томмазо показалось, что он однажды видел его. Где? Когда?

Опуская подобающие в таком случае благочестивые формулы знакомства, тот представился — «Дионисий!» и, не добавляя «смиренный брат», спросил: «Кто ты? Откуда?» Едва Томмазо ответил, Дионисий перебил его: «Наслышан!» и закончил стремительное знакомство словами: «Будем друзьями! Но будь осторожнее! В монастырях стены имеют уши, а деревья глаза».

Они подружились. Дионисия, так же как Томмазо, не влекли рассказы об аскетах, исступленные молитвы, возносимые деве Марии. Однако споров он избегал. Отмахивался от фанатичных, как от мух, огромной ладонью, уходил. Однажды Дионисий изумил Томмазо странными речами:

— Я так же мало верю в черное, как и в голубое, — сказал он, не объясняя, что имеет в виду под черным и голубым, — но я верю в доброе вино, в каплуна, вареного и жареного. Но прежде всего я верю в доброе вино и в то, что тот, кто верует в него, спасется! Так говорит великан Морганте в поэме Пульчи «Морганте Маджори». Нравится?

Томмазо, ошеломленный языческими словами, промолчал.

Но Дионисия занимали не только яства и питие. Его терзал иной голод. Он жаждал знать, что происходит вокруг, жадно расспрашивал паломников, крестьян, привозивших в монастырь припасы, купцов, приезжавших на ярмарки. Он интересовался тем, что слышно о турецких пиратах на побережье, кто займет престол в каком-нибудь княжестве, потерявшем правителя, помнил наизусть, кто каким из множества итальянских княжеств правил. Однажды ему в руки попала газета, выходившая в Риме, он не расставался с ней, пока не затвердил все то, что в ней было написано. Дионисия волновала наука о государстве — политика. Весть, что папа ведет тайные переговоры с Венецианской республикой, слухи о посольстве, появившемся при дворе испанского вице-короля в Неаполе, занимали его бесконечно, сообщение, что в Калабрию назначен новый прокурор, на

несколько дней лишало его покоя и — невероятно! — даже могучего аппетита.

Томмазо дивился тому, что занимает друга. Ему казалось сие суетой. Тот возразил:

— О небесном царстве есть кому похлопотать. Меня же заботят царства земные. — И он проникновенно произнес: — «Достигшая мира и спокойствия, возделанная вся от плодородной равнины до скудных гористых земель, не подчиняющаяся никакой другой власти, кроме своей собственной, Италия была самой изобильнейшей не только своим населением, своей торговлей, своими богатствами, но и славилась великолепием своих властителей, блеском своих многочисленных благороднейших городов, которые прославлены людьми, искусными в управлении общественными делами, умами, сведущими во всех науках, людьми, искусными и изобретательными во многих ремеслах и по обычаю времени не лишенными и военной славы, украшены великими учеными так, что по заслугам и справедливости страна наша пользовалась уважением, известностью и славой».

Дионисий прочитал эти слова торжественно, наслаждаясь. Помолчал, давая собеседнику проникнуться красотой этого гордого восхваления родины.

— Чьи это слова? — спросил Томмазо. Они поразили его воображение.

— Это написал некий ученый по имени Франческо Гвиччардини лет пятьдесят назад, — ответил Дионисий. — Почему же наша страна, о которой сие сказано, пришла с тех пор в такой упадок? Почему в Калабрии, да не только в Калабрии, хозяйничают испанцы? Почему, сильнейшие, мы стали слабейшими? Почему? Только не говори мне: по божьему соизволению! Люди принесли нашей стране славу, они же ее расточили…

Продолжить разговор не удалось. Дионисий оборвал себя на полуслове, тихо сказав, словно продолжая речь, которую вел только что: — Ты прав, брат Томмазо, смиренномудрие превыше всего!

Что с ним?

Мимо них беззвучной тенью скользнул инок, лицо которого отличалось одной особенностью: его невозможно было запомнить. Черты его были как на стертой от времени монете. Когда он удалился, Дионисий, глядя ему вслед, выговорил с ненавистью:

— «Лев рыкающий, искет, кого поглотити!» — И сам рассмеялся: — У страха глаза велики! Какой он лев? Обыкновенная ползучая гадина.

Гулко и тяжко ударил большой колокол. Надо облачаться в ризы и стихари и спешить, притом не ускоряя шагов, на богослужение.

Однако разговор об участи родной страны, однажды начавшийся, более не обрывался. Медленно прогуливаясь по монастырскому саду, где дивно цвели бархатные анютины глазки, нежно-розовые и золотистые бальзамины, недолговечные маки, благоухающие фиалки и вербены, новые знакомцы тихо беседовали. Головы их были склонены, руки перебирали зерна четок. Издали могло показаться, что беседуют они о назидательном и богоугодном.

Однако речь шла об ином. Дионисий рассказывал, как вступил на престол папа Сикст V. Покуда он был кардиналом, он пятнадцать лет кряду выглядел слабым, немощным, хворым, ходил, опираясь на посох, говорил еле слышным голосом. Когда надо было выбирать папу на место умершего, кардиналы выбрали его, надеясь, что он будет податливым воском в их руках. Но, едва выбранный, Сикст V запел хвалебный псалом господу таким могучим голосом, что кардиналы побелели от страха. И он, отбросив свою мнимую немощь, стал править железной рукой.

Томмазо показалось, Дионисий восхищается хитростью папы, как восхищаются простодушные люди тем, что им не дано. Томмазо ужаснул способ, каким Сикст V взошел на святой престол. Папа — наместник бога на земле! Страшно подумать, что наместником бога может стать лицемер!

Дионисий возразил, что Сикст V сделал это ради благой цели: став папой, укрепил папский престол, искоренил в Риме и округе бандитов, от которых не было житья, заставил считаться с собой государей, сократил расходы.

Но все это дела мирские! Разве о таких помышляли, разве о таких учили апостолы?

— Когда страна в беде, все средства хороши, — упрямо возразил Дионисий.

— В чем беда?

— Если на твоей земле хозяйничают чужаки, это не беда? Если берег твоей страны грабят пираты, это не беда? Если в святой церкви всем заправляют симониты — святокупцы, за деньги делающие грешников священниками, это не беда? Если в судах все в руках взяточников, это не беда? Если крестьяне честным трудом не могут прокормить семью и предпочитают бежать в горы, жить там в пещерах, подобно диким зверям, только бы вырваться из рук тех, кто их грабит, разве это не беда? Или ты не слышал о них, о фуорушити? Их поносят, называя разбойниками, но настоящие разбойники живут не в пещерах, а

во дворцах!

— Сколь пламенная проповедь! — воскликнул Томмазо, скрывая свое смущение. Да, он знает обо всем этом, но никогда еще не ставил всего рядом — лихоимства, симонии, беззакония, нищеты крестьян. Теперь у него появятся новые «почему».

Глава XIV

В доминиканской обители, что в уютной зеленой Козенце, которая поддерживала отношения с обителью в Никастро, был назначен диспут. Диспуты были в таком же почете, как турниры, и, случалось, собирали зрителей не меньше. Тема — богословские и философские тонкости. Участие в таком споре требовало начитанности, памяти, внимания. Нужно было отменно знать тексты, на которые будет опираться оппонент, предусмотреть возможные неожиданности, запоминать на слух его аргументы, ловить его на противоречиях и не попадаться самому в ловушку. Нужен хорошо поставленный голос, звучащий недоумением, гневом, увещеванием. Осторожность нужна, чтобы не произнести ничего еретического, а то противник или кто-нибудь из его сторонников напишет донос. За милую душу! Невелика радость вести спор на кафедре, а расплачиваться за него в камере. А ведь такое и случалось и случается!

Такие диспуты в большом почете. Как рыцарские турниры у знатных и петушиные бои у крестьян. Богословов приучали к ним смолоду, как рыцарей к ристалищам.

Диспут в Козенце готовился особенно торжественно. Городок, что лежит у подножия лесистых гор, на берегу узкой речки, заполнили гости, приехавшие на диспут. Состязаться должны францисканцы и доминиканцы. Ордена эти издавна соперничали. Францисканец, который должен участвовать в диспуте, славился ученостью и искусностью в полемике. Его оппонентом был назначен не менее ученый доминиканец. Оба противника немолоды и во всем достойны друг друга. В канун диспута доминиканец внезапно захворал. Захворал или убоялся? Этого никто не знал. Отправить гонца в Козенцу и сообщить, что один из участников диспута прибыть не может? Не поверят, сочтут пустой отговоркой, по всем монастырям распространится слух, что доминиканцы признали свое поражение. Скандал! Настоятель обители в Никастро с одобрения провинциала ордена принял решение, изумившее многих.

В час, когда церковь в Козенце, где предстояло быть диспуту, заполнилась монахами, послушниками, странствующими студентами, мирянами и седовласый францисканец занял свое место, его оппонента все еще не было. По толпе, уставшей от ожидания, прошел шум. Тут в церковь вошел никому не известный молодой доминиканец — коренастый, широкоплечий, с некрасивым лицом простолюдина и умными глазами. Он преклонил колени перед алтарем, низко поклонился капитулу и

сказал, что ему, недостойному иноку Томмазо, доверено выступить в диспуте, представляя свою обитель и свой орден. Собравшиеся вознегодовали. Достаточно поглядеть на согбенного, убеленного сединой, умудренного жизнью францисканца и на молодого пришельца, чтобы понять: его появление — оскорбительная дерзость! Однако настоятель Козенцы не удивился и не разгневался. Переждав шум, он важно сказал:

— Мы разрешаем тебе, брат Томмазо, принять участие в диспуте. Достопочтенный собрат мой, настоятель обители в Никастро, сообщил нам — ты достоин!

Вместе с Томмазо в Никастро был послан Дионисий — обитель блюла правило не отпускать в дорогу молодых доминиканцев в одиночку. Конечно, помочь ему в споре друг не мог. Дионисию было легче целый день прошагать по жаре пешком или целую ночь проговорить о политике, чем участвовать в богословском словопрении. Но знать, что среди слушающих тебя — друг, всегда отрадно. Они условились: если Томмазо излишне увлечется, Дионисий поставит молитвенник, который будет держать в руках, на ребро.

Диспут продолжался много часов. В церкви висел душный туман от ладана, дыма свечей и дыхания собравшихся. Гул недовольства, изумления или одобрения проходил по церкви. Только уважение к святости места мешало слушателям вскочить, затопать или зарукоплескать. Вначале Томмазо ощущал явственное недоброжелательство аудитории. Потом стало чувствоваться любопытство. Знатоки переглядывались, подталкивали друг друга локтями. Наконец, прозвучали возгласы одобрения. И вдруг в тот миг, когда Томмазо воспользовался особенно смелым аргументом, кто-то вскочил с места, всплеснул руками, воскликнул могучим басом: «Браво! Брависсимо!» — и тут же сел, смущенный своим неподобающим поведением. То был Дионисий, который не только не поставил на ребро молитвенник, но вовсе забыл о его существовании. Победившим был признан брат Томмазо. Францисканец не поздравил его, как было принято, а поспешно покинул церковь.

Томмазо же и Дионисий, перед тем как отправиться в свою обитель, задержались в Козенце. Дионисий хотел показать другу развалины древнеримских укреплений и рассказать об их судьбе. Но их остановил местный богач. Он во время диспута ставил на Томмазо, выиграл и теперь хотел угостить молодого диспутанта и его спутника.

— Такого жаркого из молодого козленка и такого вина — клянусь одиннадцатью тысячами девственниц! — вы не

пробовали.

Дионисий для порядка попенял козентинцу, что тот клянется, да еще в присутствии монахов. Это двойной грех, даже и при таком числе девственниц. А от угощения отказался: их ждут!

На обратном пути Дионисий все еще жил диспутом, повторял аргументы Томмазо, восхищался им, ликовал. А Томмазо чувствовал себя усталым и опустошенным. Не радовался победе.

Дионисий спросил друга, почему он мрачен.

— Не ликовать после такой победы — гневить бога!

— Ты умеешь играть в шахматы? — спросил Томмазо. Дионисий, разумеется, умел. Шахматы в Италии издавна чтут и любят. Есть игроки, что живут этим искусством.

— Партия заканчивается, — сказал Томмазо. — Один выиграл, другой проиграл. Но в самих правилах не изменилось ничего! Ни одно состязание в шахматы никогда не ответит, почему любая фигура должна погибать, чтобы защитить короля, почему король более слаб, чем ферзь, состоящий при нем, почему пешки гибнут одна за другой, почему так опасна фигура, способная наносить коварный удар из-за угла, — конь. Игра сыграна. Фигуры ссыпаны в мешок. И ни-че-го не изменилось. Те же фигуры. Та же доска. Те же правила. Вот так и наш диспут!

День, когда они возвращались с диспута, был необычным. Всюду горели костры, в которых с треском и чадом сгорало выброшенное на улицу старье, праздновали начало весны. «Фогарацца» — так назывался этот праздник.

— А в нашем споре ничего не сгорело, хотя старья предостаточно, — сумрачно сказал Томмазо и надолго замолчал.

Когда они подходили к обители, Томмазо спросил:

— Ты знаешь, кто такой Телезий?

Дионисий не знал. Почему Томмазо спрашивает об этом?

— Ты невнимательно слушал диспут! — сердито ответил Томмазо. — Тот, с кем я спорил, сказал, что мои доводы почерпнуты из трудов Телезия. А я имени такого не слышал, трудов его не читал. Так и сказал ему, хотя мало чести признаваться в незнании того, что знает твой оппонент. Он ответил мне, что я повторяю мысли Телезия. А они, между прочим, недалеки от ереси. Между прочим! Вначале намекнул, что я лгу и выдаю чужие мысли за свои. Потом сказал, что они близки к ереси. Быть доминиканцем, гонителем еретиков, и высказать на диспуте еретические мысли! Ты что, не понимаешь, что это значит?

Дионисий попробовал успокоить друга.

— Он не сказал: «еретические»! Он сказал — «недалеки от ереси»! И ты опроверг его.

— Да, конечно, — рассеянно отозвался Томмазо. — Но все-таки кто такой этот Телезий?

Они добрались в обитель вечером. В монастырской церкви шла поздняя служба. После вечерни Томмазо постучался в келью настоятеля, чтобы почтительнейше сказать, как прошел диспут, и испросить приказаний на следующие дни. Ему пришлось снова удивиться. Они задержались в Козенце совсем недолго. Только побывали на развалинах некогда грозных римских укреплений. Путь от Козенцы до Никастро проделали быстро. А между тем настоятель уже все знал о диспуте и, видимо, был доволен. Он поблагодарил Томмазо за то, что тот не посрамил обитель. Но подняться к небу можно только по ступеням смирения! Поэтому гордиться победой не подобает, а надобно благодарить того, кто дал силы и подсказал доводы.

Дионисий же в ближайшие дни на все лады расхваливал Томмазо, пересказывал его меткие ответы, толковал о том, каким бесславным было поражение францисканца. Одни радовались этому успеху. Другие впервые проявили к Томмазо внимание. А третьи взревновали к его победе и не могли того скрыть.

— За успех всегда приходится расплачиваться! — сказал Дионисий. — «Ты не холоден и не горяч, поэтому я изблюю тебя из уст своих! — рек Господь». Это о них! А ты горяч, потому и ненавистен им, — продолжил он.

Особенно злобствовал против Томмазо монах, который хотел увлечь его своими рассказами об иноках, умерщвлявших плоть. Он утверждал — такая победа над старым, знаменитым ученым не обошлась без помощи нечистого. Дионисий, услышав это, задохнулся от ярости, стиснул кулаки так, что костяшки на пальцах побелели.

— Бей меня! — радостно воскликнул говоривший о нечистой силе. — Бей меня, и я первый благословлю твои руки, наносящие мне побои. Дай мне пострадать за истину!

Чем больше и с чем большим гневом опровергал Дионисий клевету, тем прочнее она укоренялась. Разговоры о случившемся дошли до настоятеля. Он приказал Дионисию немедленно прекратить подобные споры, запретил ему вообще с кем-нибудь говорить о диспуте, потом позвал к себе Томмазо, сказал, что разговоры о помощи нечистого в споре — выдумка людей невежественных, отпустил его с миром, запретив ему, однако, две недели выходить из кельи, кроме как на общую молитву.

— Ты не еретик, как о том говорят некоторые, и не от нечистого твои аргументы, как толкуют другие, но в тебе живет гордыня. Такое наказание будет полезно всем. Горячие головы остынут.

Из наказания Томмазо действительно извлек пользу. Дионисий достал ему книгу Телезия «О природе в соответствии с ее собственными началами». В ней все, начиная с названия, поразило Томмазо. Телезий отваживался спорить с самим Аристотелем, которого церковь признала величайшим авторитетом.

…Надо знать, что великий древнегреческий ученый Аристотель был в те времена искажен переводами, сужен и урезан толкованиями. Все, что он действительно когда-то сказал, и то, что ему приписывалось, было объявлено истиной. Существовал неоспоримый довод: — Magister dixit! — «Учитель сказал!» Слово Аристотеля почти приравнивалось к слову отцов церкви. Особенно способствовал этому Фома Аквинский, стремившийся объединить догматы католической религии с догматами аристотелевой философии. «Без учения Аристотеля церковь лишилась бы важных основ своего вероучения», — говорил один из кардиналов. Аристотеля собирались канонизировать, то есть объявить святым, хоть он и язычник по рождению! Нужна была немалая смелость, чтобы выступить против учения Аристотеля, как это сделал Телезий. Его книга вышла в свет в 1565 году, а лет за тридцать до того на севере, в далеком Париже, молодой ученый Петр Рамус представил к защите диссертацию на неслыханную тему: «Все, сказанное Аристотелем, ложно!» Он понимал: не все, сказанное Аристотелем, ложно, но он знал: пока не будет поколеблено представление о незыблемости всего, изреченного Аристотелем, наука не сдвинется ни на шаг. Он, Рамус, защитил свой дерзкий тезис. И расплачивался за это всю жизнь. Опубликованную диссертацию изъяли и сожгли. Ему надолго запретили преподавание философии. Его поносили и преследовали, а на третий день после Варфоломеевской ночи убили. Убийц привели к нему оппоненты, которые не смогли победить его в научном споре.

Но решающее слово сказано! Его услышали далеко за пределами Франции. Его отзвук дошел и до Италии. Телезий в своей книге не ссылается на Рамуса, но к ходу его мыслей близок. Объяснение того, как устроен мир, учил Телезий, надо искать не в слонах, написанных на бумаге, а в самой природе. А ее следует изучать, исходя из ее собственных начал. Телезий решительно утверждал: материя неуничтожима, и она вечно пребудет. Он признавал, что мир некогда был создан богом, но говорил, что теперь он существует по собственным законам. Эти мысли потрясли Томмазо, как откровение…

Он стал дознаваться о Телезии. Ему сказали, что тот уже в

преклонных годах. Монах. Ныл профессором философии в Неаполе. Взгляды его показались властям еретическими. Опасаясь беды, Телезий покинул Неаполь и перебрался в тихую глухую Козенцу. Ту самую, где Томмазо недавно был на диспуте. Знать бы раньше, кто живет здесь! Он взмолился бы, чтобы великий козентинец взял его себе в ученики. Вокруг него есть такие. Те, кто последовали за ним из Неаполя, и те, кого привлекла его слава из других мест. Они называют свои собрания вольной философской академией. Чего бы не дал Томмазо, чтобы войти в их круг! Но ему непросто выбраться в Козенцу. Успех на диспуте усилил надзор за ним в обители, особенно когда сюда донеслись слова, сказанные о нем после его победы: «В него вселился дух Телезия».

Он не может повидаться с Телезием. Жаль. Зато у него в руках его главная книга. Подумать только, она вышла, когда Томмазо еще и на свете не было, и вот уже два десятилетия вызывает споры и навлекает на себя хулу.

Вчитываясь в труды Телезия, Томмазо не только восхищался, он видел: ученому мешает страх. Телезий то и дело смягчал собственные выводы, вставлял оговорки, каялся в собственной смелости, обещал, что сам осудит вслух свои взгляды, если того потребует церковь. Почему?

Книги Телезия для Томмазо — свет для блуждающего во мраке. Появилась надежда, что ему откроются тайны природы: движение светил в небе и муравьев в муравейнике, тайна бабочки, которая выходит из кокона, наделенная крыльями изумительной красоты, и тайна страшных толчков, которые сотрясают почву. Томмазо ощущает умом, сердцем, всем существом: дождевая капля, и горная река, и море, и искра над костром, и молния в небе, и раскрывающийся цветок, и даже рождающийся человек — все связано неким единством. Тот, кто сумеет понять его, приблизится к сокровенным загадкам бытия. Но пройти этот путь сможет лишь тот, кто перестанет полагаться на авторитеты, а будет изучать природу.

Томмазо стал добиваться разрешения побывать в Козенце. Делал он это осторожно и почтительно. Настоятель отверг его просьбу. Первый раз спокойно, второй — жестко, в третий раз последовал не отказ, а прямой запрет и суровое наказание за строптивое упрямство.

Томмазо, как провинившемуся, две недели приказано сидеть во время трапезы на полу и есть со скамьи, на которую ему ставили еду, так чтобы все смотрели на него сверху вниз. В эти дни постыдного наказания он силился вызвать в уме образ великого Козентинца. Мгновениями казалось: он видит Телезия

перед собой, слышит его голос. Когда Томмазо отбыл наказание, он с ужасом услышал: Телезий опасно болен, дни его сочтены. Не спрашивая разрешения настоятеля, не внемля предостережениям Дионисия, Томмазо самовольно покинул обитель и поспешно отправился в Козенцу.

Глава XV

Напрасно день за днем приходил Томмазо к дому Телезия. Свидания с больным добивались ученики и поклонники, ждали, когда смогут повидать философа, чтобы выразить ему любовь и разрешить свои сомнения. Двери дома были наглухо затворены. Ставни на окнах закрыты. Был октябрьский день, когда старый философ умер. В воздухе ощущалось терпкое дыхание осени. Звучали слова о почившем в мире, уносящемся туда, где несть ни печали, ни воздыхания, заунывно пел хор, плыл над городом тягучий колокольный звон. Томмазо вглядывался в высохшее, костяное лицо того, кто лежал в гробу, смотрел на высокий лоб с впалыми висками и силился понять, о чем думал мудрец в свой смертный час и где сейчас его мятежная душа. Он положил на гроб философа, которого мысленно называл своим учителем, стихи, написанные сразу, едва он узнал о его смерти. Томмазо выбежал из церкви. Слезы душили его. Когда вернулся, листа со стихотворением не было.

Телезия опустили в могилу, и Томмазо вместе с другими бросил на крышку его гроба горсть земли. Он, не сказавший ни единого слова со старым ученым, ощутил одиночество. Потерял учителя, не услышав его наставлений. Что теперь? Куда теперь?

А теперь в свою обитель. Куда денешься! Его ждет там кара за то, что самовольно ушел в Козенцу, — постыдное покаяние, унизительный обряд, долгий пост, возможно, монастырская темница.

Обошлось! Начальствующие в обители ничего ему не сказали, словно не заметили ни его отсутствия, ни его возвращения. Но многие из братии стали его обходить, а если, он заговаривал с ними первым, пугливо озирались и спешили закончить беседу. Когда Томмазо пришел в себя, он, затворившись в келье, написал еще одну элегию на смерть великого Козентинца. Прочувствованными словами оплакивал Томмазо потерю, которую понесли все, кто надеялся, что новые труды Телезия раскроют сокровенные тайны природы.

Они прогуливались по монастырскому саду с Дионисием. Дионисий радовался, что друг вернулся и что отлучка обошлась благополучно. Томмазо прочитал ему элегию. Стихи Дионисию понравились. Но он встревожился.

— Как ты назвал в элегии Аристотеля? — спросил он, понизив голос до шепота.

— Тираном духа! — гордо ответил поэт.

Дионисий потребовал:

— Немедленно, сейчас же уничтожь этот текст.

Томмазо пообещал это сделать. Но не успел.

Когда он вернулся в келью, он почувствовал: в ней что-то переменилось. Книги лежали не в том порядке, в каком он их оставил. Сундук с его скромными пожитками чуть сдвинут с обычного места, на пыльной крышке остались следы чужих рук. Келью обыскивали! Отвратительно! Нужно немедля проверить, верны ли опасения Дионисия. Славу богу! Лист пергамента с элегией на смерть Телезия на месте. Но на нем появилась клякса, которой прежде там не было. Ее, видно, посадил по неосторожности тот, кто торопливо списывал текст.

Мерзко. Надо жаловаться! Кричать о беззаконии! Куда, кому? Ему казалось, что чужие руки шарят по его телу, лезут в душу. Он разорвал элегию в клочки, лист, на котором она написана, был осквернен.

Его требует настоятель. Незамедлительно!

С бьющимся сердцем Томмазо поспешил на зов и узнал, что переполнил чашу терпения своих наставников. Самовольством — отлучкой в Козенцу. Поведением в соборе на отпевании. Он осмелился плакать! Нельзя оплакивать человека, находящегося под сильным подозрением в ереси. А если он не еретик? Нельзя оплакивать того, кого господь призывает к себе. В Козенце Томмазо вступил в общение с мирянами — участниками вольного философского кружка, называемого «телезианская академия»! Вернувшись, он сочинил стихи на смерть Телезия. Томмазо подобало произнести слова раскаяния: Peccо, pater, mea culpa, mea maxima culpa! — «Согрешил, отец мой, моя вина, моя великая вина!» — Но он не смог заставить себя выговорить их.

— Не вздумай оправдываться! Теперь твой удел надолго — покаяние, — сказал настоятель.

Томмазо чувствовал, как в его душе звенит тонко натянутая струна, готовая лопнуть. Сейчас он все скажет.

Он промолчал.

Была объявлена кара. Его ссылают в глухой монастырь в Альтомонте. Провинциал благословил эту меру. Тамошний настоятель оповещен. Прочие наказания, заслуженные им, брат Томмазо понесет на месте. Отправиться в путь надлежит завтра.

Томмазо надеялся, что с ним пошлют Дионисия. Нет, его будет сопровождать брат Никколо. Тот самый монах, который тенью скользил мимо них по саду, когда они вели с Дионисием долгие беседы.

В Альтомонте так в Альтомонте. Странное безразличие охватило его. Он сам выбрал свою судьбу, которая сделала его постыдно зависимым от чужих приказов, от чужой воли, от

чужого неразумия. Ну нет! Приказывать они могут его телу. И он вынужден им повиноваться. А его воля, свободна ли она?

Шесть лет назад, когда у него на губе появился первый пушок, наставник привел его в обитель Плаканики, и он стал послушником. Пять лет прошло с тех пор, как он в той же обители принял пострижение. «Уже двадцать лет, а еще ничего не сделано для бессмертия!» — с горечью подумал он словами Юлия Цезаря. Разве что в дополнение к латыни выучился за эти годы читать по-гречески, разве что к учению Телезия приобщился, разве что горы книг прочитал. Да еще стал грешником в глазах своего ордена. Ему строго предписано перейти в Альтомонте. А почему не ослушаться? Что мешает ему ослушаться? Так может спросить тот, кто не давал такого обета, как он, не рос в таких стенах, не носил такого облачения. Ослушаться? Стать изгоем? Об этом даже подумать страшно. Не для того вступил он на этот путь, чтобы зачеркнуть все, что уже пройдено по нему, — к наукам, к сокровенным тайнам, которые еще не открылись, но которые откроются ему, он верит в это.

Это о нем не то с похвалой, не то с тревогой сказал один из начальствующих в обители: «Не столько читает, сколько пожирает книги!»

Он не знает, что такое обитель в Альтомонте. Верно, такая же, как в Плаканике, в Сан-Джорджо, в Никастро, чуть больше или чуть меньше, с порядками чуть свободнее или чуть строже. Какая бы она ни была, пусть там следят за каждым его шагом, прислушиваются к каждому его слову, они не помешают ему идти своим путем. Для него идти своим путем — значит думать… Мыслям не прикажешь!

Последний раз оглядел он стены, извергшие его за непокорство. Ничто не привязывало его к ним. Оставалось проститься с Дионисием. Это было не просто, ибо немедленно станет известно. Воистину говорю я вам — и стены имеют уши! Во время последней службы, которую Томмазо еще должен был отстоять здесь, он постарался оказаться в церкви рядом с другом и между словами молитв назначил ему встречу в монастырском саду. Надо не прятаться, а стать на самом видном месте.

Дионисий признался другу, в соседней деревне живет молодая вдова, которая ему предана. Вести можно пересылать через нее. Он сказал, как ее найти, как сделать чтобы она поверила, что посланец — друг, назвал ее имя. Лицо его просияло.

Томмазо был потрясен. Не тем, что Дионисий придумал

способ переписки, а тем, как свободно говорил о любящей его женщине. Он завидует другу. Дионисий преступил суровый запрет и не терзается, а счастлив.

Когда Томмазо ушел в свою келью, чтобы провести последнюю ночь в этих привычных, в этих опостылевших стенах, он думал не о том, что ждет его на следующий день. Он читал Библию. «Песнь Песней» читал он.

«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской… как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими…»

Он не спал. Строки «Песни Песней» томили его душу. Он видел смуглую девушку, стерегущую виноградник, девушку, обожженную солнцем. Впервые стал ему явствен смысл строк: «Моего собственного виноградника я не стерегла». Она полюбила… Сладостно-томительны были строки: «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Нестерпимо произносить эти слова и вслушиваться в них в тесной и душной каменной келье в эту темную теплую ночь. У него еще не было любимой, но он уже изнемогал от любви! Он не станет творить крестные знамения, произносить молитвы и отбивать поклоны, чтобы отогнать от себя это наваждение…

Глава XVI

Томмазо отправился в путь, едва забрезжил рассвет. Слоистый туман, сползший ночью с гор, еще не растаял. Он шагал быстро. Монашек, приставленный к нему, поспевал с трудом, пытался заговорить с Томмазо, тот едва отвечал. Откровенностей ждешь от меня, жалоб на наказание? Не дождешься, гадина!

Он и не подозревал раньше, что может так ненавидеть. Его соглядатай — прямой потомок Иуды. Жаль, нет тридцати сребреников, чтобы швырнуть их в это озабоченное, настороженное, прислушивающееся лицо.

Томмазо загнал не только своего спутника, но и себя. Запыленные и замученные добрели они до ворот обители в Альтомонте. Брат Никколо при виде инока, впустившего их, сладким голосом проговорил: «Посети, Господи, обитель сию и избави живущих в ней и приходящих в нее от козней лукавого, да охранит нас святая дева Мария и ангелы твои, и благодать Господа нашего Иисуса да пребудет с нами. Аминь». Томмазо повторил за ним эти слова, стараясь говорить как можно более прочувствованно. Но пути в Альтомонте он принял решение, если надо, скрывать свои мысли, притворяться. Искусство нелегкое, но он ему научится. Так надо.

Неожиданно жизнь в Альтомонте оказалась не то чтобы легче, но увлекательнее, чем он думал. Настоятель был занят тем, что расширял маленькую обитель, ремонтировал обветшавшую церковь, строил новую трапезную. Поглощенный этими заботами, он не обращал внимания на молодого инока, присланного ему на исправление. Хотя, разумеется, все кары, предписанные провинциалом, тому пришлось понести.

В том же городе неподалеку от обители жили молодые люди, еще недавно учившиеся в славнейших итальянских университетах. Они прослышали о монахе, сосланном в Альтомонте за приверженность к учению Телезия, и разыскали его.

Известные имена почтенных семей, к которым они принадлежали, лестные слова, сказанные настоятелю, дары, принесенные монастырю, открыли им возможность видеться с Томмазо, не навлекая на него новых неприятностей.

Его новые друзья немного походили на тех, с кем он познакомился в доме Соправия. Он быстро нашел с ними общий язык. Они полагали, что истинный мудрец должен чувствовать себя одинаково уверенно на диспуте, на поединке, на любовном свидании. Они легко цитировали ученые трактаты и любовные

стихи. Толковали о соколиной охоте с таким же увлечением, как об астрономии, географии, с таким же упоением, как о любви. Молодые люди могли часами состязаться в рассказывании историй, сочинении стихов и пении, равно как в игре в мяч. Выше всего они чтили человека разностороннего, гениев универсальных. Им ничего не стоило сорваться с места и уехать в другой город, если прослышали, что там на площади будет выставлена новая статуя, или в церкви будет освящен новый алтарь с росписью, или состоится захватывающий диспут. Каждый из них чтил себя и других не за знатность или богатство, а за истинную человеческую ценность.

Они были детьми эпохи с прекрасным именем — Возрождение. Тем и гордились. Они не знали, что породившая их эпоха — на закате, что пламя огня, на котором выплавился драгоценный металл их душ, уже не горит, а тлеет. Иное пламя все чаще пылает на площадях Европы. Тигли, в которых этот бесценный металл плавился, разбиты, чеканы, которыми были вычеканены сильные и смелые лица героев Возрождения, выброшены. От великих истин отлетел их смысл, остались одни слова. Недалеко время, когда почитаемый образ гуманиста выродится в ученого педанта, а универсальные гении станут блестящими и поверхностными всезнайками.

Лишь немногим из них, самым мудрым и чутким, было дано предчувствовать это — Гамлеты рождались и в Италии тоже. Пока же альтомонтские друзья Томмазо были молоды, уверены в себе, беспечны. Хозяевами жизни ощущали они себя.

В Альтомонте Томмазо узнал, какое это счастье — войти в круг таких сверстников, сколь велика радость дружественного состязания умов.

Монаху-доминиканцу лучше не вести дневника в такие времена, разве что он заполнит его благочестивыми размышлениями. Дневником Томмазо стали стихи. Его особенно влекли сонеты. Новые друзья открыли ему сонеты Данте и Петрарки, загадочно-темные сонеты Кавальканти. И он упорно пробовал силы в этой труднейшей форме. Его собственные сонеты получались диковинными. Он бился над ними, пытаясь заставить кипящую лаву отлиться в строгую форму. Иногда это удавалось, чаще нет. Продолжал он сочинять и по-латыни. Большинство стихов жили у него только в памяти, менялись, иногда забывались, потом воскресали снова.

Он решился почитать свои стихи новым знакомцам. И хотя многие из них тоже писали стихи, в сонетах Томмазо была такая сила, которая восхитила их. Давно он не жил так полно, как в Альтомонте. Томмазо спешил к друзьям при каждой

возможности. Между тем его молодые друзья были давно на заметке у тех, кому надлежит не допускать вольномыслия, провинциал ордена осведомлен о том, с кем сблизился брат Томмазо. Однако до поры до времени его щадили. По тонким соображениям. Орден не отказался от надежд, которые возлагал на Томмазо. Ордену нужны люди могучего ума и большой образованности. Влияние другого ордена — братьев Иисуса, иезуитов — все сильнее. Доминиканцам грозит оттеснение на второстепенное место.

Томмазо жил в Альтомонте, глотал книгу за книгой, писал стихи, проводил много времени с молодыми вольнодумцами и не знал, что его слова и поступки все время взвешиваются на невидимых весах.

Друзья принесли Томмазо книгу некоего Джакомо Антонио Марты под длинным названием «Крепость Аристотеля, против начал Бернардино Телезия».

— Что это? — настороженно спросил Томмазо.

— Почитай — увидишь, — был ответ.

— А кто этот Марта?

— По образованию юрист. Профессор Неаполитанского университета. Удостоен такого звания за эту книгу.

Томмазо начал читать, и текст расплылся у него перед глазами — от негодования кровь прилила к голове. Он попробовал читать спокойно, не смог, вскочил, швырнул книгу в угол, потом поднял ее и стал читать дальше.

Марта сообщает, что потратил семь лет на то, чтобы изучить и опровергнуть Телезия. Врет, негодяй! Он неспособен вникнуть в то, что утверждал Телезий. Это видно на каждой странице. Марта бессовестно выхватывает из сочинения Телезия строки, иногда слова и приводит их, отрывая от целого. Он утверждает, что эти строки и слова ошибочны и вредны, ибо противоречат Аристотелю. Сознательно допускает грубейшую логическую ошибку. Не доказав, что все сказанное Аристотелем — истина, принимает это за данность и требует того же от читателя. Требует угрожающе! Ход его рассуждений таков: учение Аристотеля признано нашей святой церковью, Телезий противоречит учению Аристотеля, следовательно, противоречит тому, что признает наша святая церковь, следовательно, противоречит самой церкви. Quod erat demonstrandum — «Что и требовалось доказать». Знакомые аргументы! Точно такие выдвигали во Франции схоласты против Рамуса, прежде чем убить его.

А в какое убожество превращался сам Аристотель под пером Марты! Он не прочитал подлинных текстов Стагирита. Просто клялся его именем, изображая его источником мудрости на все

времена! Будто может существовать ученый, будь он трижды гениальный, который в состоянии дать однажды и навсегда единственно верное толкование всем наукам! Телезий призывает изучать законы природы, а для того наблюдать ее. Что может быть бесспорнее? Марта противопоставляет этому требованию цитаты, сто раз до него процитированные. Напоминает решения Тридентского собора, осудившего все ереси, да так, что Телезий немедленно начинает выглядеть противником этих решений. Мало того! Он напоминает, что против утверждений, близких взглядам Телезия, высказывались основатели Святой Службы, столпы инквизиции. Книга Марты — ученый трактат? Нет! Это донос и угроза. Телезия нет в живых. Донос Марты опоздал. Угроза должна устрашить его последователей.

Книга Марты духом и буквой своей говорит: тот, кто будет придерживаться взглядов Телезия, тот придет в противоречие с учением нашей святой церкви, с декретами ее соборов, нарушит предостережения, исходившие от инквизиции. Попробуйте, если не боитесь!

Томмазо не испугался. Это важный день его жизни. Это рубеж. Ему двадцать один год. Он стал взрослым. Он принялся за труд, подобный первому подвигу Геракла, — за свой первый философский трактат. Он сделал свой выбор. Против Марты, в защиту Телезия. Против запретов и угроз. За свободную, смелую мысль. За изучение природы.

Одумайся, Томмазо, пока не поздно! Остановись!

Глава XVII

Каждое утро после заутрени Томмазо спешит в келью. Жаль часов, потерянных на молитвы, на долгую трапезу. Но сейчас он не может нарушать порядки обители и подвергать свой труд опасности. Повторяя слова молитв, падая на колени, крестясь, кланяясь, подпевая общему пению, он думает о своем.

И вот он один. Один! Наконец-то один! Страшное нетерпение жжет его душу. Но Томмазо длит предвкушение, заставляет себя тщательно очинить несколько перьев, чтобы не отрываться, если перо затупится во время работы. В оловянную чернильницу наливает свежие чернила. Брат-эконом однажды осведомился, почему у Томмазо уходит столько чернил. После этого разговора Томмазо готовит для себя чернила сам. Этому искусству его когда-то научил друг, библиотекарь. Томмазо любит все, что служит для писания, — перья, чернила, бумагу. Правда, писать ему приходится на дешевой — не беда, не цеплялось бы за нее перо. Песок, чтобы просушить написанные строки, тоже есть. На пюпитре лежит книга Марты — мишень, которую Томмазо каждый день пронзает своим пером, как стрелой. На полке стоят книги, которые нужны ему в работе. Каждый день стопа исписанных листов растет, рукопись становится толще.

Он принялся за этот труд, когда в садах цвели миндаль, абрикосы, вишни. Он трудился всю весну и все жаркое лето. Написанные главы читал друзьям. Прекрасно иметь таких слушателей. Важны их советы. Радостны даже споры с ними! Они рассказывают ему, как до него писал о схоластах замечательнейший ученый Леонардо Бруни в предисловии к своему переводу Аристотеля. Он доказал, что все эти мнимые ученики Аристотеля ничего не смыслят в том, чему осмеливаются учить. Даже от слога их за три версты разит невежеством. Начитанные друзья Томмазо познакомили его со смелыми мыслями славных гуманистов Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандола, снабдили его их трактатами.

Увы! Томмазо не было суждено учиться в университете. Вольное содружество людей молодых и образованных — вот его университет. И лучшего ему не надо…

Трактат Томмазо скоро перерос повод, которым был вызван. Кто такой этот Марта, чтобы тратить на него столько сил, страсти, страниц? Злобное ничтожество! Гораздо важнее напомнить то, чему учил Телезий, и развить его учение. «Законник» Марта считает, что мыслям человеческим можно раз и навсегда предписать строгие законы, пугая карами на том и на

этом свете за их нарушение. Томмазо доказывает: для ученого существует один свод законов — живой кодекс природы! Не может быть истинным ученым тот, кто, вместо того чтобы изучать эту живую книгу бога, довольствуется ее плохими копиями.

…Томмазо не думал, что его толкование бога непохоже на то, какое дают отцы церкви, что бог в его представлении сливается с природой. Он не мог знать, что впоследствии подобные взгляды будут названы сенсуалистическими и ученые докажут, какое значение для развития философии имели они. Заглядывать так далеко ему не дано. Он писал книгу, начатую как памфлет против Марты и превратившуюся в пламенное прославление духа свободного исследования, полагающего высшим авторитетом жизнь и природу…

В августе, когда поля уже были убраны, он тоже собрал свой урожай. Книга завершена! Марта уверял: «Я писал свое сочинение семь лет». Томмазо написал свое за семь месяцев. Совпадение чисел? Возможно! Среди многих увлечений Томмазо есть и увлечение магией чисел — число семь с древности представляется числом особенным. Другое волшебное число — двенадцать. Радостно думать, что ему понадобилось в двенадцать раз меньше времени, чтобы восстановить истину, чем Марте — чтобы оболгать ее: семь месяцев против семи лет. На каждый год усилий клеветника ему хватило одного месяца для их опровержения. Можно позволить себе передышку, вернуться к стихам, которые он забросил за эти месяцы, написать письмо Дионисию. Он совсем забыл его. Все можно и даже нужно, но Томмазо вдруг почувствовал: над ним нависает гроза.

Трудно сказать, откуда это ощущение. Когда он проходил по коридорам обители, ему чудился шепот за спиной. Некоторые монахи, прогуливаясь в саду и ведя чуть слышные душеспасительные беседы, замолкали, едва завидев его. Странно настойчив, задавая вопросы, исповедник. Томмазо уже приучил себя не говорить на исповеди о своих сомнениях. Обычно это удавалось. Но теперь исповедник был столь упорен, словно старался открыть ключом неподдающийся замок. А может быть, Томмазо просто переутомился, пока писал трактат, и ему все это кажется?

Он умудреннее, чем в Никастро. Уходя из кельи, он укладывал свои рукописи в сундучок, но не запирал его — это только привлекает внимание. Под крышку сундучка он подсовывал тонкую короткую нитку. Этой хитрости его научил друг Дионисий. Если кто-нибудь откроет сундучок без него, нитка, невидимая под крышкой и легкая как дух, беззвучно упадет на пол кельи. Подозрения его несколько раз

подтверждались. В его бумаги заглядывали. Он отдал рукописи на хранение друзьям, оставив в сундучке лишь стихи, которые перестали ему нравиться, да начало трактата о поэтике. Рассуждения о строфах и размерах не причинят ему вреда.

Неясное вначале ощущение тревоги день ото дня становилось острее. Оно стало нестерпимым, когда в его присутствии один из пожилых иноков затеял разговор об учениках Телезия, которых, как еретиков, приговорили к сожжению. Бежать им удалось чудом. Где они теперь скитаются, что стало с ними, никто не знает.

Томмазо побледнел. У него первый раз в жизни заболело сердце. Он поспешил удалиться. Как понять слышанное? Как угрозу или как предостережение? Пожалуй, как предостережение. Пожилой инок был благосклонен к нему. Бежать? Но куда? Вернуться домой? Мать обрадуется. Сын жив. Большего ей не надо. Для отца это будет ударом. Сапожник Джеронимо мечтал, что сын станет ученым, знаменитым, богатым.

События подтолкнули его. Настоятель вдруг покинул обитель. Толковали — по срочной надобности к провинциалу ордена. По обители поползли слухи. Ждали событий. Перешептывались о переменах. Тот самый монах, который рассказал о бегстве учеников Телезия, встретив Томмазо в саду, негромко, но отчетливо произнес: «Periculum in mora. Sapienti sat». — «Опасность в промедлении. Понимающему достаточно».

Значит, бежать! Куда? Туда, где много людей и где легче затеряться среди них, — в Неаполь, в город, о котором он так много слышал, куда отец собирался отправить его в учение. Теперь он придет туда сам. Он, монах, самовольно покинувший монастырь, автор ненапечатанных стихов и философского трактата, много задумавший, но мало совершивший, навлекший на себя гнев могущественного ордена и, как знать, возможно, и внимание инквизиции… Что принесет он в Неаполь? Чем встретит Неаполь его?

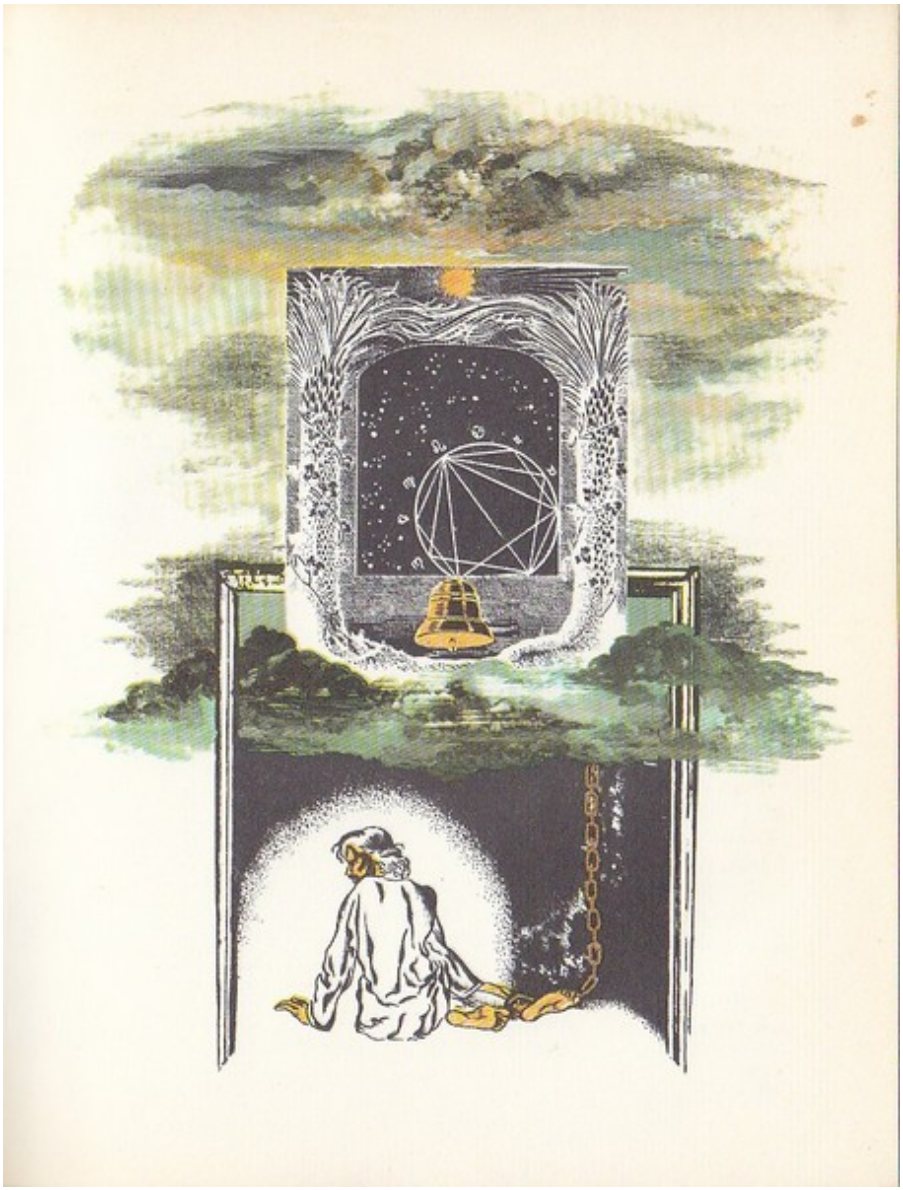
Глава XVIII

О Неаполе говорили: сколь прекрасен сей город! Нет ничего красивее синего залива, на берегу которого он лежит. Нет ничего изумительнее его роскошных палаццо. Нет ничего торжественнее его церквей. Нет ничего обворожительнее его женщин. Нет ничего сладостнее его вина. Увидеть Неаполь, восхититься — и умереть!

О Неаполе говорили: мерзостен этот город! Нет ничего грязнее и зловоннее его улиц. Нет нигде столько бродяг, нищих, шлюх и своден. Нет нигде столько наемных убийц. Увидеть Неаполь, ужаснуться — и умереть!

Брат Томмазо, бежавший из монастыря, узнал не прекрасный Неаполь, а ужасный Неаполь. Беглецу лучше скрываться в тени. Там, где он нашел себе приют, он видел голодных детей — сейчас попрошайки, они скоро станут ворами. Он видел грязных, нечесаных женщин, которые перекрикивались из одного дома, больше похожего на логово, в другой. И оборванцев, которые слонялись по городу в поисках случайной работы или опасного промысла. Здесь были углы и закоулки, куда не отваживался заглянуть никто из посторонних, едва начинало темнеть. Здесь мелькали зловещие тени, слышались невнятные голоса, звучал таинственный свист. Неужели господу богу угодно, чтобы люди так жили? Ту самую улицу, на которой поселился Томмазо — она называлась Скверная дыра, — давным-давно изобразил Боккаччо.

Доминиканскому монаху, очутившемуся вне стен своего монастыря, не грозила опасность умереть с голоду. Обитель приучила довольствоваться малым, устав ордена дозволял ему нищенство, он не стыдился доброхотных даяний. Благочестивых людей в Неаполе достаточно. Но разве он пришел сюда, чтобы скитаться от очага к очагу?



Конечно, в Неаполь он бежал от опасности. Но более всего в надежде, что здесь он сможет дальше пойти по пути науки. Но как?

Томмазо вспомнил о празднике в Сан-Джорджо, на котором он читал стихи и был обласкан семьей дель Туфо. Он решился просить помощи у Марио дель Туфо — человека богатого, знатного, известного.

В его доме ему было оказано гостеприимство. Все здесь ему было внове и странно: полы, выложенные узорчатым мрамором, комнаты, подобные залам, картины на стенах, статуи, от которых

он первое время отводил глаза: они смущали его своей наготой и влекли. Его страшила пышность трапез, богатство нарядов, многочисленность слуг, вольность речей.

Хозяин богат и образован. Он окружил гостя ненавязчивой заботой. Часто возвращаясь в разговоре к стихам Томмазо, к его трактату в защиту Телезия, он не скрывал восхищения, которое у него вызывает Томмазо.

Томмазо было хорошо в этом доме. У него просторная светлая комната. После монастырских келий она казалась огромной. Большой стол для работы с такой инкрустацией из драгоценного дерева, что он едва решался писать на кем, превосходнейшая бумага голубоватого цвета, перья, кем-то очинённые для него. Изысканны были трапезы. Он и не подозревал, что на свете есть такие кушанья. За столом, где он впервые увидел новшество — вилку, звучали не жития святых, а стихи и музыка, велась занимательная беседа. В этом доме не нужно ходить, опустив глаза в землю, и приглушать голос. Здесь много книг на разных языках, вся библиотека к его услугам. Он свободно распоряжается своим временем. Марио дель Туфо не требовал и не ждал от гостя ничего, кроме бесед на философские темы. Томмазо было легко в этом доме.

Томмазо было нестерпимо трудно в этом доме. Ступая по его мраморным полам, он не мог забыть вонючую грязь на узеньких неаполитанских улицах, по которым недавно скитался. Комната, которую он занимал один, была больше, чем весь отцовский дом. И это — божественная справедливость? Когда он думал об этом, его охватывало чувство стыда. Ложась в чистую постель, он не мог забыть, на чем после изнурительной работы спят его близкие, да и не только они. Лежа в мягкой постели, вкушая обильную пищу, он чувствовал себя преступающим евангельские заветы: стыдно есть досыта, когда столько людей живет впроголодь, а многие и вовсе голодают. Однажды он заговорил об этом с Марио дель Туфо. Тот изумился. Готовый часами следить за всеми поворотами мысли собеседника, когда речь шла о философских проблемах, он просто не понял, о чем толкует его гость, почему мучается угрызениями совести. В мире всегда были богатые и бедные. Были. Есть. Будут. Ну и что? Так устроен мир!

Томмазо, особенно после этого разговора, мучило, что ему нечем оплатить гостеприимство. Быть нахлебником не позволяла гордость. Дель Туфо восхищался римским поэтом Лукрецием Каром. Томмазо разделял это восхищение. Лукреций сумел воплотить самые глубокие понятия философии в превосходной поэме «О природе вещей». Томмазо решил доказать: он способен на нечто подобное. Он написал две поэмы на латинском языке о

философии Пифагора и философии Эмпедокла. Марио дель Туфо безмерно гордился, что они возникли в его доме. Он ощущал себя современным Меценатом.

Он пригласил друзей и знакомых послушать философские поэмы, сочиненные его другом, молодым доминиканцем отцом Томмазо. В назначенный час к ярко освещенному палаццо дель Туфо съезжались гости, молодые — верхом, старые — в каретах.

Свет огромных свечей отражался в мраморе стен. Звучала сладостная музыка. Безмолвные слуги обносили гостей вином, фруктами, языческим лакомством — шербетом, замороженным в снегу.

Томмазо, представленный гостям в самых лестных выражениях, прочитал свои поэмы, отчетливо и мерно скандируя стопы.

Поэмы были умны, учены, но, говоря по правде, скучны. Томмазо сам чувствовал это. Но слушатели были польщены, что присутствуют при рождении нового Лукреция Кара. Сидеть здесь среди знатных неаполитанцев, знать, что завтра им будут люто завидовать те, кого не пригласили, важно внимать философским стихам и рассуждать о них, — не есть ли это некий «симпосиум», описанный Платоном, пиршество ума? Они охотнее всего не восседали бы за столом, а возлежали за ним, подобно древним.

О поэмах заговорили в городе и в университете. Меценат ликовал, вознагражденный за все, что сделал для гостя. Однако сам автор был недоволен. Ученость в его поэмах была, приметы поэзии тоже, не было истинного огня.

Внутреннее беспокойство от этой слишком хорошей, слишком сытой, слишком удобной, слишком спокойной жизни не дало бы ему долго оставаться в доме дель Туфо, если бы не новые знакомства.

Марио дель Туфо был дружен с Джамбаттистой делла Порта.

Тот пригласил Томмазо к себе в дом. Молодой монах почтительно принял это приглашение. Джамбаттиста делла Порта казался Томмазо совсем старым. Он и был старше него на целых тридцать лет. Но не только возраст внушал к нему почтение. Делла Порта славился своей великой ученостью. Его дом поразил воображение Томмазо не меньше, чем дом дель Туфо. Он был скромнее, но все стены в нем были увешаны географическими картами и изображениями знаков Зодиака. На полках над большим очагом стояли весы, тигли, колбы, реторты. На столах стояли искусно изготовленные чучела зверей и птиц, под стеклом лежали бабочки сказочной красоты. В застекленных шкафах — образцы минералов и древесные срезы, а на рабочем столе хозяина зловеще скалился желтоватый череп.

Томмазо поежился. Он понимал, страх этот детский, но все-таки ему было не по себе оттого, что он, монах, давший святые обеты, оказался в жилище чернокнижника.

Делла Порта заметил смятение гостя и, улыбнувшись, сказал:

— Не страшитесь, святой отец. У магии несколько видов. Из них важнейшая magia demonica — сатанинская, или черная. Чтобы заниматься ею, надо продать свою вечную душу нечистому. Такой магией я не занимаюсь. Я посвятил себя magia naturalis — натуральной, или естественной. Она делает человека сильным, но путем, на котором нет ничего не угодного богу.

…«Натуральная магия», которой занимался делла Порта, действительно отличалась от чернокнижия. Он пытался менять вид и вкус плодов, для чего делал прививки. Изготовлял составы для фейерверков и чернила для тайнописи, изучал применение зеркал и увеличительных стекол, в чем особо преуспел, составлял лечебные смеси для сохранения красоты, строил волшебные фонари и занимался гипнозом. Объяснения своим опытам он давал порой проницательные и трезвые, а порой и фантастические. В их основе лежал вековой опыт народной медицины, открытия египетских, греческих и арабских ученых, приемы фокусников. Человек своего времени, делла Порта верил в то, что увеличительные стекла, волшебные фонари, деревья, на которых после прививки произрастают плоды разных пород, результат чудес. Грань между натуральной и черной магией была зыбкой.

Томмазо решил, что непременно станет бывать в этом доме. Для него здесь открылся целый мир: он прежде не знал, что наука творится не только в библиотеках и кельях, но и в лаборатории, что она имеет дело не только со словом. Оказывается, наука пахнет дымом очага, на котором стоят тигли, пользуется циркулем, весами и увеличительными стеклами. Кусочек минерала или перо птицы в ее глазах таят не меньше тайн и сулят не меньше открытий, чем страницы философских трактатов.

Делла Порта подарил Томмазо свою книгу «Натуральная магия», написанную им в ранней молодости. Книга пользовалась великой славой, много раз была переиздана, переведена на несколько языков.

Томмазо горячо поблагодарил дарителя и едва оказался в своей комнате в гостеприимном доме дель Туфо, как погрузился в ее чтение. Чего только не было в этой книге — мудрой и простодушной, какой была в ту пору экспериментальная наука, делавшая первые шаги. Делла Порта рассказывал о том, как прививать деревья, чтобы плоды яблонь или груш были крупнее и

сочнее. И в тех советах был запечатлен опыт многих поколений замечательных итальянских садоводов. Но он же советовал, как изменить цвет плодов. Для этого надо осторожно надрезать кору, впрыснуть в нее краску и надрез закрыть. Тогда свершится чудо — плод примет цвет этой краски. Это был скорее фокус, чем опыт, но делла Порта и то и другое — прививку и окраску — считал натуральной магией. Он рассказывал, как изготовлять факелы, которые не будут гаснуть на самом сильном ветру, и какими снадобьями сохранять женскую красоту и мужскую силу. А если пожелать, чтобы у ребенка были карие глаза, надо сжечь деревянный крест, размешать золу в оливковом масле и мазать им затылок ребенка. Интересно, знает он об этом понаслышке или пробовал сам? Книга «Натуральная магия» заворожила Томмазо.

Джамбаттиста делла Порта основал «Академию для изучения тайн природы». Подобно Телезию, он утверждал: наука должна опираться на опыт! У великого Козентинца это было умозрительной догадкой. Делла Порта опыты ставил. Пусть наивные, пусть порой основанные на предрассудках, но это были опыты во имя пауки, которой он рыцарски служил, хотя и называл ее магией. Он стремился постичь тайны природы. Делла Порта был ученым. Появление нового таланта — Томмазо — вызвало у него не ревность, а радость. Он открыл ему свой дом, лабораторию, библиотеку и, главное, вместе с Марио дель Туфо помог издать его книгу «Философия, доказанная ощущениями».

Неаполитанцы, казалось бы ко всему привыкшие, с удивлением увидели однажды молодого доминиканца с тяжелыми связками одинаковых книг в руках. Он бежал по улице, потом вдруг, задыхаясь, присел на камень, вытащил из пачки и начал нетерпеливо перелистывать новенький том. Это был Томмазо. Он утром узнал: в типографии Орацио Сальвиано закончено печатание его книги. Она переплетена. Начинается ее продажа. Томмазо кинулся в типографию стремглав! И вот книга в его руках. На переплете стоит: «Т. Кампанелла, „Философия, доказанная ощущениями“. Неаполь, 1591».

Под этим именем, унаследованным от прадеда, он выпустил в свет свою первую книгу. Под этим именем — Кампанелла — Колокол — будет и впредь обращать свои слова urbi et orbi — городу и миру.

Кампанелле было двадцать три года, когда вышло в свет его сочинение. Ни с чем несравнимое чувство испытал он в тот день… Сын бедного, неграмотного деревенского сапожника, он написал ученый трактат на латинском языке! Книга эта издана!

Отец может им гордиться. С ближайшей оказией надо послать книгу в Стиньяно. Но отец не сможет прочитать этой книги, и, даже если бы кто-нибудь перевел ему с латинского сочинение сына, он ничего в нем не поймет. Горькая мысль. Далеко, страшно далеко ушел Джованни от отчего дома. Близким не понять того, чем он занят. А все-таки какая радость держать в руках свою книгу, напечатанную, переплетенную, только что выставленную для продажи! Собственные слова в напечатанном виде выглядят по-другому, они весят больше. Вдруг Кампанелла натолкнулся на опечатку. Это как укол в сердце. Он даже замычал от огорчения и когда, наконец, дошел до дома и подарил книгу своему хозяину и благодетелю, не мог говорить ни о чем другом, кроме того, как омрачена его радость нерадивым наборщиком.

Марио дель Туфо приветливо и спокойно сказал:

— Досадно! Но главное: книга напечатана!

У книги молодого философа нашлось много читателей. Не только люди, действительно увлеченные наукой, с которыми Томмазо встречался у дель Туфо и у делла Порта, познакомились с ней, но и те, кто никогда не прочитал ни строчки ни Аристотеля, ни Телезия, услышав, сколько разговоров вызывает книга Томмазо, поспешили ее купить. Студенты Неаполитанского университета тоже прослышали о новинке. У кого не хватало денег, складывались, чтобы сообща заплатить за один экземпляр.

Студенты больше не желали зубрить: «Бытие, не имея начала, было бы бесконечным, значит, его не было бы нигде. Но поскольку оно не бесконечно, значит, оно было сотворено. Так говорит учитель!» Им не хотелось восхищаться тем, что святой Фома Аквинат гордо называл себя «человеком одной книги». Им хотелось прочитать как можно больше книг. Они больше не соглашались принимать все на веру. Им хотелось доказательств, таких, которые можно проверить. Они не соглашались, что книги, написанные за много веков до того, как они родились, сохраняют и для них свою истинность. Не может быть вечной мудрости! Откуда такая дерзость?

Их прадеды, деды, пожалуй, еще и отцы покорно бубнили: «Пояс земли называется экватором. Приблизиться к нему нельзя. Там великий жар, кипит вода, корабли загораются, а люди обращаются в пепел». Но уже многие знают, что славный корабль «Виктория» под командованием отважного Себастиана д'Элькано пересек экватор, а вслед за ним это совершили много кораблей. И никто не сгорел! А другие корабли обогнули земной шар. И некий нюрнбергский астроном-любитель, купец и мореплаватель Мартин Бегайм соорудил огромный глобус, на котором написал гордые слова: «Да будет ведомо, что на данной фигуре вымерен

весь свет, дабы никто не сомневался, насколько мир прост, и что повсюду можно проехать на кораблях или пройти, как здесь изображено…» Но в университетских аудиториях таких глобусов нет. И спрашивают профессора, никогда не покидавшие стен родного города, глубокомысленно почесывая в волосах:

— Как говорит учитель о строении нашей Земли?

— Magister dixit — учитель говорит, что к экватору приблизиться нельзя.

…Профессор дремотно и согласно кивает головой.

— Учитель говорит, что Солнце совершает свой путь вокруг Земли.

В университетах Европы в ту пору шло великое брожение. На университетских кафедрах появлялись профессора, говорившие такое, чего раньше никто не осмеливался сказать. Новые веяния побуждали дерзких философов ставить под сомнение авторитет Аристотеля. Дерзкие медики на основании опытов решались нападать на непререкаемого Галена. Им яростно сопротивлялись приверженцы авторитетов, схоласты, годами читавшие лекции по раз и навсегда затверженному тексту, ссылавшиеся на одни и те же имена, приводившие одни и те же цитаты, торжественно возглашавшие: «Учитель сказал…» Раз и навсегда одобренное, затверженное, задолбленное было подножием их кафедр, фундаментом их благополучия, подкладкой их докторских мантий, одеялом их постелей, скатертью-самобранкой их столов. Ученые схоласты, защитники неизменного, стремились изгнать из университетских стен дух сомнений и поисков, писали на беспокойных искателей пасквили и доносы, выживали их из университетов, добивались запрещения их трудов, запугивали студентов, которые жаждали нового слова, стращали робких, переманивали колеблющихся, развращали и подкупали тех, кто, несмотря на молодость, был склонен пойти по пути, который вел к «мясным котлам», как говорится в Святом писании. Иные профессора, решившиеся учить по-своему, пугались преследований, сдавались, смирялись, покорно жевали осточертевшую жвачку. Дожить бы до пенсии. Среди них были такие, кто на экзаменах улыбались студентам улыбкой авгуров. Мол, и я знаю, что все это вздор, и ты знаешь, что вздор. Но я хочу остаться профессором, а ты хочешь стать магистром. Так что валяй, не стесняйся! Свои люди! Друг друга понимаем! Таковы правила игры. Гнусные правила!

Но были и такие, кто стоял на своем. Если их изгоняли из одного университета, они перебирались в другой, внося туда дух беспокойных исканий.

Кипение таких страстей захватило и университет в Неаполе.

Никогда прежде не знал он таких споров. Книга Кампанеллы подлила масла в огонь.

Еще бы! В этой книге звучали такие, неслыханные прежде слова: «…Должно стремиться к истине и предпочитать ее самой жизни — даже тогда, когда она отвергнута всеми. Истина действительно такова, что, хотя бы и была вопреки справедливости насильственно сокрыта, — по озарению божественной воли, от которой она исходят, внезапно вырывается из тьмы и становится очевидной всякому и всплывает на поверхность, оставляя все за собой. Так что те, кому удалось скрыть ее, если они совершали это из низких побуждений, оказываются разоблаченными как враги бога и людей и возбуждают великую ненависть, а если поступали так по неведению, вызывают всеобщее презрение». То была присяга Кампанеллы.

Глава XIX

Первый собственный труд, появившийся в печати, окрылил Кампанеллу. Он задумал новые ученые сочинения — трактат об устройстве вселенной, очерк новой метафизики. Мысль о едином начале, пронизывающем всю природу, живую и неживую, Кампанелла хочет воплотить в труде под дерзким названием «О способности вещей к ощущению». Он неутомимо работает. Он мало спит. Постыдно тратить время на сон, если еще столько предстоит сделать.

Много книг в домах дель Туфо и делла Порта, но Кампанелле их недостаточно. Он дерзнул испросить разрешения пользоваться книгами библиотеки монастыря Сан-Доменико Маджоре, лучшей библиотеки Неаполя. Это был великий риск. Здесь могли дознаться, что он в Неаполе без разрешения своей обители. Обошлось! Каждый раз, когда Кампанелла раскрывал книгу, прежде не читанную, ему казалось, именно из нее узнает он то, чего так жаждет. Он полюбил работать в библиотеке. Ему мил запах кожаных переплетов, старого пергамента, бумаги, пыли, тихие шаги, негромкие голоса. Погруженный в работу, Кампанелла не заметил, что монах-библиотекарь с некоторых пор записывает названия всех книг, которые берет Кампанелла. Он задает Кампанелле странные вопросы. Почему брат Томмазо читает книги, где немало заблуждений? Книги, хоть прямо и не запрещенные, но не одобряемые святой церковью? Чувствует ли он себя достаточно прочным в вере, чтобы противостоять лжеучениям?

На такую тему Кампанелла всегда готов поспорить:

— Прежде чем отвергнуть книгу, ее надо прочитать и над ней поразмыслить. Что за нелепость говорить о чьем-то труде «он вреден!», не прочитав его! Сколь хрупкой должна быть наша вера, если ее может поколебать одно лишь перелистывание страниц, о которых говорят, что они еретические!

Библиотекарь покачивал головой. Осторожно и неопределенно, и не поймешь, соглашается он с Кампанеллой или собирается возражать ему. После этого разговора Кампанелла на другой день не нашел на полке книги, что читал накануне. Он спросил у библиотекаря, тот сокрушенно развел руками:

— Значит, вы сами не поставили ее на место.

Лжет! Но что толку спорить! В чужой монастырь со своим уставом не ходят. И все же столкновение между ними скоро произошло. Кампанелла учтиво попросил разрешения взять книги с собой.

— Мне нездоровится, — сказал он.

Библиотекарь вместо ответа молча показал грозную надпись, встречающую всех, кто входил в библиотеку. Она запрещала уносить с собой книги под страхом отлучения от церкви, Кампанелла вспылил.

— Что значит — «отлучат?» — громко спросил он. — Съедят меня, что ли?

Библиотекарь побелел и немедленно прервал разговор. Кампанелла ушел из библиотеки со смутным чувством. Случилось что-то скверное. А может, ему так показалось из-за приступа лихорадки. Он едва доплелся до дома и скоро метался в жару, нараставшем к вечеру и резко спадавшем к утру. Голова во время приступа болела, тело сотрясал озноб. Зубы стучали о край стакана с питьем. Он стонал, бредил, утром, обессиленный, едва мог говорить. Он был так слаб, что, попытавшись приподняться, беспомощно рухнул на постель.

Почувствовав себя чуть лучше, он попросил книгу, но не смог удержать ее. Том выскользнул у него из рук. Он расплакался от беспомощности. Смирившись с тем, что пока не может читать, он стал складывать стихи. Стихи о том, что для него значат книги. «Мой мозг мал, его можно вместить в горсть», — подумал Кампанелла. Эта мысль причинила ему боль, будто его мозг действительно взяла чья-то рука и сжимает. Мозг этот мал, и его сжигает страшный голод. Он алчет книг. Книг! Книг!

— Мне не насытить алчный аппетит… Мне не насытить алчный аппетит… Вбираю целый мир, а все не сыт… Вбираю целый мир, а все не сыт…

Когда он смог встать, сонет был завершен в уме. Он начинался так:

Я в горстке мозга весь, — а пожираю
Так много книг, что мир их не вместит.
Мне не насытить алчный аппетит —
Я с голоду все время умираю.
Я — Аристарх и Метродор — вбираю
В себя огромный мир — а все не сыт.
Меня желанье вечное томит:
Чем больше познаю, тем меньше знаю.

Едва Кампанелла смог выходить из дома, он поспешил в монастырскую библиотеку. После болезни очертания домов, башен, кораблей у берега казались особенно отчетливыми, краски пронзительно-чистыми. Он шагал стремительно и дышал глубоко. Мир казался заново рожденным. Библиотекарь встретил

Кампанеллу мрачно. Не ответив на его радостное приветствие, он встал перед полкой, заслоняя книги от пришельца, как от грабителя.

— Отныне библиотека закрыта для тебя, брат Томмазо, — сказал он. — Уходи и более никогда не возвращайся!

Кампанелле показалось, он ослышался:

— Для меня закрыта библиотека? Что я сделал?

— Библиотеки — дома божьи! — загадочно ответил библиотекарь. Кампанелла побледнел, потребовал объяснений, повысил голос. Монах молчал, беззвучно шевелил губами, читая про себя молитву.

— Я пойду к настоятелю…

— Бесполезно! — нарушил свое молчание библиотекарь. — Таково решение капитула. Настоятель не станет его изменять. Оно принято с его согласия. — В его голосе звучала радость.

Кампанелла промчался по длинному гулкому коридору к келье настоятеля. Монахи, попадавшиеся ему навстречу, испуганно уступали дорогу. Кампанелла назвался монаху, стоявшему в прихожей перед кельей настоятеля, как апостол Петр перед дверями рая, сказал как можно почтительнее, что просит дозволения немедленно поговорить со святым отцом.

— По неотложной надобности, — добавил он.

— О неотложности судить будет тот, к кому ты пришел, — сказал монах и удалился в келью.

Он скоро вернулся и проговорил:

— Настоятеля в обители нет!

Кампанелла спросил:

— К кому же ты тогда входил в келью?

Монах ответил:

— На твоем месте, брат Томмазо, я не стал бы ни говорить столь громко в сем святом месте, ни требовать чего-либо. Настоятеля нет и не будет для тебя, когда бы ты снова ни пришел сюда.

Кампанелла возвращался домой, чувствуя, что постарел на десять лет. И не болезнь была тому виной. Его отлучают от книг! За что? Почему? Конечно, библиотека монастыря Сан-Доменико Маджоре не единственная в Неаполе. Но он уже привык к ней, знает, что может в ней найти, в ней много книг, которые нужны ему. И теперь ему заказан вход в эту библиотеку. По какому праву? За какую вину?

Голубой залив, далекий горизонт, вызывавшие в его душе с тех пор, как он в Неаполе, ощущение простора и счастья, сегодня его не радовали. По мраморным ступеням гостеприимного дома дель Туфо тяжко подыматься. В прекрасной комнате, отведенной

ему, тяжко дышать. К обеду он не вышел, а когда Марио дель Туфо, встревоженный, проведал его, Кампанелла рассказал, как его не пустили в библиотеку, как не дали обратиться с просьбой к настоятелю, сколь странные речи прозвучали при этом.

На спокойного, сдержанного Марио дель Туфо рассказ гостя произвел неожиданно сильное впечатление. Он помрачнел и попросил Кампанеллу вспомнить все книги, какие он читал последнее время в библиотеке, что говорил о них и кто при этом присутствовал.

— Разве я могу вспомнить все, что я читал, и все, что я сказал! Да и кому до этого дело! — вскричал Кампанелла.

Марио дель Туфо ответил:

— Мне не нравятся сказанные вам слова: «Библиотеки — дома божьи!» Вряд ли монах-библиотекарь сказал это от себя. Он это вслед за кем-то повторил. Библиотека — божий дом. Мы запрещаем тебе входить в библиотеку, как в божий дом. Дабы ты своим присутствием не осквернил его. Кампанелла, вас готовятся обвинить в ереси! Будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны!

— Я уже давно ношу монашеское облачение и исполняю обеты, которые дал. Так, как я их понимаю. Я — «тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем», как сказано в книге псалмов.

— «Как я их понимаю»! Одних этих слов достаточно для тяжких обвинений. Я постараюсь узнать, что стряслось. Вас прошу не выходить из дома. В этих стенах вам ничего не грозит. Надеюсь, что вам ничего не грозит в этих стенах, — сам себя поправил дель Туфо.

Эта поправка сильнее всего показала Кампанелле, как встревожен хозяин. Надо оставить дом дель Туфо, дабы не навлечь на благодетеля беду. Но он отбросил эту мысль и пообещал никуда не выходить. Работать можно и здесь.

Наутро страхи хозяина показались ему преувеличенными. Он пойдет еще раз в библиотеку и потолкует с библиотекарем. Не добьется ничего у него, заставит настоятеля, чтобы тот его выслушал. Не может настоятель отказать ему в беседе. Они оба доминиканцы. Томмазо отправился в монастырь Сан-Доменико Маджоре. Шел по улице, погруженный в свои мысли. Он не сразу понял, почему все вокруг опустело. Кто эти люди в черных плащах и с оружием, которые вдруг обступили его? Кто смеет грубо хватать человека в святом облачении?

— Отец Томмазо, именующий себя Кампанелла, следуй за нами! — услышал он повелительный голос.

— Кто вы?

Но ответ не нужен. Под черными плащами стражников монашеские рясы. Служба папского нунция! Значит, он арестован по приказу нунция — посла папы в Неаполе. Вооруженные слуги господни… Это ли не кощунство — монахи в роли солдат! Сопротивляться бессмысленно: стражников много. Они вооружены. Спрашивать, за что он схвачен, бесцельно. Они не ответят.

Только бы кто-нибудь из прохожих догадался известить Марио дель Туфо о том, что его гость схвачен. Но кто это сделает, если все обходят схваченного, как прокаженного?

Глава XX

Тесна была каморка в отцовском доме, где жил Кампанелла. Чуть просторнее кельи в монастырях, огромна комната в доме Марио дель Туфо. Но все эти жилища схожи в одном — из них можно было свободно выйти. Теперь он впервые оказался за запертой снаружи дверью, впервые увидел решетку на окне. Дверь из дубовых досок. Несокрушимая дверь. У решетки прекрасный узор со столь частым переплетением, что прохожий, который приблизился бы к дому апостолического нунция и попытался бы подойти к подвальным окнам, ничего не смог бы разглядеть. Впрочем, никто и не осмеливался подходить к этим окнам.

Кампанелла оказался под замком и за решеткой первый раз в жизни, но повел себя так, как испокон века ведут себя люди, внезапно схваченные, не знающие за собой вины. Он стучал в дверь. Требовал, чтобы ему сказали, в чем его обвиняют. Молчание было ответом. Он бросился к окну, тряс решетку, решетка не поддавалась. Он кричал: «Пусть сообщат провинциалу моего ордена, что я здесь, он не потерпит, чтобы со мной так обращались!» Но крики его были гласом вопиющего в пустыне.

Когда наконец за дверью раздались шаги и в камеру вошли двое стражников, один принес еду, другой — соломенный тюфяк, Кампанелла кинулся к ним:

— За что меня схватили?!

Оба стража молчали.

Он уговаривал их сказать хоть слово, он заклинал их нарушить молчание, чтобы он мог понять, что его ждет. Он еще никогда не был так красноречив, как в этот раз. Один из стражей сжалился:

— Благодари бога, что ты не в другом месте.

Кампанелла долго размышлял над этими словами.

И вдруг он с замиранием сердца понял, что имел в виду стражник. Он в монастырской тюрьме, а мог оказаться во власти Святой Службы, во власти инквизиции.

Он знал это страшное слово. Знал, что его орден причастен к инквизиции. О том, что творится в тюрьмах Святой Службы, даже смелые люди старались не говорить и не думать. Имя человека, схваченного инквизицией, избегали упоминать, чтобы не заподозрили в знакомстве с ним. Попасть под подозрение инквизиции было равносильно осуждению. Святая Служба не делала чрезмерных различий между подозреваемым и осужденным. Случаев, чтобы из ее темниц человек выходил оправданным, почти не было. Ее создатели полагали, что лучше

осудить сто невиновных, чем выпустить одного виновного. Да и кто не виновен перед лицом Господа? Если все же они выпускали заподозренного, на свободе он жил как отверженный. Одних пугало то, в чем он был недавно обвинен. Другие подозревали, что за освобождение он заплатил Святой Службе услугами и настоящем и обязательствами на будущее. У тех, кто вышел из тюрем инквизиции, была особенность: даже если они оказывались на свободе с вывернутыми членами, хромыми или сухорукими, они не рассказывали о том, что с ними происходило в страшных стенах Святой Службы. Они ничего не говорили, но все всё знали, хотя и делали вид, что не знают. Знали, потому что из зданий Святой Службы по ночам, а то и среди бела дня, доносились страшные вопли. Да и сами инквизиторы не скрывали того, как обращаются с еретиками. Пусть опасаются сходной судьбы!

Кампанелле однажды попалась в библиотеке толстая книга с картинками. Ее сочинил один из столпов инквизиции, имя которого пользовалось великим почетом в католическом мире. Там можно было прочитать, чем и как пытать обвиняемых. Орудия разделялись на действующие путем давления, ущемления, вливания, ожога, дробления, закручивания. Красноречивая книга! Ему действительно повезло, что он не в тюрьме Святой Службы, здесь его никто не мучает. Ему никто ничем не угрожает. Его кормят, правда, скудно, но для привыкшего к постам это не беда. И все-таки его мучают. Прежде всего вынужденной бездеятельностью. У него нет ни книг, ни бумаги. Мозг, привыкший к постоянной и напряженнейшей работе, не получает пищи и потому сжигаем единственной мыслью: «В чем я провинился?»

Он бесконечно перебирает одни и те же предположения, вспоминает свои неосторожные слова, вырвавшиеся когда-то, силится представить себе, кто мог донести на него, и думает, как опровергнуть извет, содержания которого он не знает. Бесплодные, мучительные мысли! Еще изнурительнее размышления о том, что он сделал не так, как следовало сделать, какой шаг был опрометчивым, какой ход неосторожным. Бесконечно разыгрывает он в уме шахматную партию собственной жизни, которая привела его в это узилище, пытаясь угадать следующие ходы невидимого грозного противника. Противника? Кампанелла испугался этой мысли. Как любой житель Южной Италии, он мог быть захвачен в плен алжирскими или турецкими пиратами. Оказался бы в плену у язычников. Думать о них как о врагах было естественно. Но его, католика и монаха, схватили на улице католики и монахи, только вооруженные. Люди, которые молятся тому же богу, что и он. Его братья во Христе. Не

совершил ли он страшного греха, подумав о них как о своих противниках? Может быть, он действительно виноват? Виноват? Но в чем? В том, что всю жизнь, с тех пор как стал думать, взыскует истины? Он почти перестал спать — одни и те же мысли мучили его и наяву и во сне, прерывистый сон стал кошмаром. Еще страшнее неизвестность — если бы он по крайней мере знал, в чем его обвиняют!

Кампанелла был неопытен. Он не догадывался, что долгая неизвестность, в которой его держат, испытанный прием Святой Службы, и хотя монастырский суд не инквизиция, но примеру ее следует. В начале всякого следствия воля обвиняемого должна быть сломлена пыткой неизвестностью.

Наступил день, когда Кампанелла понял: если он не перестанет перебирать одни и те же мысли, он сойдет с ума. Сколько он дней под стражей? Он уже не может их сосчитать. Чтобы занять голову, он стал вспоминать слова псалмов. «Внемли гласу вопля Моего, Царь мой и Бог мой!.. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь… Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей… Утомлен я воздыханиями моими; каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою… Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да… постыдятся мгновенно».

Сколько неисчислимых лет назад некий человек, подобно ему, утомлял горестными воздыханиями страждущую душу! Как жарко молился, как истово верил, что его клеветники будут посрамлены, а он выйдет из всех испытаний обеленным! Кампанелла тихо напевал его слова, ибо то были псалмы, предназначенные для пения, чувствовал, сколь прекрасны эти простые строки. Но облегчение они давали ненадолго. Слова истовой молитвы не отворят двери его темницы, не разгонят наваждение клеветы, не отвратят от него опасность, не откроют пути к свободе. Сказано в Евангелии: «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать: ибо в тот час дано будет вам, что сказать».

Как он верил в непреложность этих слов, но вот его предали, и что же?

Если бы он мог работать! Работа стала бы спасением. Но как продолжать работу без книг, без бумаги, без чернил?

Наконец его повели на допрос. Он зажмурился от яркого света, который заливал коридор. Волнение помешало ему разглядеть судей. Кажется, в середине стола сидел глава трибунала — седовласый, важный, с непроницаемым лицом. По обе стороны от него несколько членов суда в облачении доминиканского ордена. Видеть это больно. «„Блажен муж,

который не ходит на совет нечестивых“, — подумал Кампанелла словами псалма. — А эти пришли…»

Судьи увидели молодого человека в некогда белой, а теперь серой от грязи рясе, измученного бессонницей и бесплодными размышлениями, с горящими от возбуждения глазами, с бородой и почти заросшей тонзурой. Заставляя голос не дрожать, он проговорил подобающее приветствие. Допрос начался. Странный допрос! Кампанелле не сообщили, в чем его обвиняют, но потребовали, чтобы он сам назвал свои вины.

Кампанелла пожал плечами:

— Я не знаю за собой никакой вины. Пусть о моей вине скажет тот, по чьей милости меня, как уличенного преступника, держат в темнице.

Он не успел договорить этих слов, как его резко перебили. Не подобает тому, кто называет себя иноком, говорить о своей безгрешности. Безгрешных нет и быть не может. Своим ответом он лишь уличил себя в тяжком грехе гордыни. Засим Кампанеллу спросили, как его зовут, словно судьи этого не знали, когда он родился и откуда родом, кто его отец. Все его ответы записал секретарь-нотарий. И хотя в ответах не было ничего особенного, судьи то и дело многозначительно переглядывались. Его спросили:

— Известно ли тебе, по какой причине тебя вызвали в трибунал?

«„Вызвали“, — с горечью подумал Кампанелла. — Как мирно это звучит! Схватили на улице, бросили в узилище, продержали в нем без объяснений несколько недель и теперь говорят „вызвали“».

— Нет, мне сие неизвестно, ваши преосвященства и высокородия.

— А разве ты сам не догадываешься?

Слишком много у Кампанеллы было догадок, чтобы приводить их все. Он счел за благо не называть ни одной.

— Нет! — ответил он.

Ему предложили подумать получше и прийти сюда не упорствующим, а раскаявшимся и смиренным.

— Мы знаем о тебе все! Но мы хотим, чтобы ты сам ради своего же блага во всем признался и сам первый назвал свою вину!

— Какую вину? — вскричал Кампанелла.

Но судья сказал: — Ступай и подумай! — и дал знак страже, чтобы его увели.

Так продолжалось несколько дней. И когда Кампанелла в последний раз твердо ответил, что никакой причины, почему он

здесь, не ведает, его спросили, каким образом он в свои годы знает то, чему его не учили и учить не могли.

Вот в чем его вина — слишком много знает! Кампанелла ответил:

— Я с молодых лет чувствовал тягу к наукам, стремился всегда как можно больше узнать. Если мне чего-нибудь не могли объяснить учителя, старался найти ответ сам…

Едва он замолк, вопрос раздался снова:

— Откуда тебе известно то, чему тебя не учили? Отвечай без утайки.

Кампанелла попытался повторить свой ответ. Его перебили. В третий раз прозвучало «Откуда ты знаешь то, чему тебя не учили? Отвечай без утайки!»

И тут Кампанелла взорвался:

— Я сжег над книгами больше масла в лампе, чем вы выпили вина за всю свою жизнь!

Он тут же пожалел о дерзком ответе — орденский трибунал не место для остроумия. Но судьи были довольны его дерзостью: ее тут же занесли в протокол. К прочим винам обвиняемого прибавилось неуважение к высокому суду. К тому же обнаружилось, что обвиняемый молод, горяч, неосторожен, его легко вывести из себя. Это упрощает задачу суда.

Следующий вопрос поразил Кампанеллу нелепостью:

— Назови имя своего домашнего демона!

— Чье имя? — переспросил Кампанелла растерянно.

— Не переспрашивай! Отвечай! Имя твоего домашнего демона?

Что можно ответить на такой вопрос? Его молчание вынудило судей разъяснить, что они имеют в виду. Они располагают доносом, обличающим Кампанеллу в том, что ему прислуживает некий домашний демон. Ему он обязан своей памятью и познаниями. Вот, значит, как обернулись лестные разговоры поклонников о том, что у Кампанеллы есть добрый гений, который, по представлениям древних, покровительствовал философам и поэтам. Объяснять? Бессмысленно! Рассмеяться? Смеяться здесь не приходится. Обвинение в союзе с нечистой силой уже десятки людей приводило на костер.

Кампанелла, силясь говорить спокойно, заверил, что у него никогда не было домашнего демона. Тут у него сорвалась неосторожная фраза: «Таких демонов вообще не существует. Это суеверие!»

Фразу тут же занесли в протокол. Кампанелла навлек на себя еще одну вину — выразил сомнение в том, что святой церковью признается непререкаемой истиной. Издал ведь папа Иннокентий

VIII буллу об искоренении ведьм и ведьмаков, виновных в общении с демонами.

Допрос закончился. Кампанелла обессиленный вернулся в камеру, чтобы долгие часы до следующего допроса по сто раз перебирать каждое слово судей, каждый свой ответ. Не надо было отвечать дерзостью! Не надо было рассуждать о демонах! Ах, что теперь жалеть о том, что сделано. Надо думать о том, как вести себя дальше. Но очередного вызова пришлось ждать долго. Очень долго.

День проходит за днем, одна ночь, полная тревожных кошмаров, сменяется другой, не менее тревожной. О нем забыли.

О нем помнят. Ему дают «созреть», чтобы он, как спелый плод, упал к ногам своих судей. На следующем допросе от него потребовали ответа, почему в предисловии к своей книге он написал греховные слова: «Клянусь Гераклом!» Христианину не подобает клясться именем язычника.

Объяснять судьям, что значит для него это имя, с тех пор как он мальчиком услышал рассказ о Геракле на распутье, толковать им про то, какие ковы одолел Геракл, сколько добра сделал? Напоминать, что Геракл освободил Прометея?

Кампанелла ответил, что такие слова в его книге действительно есть и он употребил их, не думая, что они греховны, но если это так, он сожалеет об их неуместности.

Теперь начинается самое главное. Его книга в защиту Телезия — вот его основная вина. Как только дело дошло до нее, он почувствовал себя увереннее. Ему предъявили подчеркнутые в книге высказывания, которые трибунал считает особенно греховными. Кампанелла не стал отрицать, что писал это. Он принялся объяснять, что дало ему право провозгласить: «Наука должна заниматься не словами, а вещами».

Ему не дали договорить.

— Здесь не место для философских диспутов, — резко оборвал его глава трибунала. — Отвечай по существу!

Кампанелла попытался. Его прервали снова и отослали в камеру.

— Иди и подумай!

У него есть время поразмыслить, что он опять не так сказал. С горечью вспомнил он своих друзей и покровителей. Где они, когда он так в них нуждается?

Кампанелла не знал, что едва Марио дель Туфо услышал о беде Кампанеллы, он стал пытаться облегчить его судьбу. И то, что узника стали кормить чуть лучше, и то, что стражники с ним не так грубы, как в первые дни, и то, что ему наконец дали бумагу и чернила, — все это произошло благодаря дель Туфо. Делла

Порта не мог ходатайствовать за Кампанеллу — занятия натуральной магией делали его и без того подозрительным в глазах церкви. Он пытался повлиять на судьбу Кампанеллы косвенно, не слишком подчеркивая свое с ним знакомство.

Много дней подряд допросы сосредоточивались на книге в защиту Телезия. Ни один ее тезис не был обойден судьями. Только теперь, увидев, как воспринимают его трактат церковные власти, Кампанелла сам до конца понял значение написанного им. Он может не стыдиться своей книги!

Самым отвратительным было выявление того, сказал ли Кампанелла нечестивые слова: «Что значит — „отлучат“?» Вот когда Кампанелла вспомнил библиотекаря обители Сан-Доменико Маджоре. Предатель! А какой у него был робкий вид. Воистину, лицо — ристалище лжи. Не станет он подтверждать его доноса. Это не исповедь, это допрос. Он не чувствует себя обязанным сознаться в том, что может отрицать.

— Один свидетель — не свидетель! — воскликнул он. — Такого правила даже инквизиция придерживается.

Его снова прервали, не думает ли он, что может давать суду уроки юстиции? Вместо ответа Кампанелла процитировал псалтырь: «Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня… собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили…»

— Не кощунствуй! — вскричал судья. — С кем осмелился сравнить себя! Увести!

Кампанелла долго томился в тюрьме. Несколько раз за это время его мучили приступы лихорадки. Врача и лекарств узникам не полагалось. Днем в камере было нестерпимо душно, ночью — сыро. У него болели суставы, а от скверной еды начали расшатываться зубы.

С некоторых пор Кампанелле разрешили держать в камере Библию. Она надолго стала его единственным чтением. Вчитываясь в ее страницы, Кампанелла впервые понял, почему католическая церковь запрещает мирянам читать Библию. Чрезмерно углубляясь в нее, они могут впасть в излишние умствования и еретические заблуждения, подобные тем, которые привели христианскую церковь к расколу. Его хотели заключением наказать за грехи, а навели на еретические мысли. Но он стал мудрее и теперь не будет спешить, высказывая их вслух.

Иногда ему давали бумагу. Тогда он писал, стараясь выражаться как можно более туманно и осторожно. Да и темы выбирал сравнительно безопасные — делал заметки к «Поэтике», набрасывал план огромного сочинения — оно должно было стать

сводом всего философского знания. Его поэмы об Эмпедокле и Пифагоре лишь робкий подступ к тому, что представлялось теперь его воображению. Иметь возможность работать было счастьем, омраченным лишь тем, что каждое написанное им слово непременно прочитают враждебные глаза. И неизвестно, отдадут ли ему рукописи, когда его выпустят на свободу.

Когда выпустят… Кампанелла горько усмехнулся. Если выпустят. Иногда ему казалось, что этого никогда не будет.

Глава XXI

Прекрасным августовским утром Кампанелла снова предстал перед лицом суда. Самого нунция не было в зале. Завершенное дело его не интересовало. Приговор оказался неожиданно милостивым. Срок, который он провел в темнице, был сочтен достаточным наказанием. Кампанелле предписывалось немедленно покинуть Неаполь. Отныне ему предстоит жить у себя на родине в одной из самых дальних обителей. Покидать ее запрещается. На него налагается строгое покаяние. Он предупрежден: за новые умствования ему грозят более строгие кары. Он должен торжественно обещать, что не станет больше восхвалять Телезия, будет всегда и во всем придерживаться учения святой церкви и славнейшего из его отцов — Фомы Аквинского. «Да будет мир с тобой, брат Томмазо», — прозвучало в конце наставительной речи. Насмешка? Нет, это сказано серьезно. Его судьи уверены, что действовали во имя его блага, не против него, а ради него.

Кампанеллу вернули в камеру, дверь которой первый раз была не заперта. Ему принесли новое облачение взамен старого. Прислали цирюльника сбрить длинную бороду. Сочувственно вздыхая, цирюльник посетовал, что не смеет прикоснуться к заросшей тонзуре. Его рукам сие не подобает, тонзуру обновят в монастыре. Потом, наклонившись к уху Кампанеллы, он шепнул:

— Вас ждут в доме синьора дель Туфо.

Он снял с души Кампанеллы большое сомнение. Тот не знал, может ли войти в дом своего покровителя, не навлечет ли этим беды на него, не вызовет ли недовольства своим появлением. Отрадно знать, что есть дом, где его ждут.

Марио дель Туфо ужаснулся, так изменил этот год его друга: впали щеки, землисто-серой стала кожа, серебряные нити появились в волосах. А ведь ему и двадцати пяти нет! Только глаза не погасли — в них все то же пламя. И столь же пылко звучит его речь. Своих судей Кампанелла изображает в лицах: их мрачную серьезность, их лицемерную елейность, их умение говорить, не глядя на того, с кем говорят, их тупую убежденность, что они делают важное дело, их ощутимое соперничество. Портреты получаются злыми. Отсмеявшись, хозяин берет с Кампанеллы обещание больше никогда своих судей не передразнивать. Святые отцы терпеть не могут шуток. Им подозрительна веселость.

Весть о том, что Кампанелла на свободе, немедленно собрала в доме дель Туфо верных друзей. Кампанелла не стал скрывать от

них, что с ним происходило. Он защищал Телезия — вот главное обвинение. Поклонникам Телезия следует это знать. Сказал и о решении — он должен покинуть Неаполь. Друзья подавленно молчали. Молодой блестяще одаренный человек, столь много уже свершивший, столь много обещающий в будущем, должен похоронить себя в глухом монастыре, где нет ни книг, ни ученых собеседников, где его доймут, налагая одну епитимью за другой!

Кампанелла радовался, что видит друзей, слышит их голоса, расспрашивал, как жаждущий, о новостях. Они, увы, невеселы. Невежественный и подлый хулитель Телезия — Марта в чести и славе. Сочинениями Телезия занимается в Риме Конгрегация Индекса запрещенных книг. Запрет их — дело ближайшего будущего. Еще печальнее другое известие — в Венеции схвачен Джордано Бруно. Имя Бруно Кампанелла слышал мельком, трудов его покуда не читал. Зато о нем может все рассказать Джамбаттиста делла Порта. Старше Кампанеллы на двадцать лет, Бруно завоевал себе славу на родине и во многих странах лекциями, участием в диспутах, могучей памятью, пламенным поэтическим даром, красноречием. Но более всего — смелостью суждений: он утверждает, что обитаемых миров множество. И вот теперь над ним тяготеет обвинение в ереси. Венецианские темницы пострашнее той, из которой вырвался Кампанелла. Там в самые жаркие дни узников держат в камерах под свинцовыми крышами. Свинец раскаляется, и несчастным скоро начинает казаться, что они в пекле. Кампанелла представляет себе, что испытывает сейчас Бруно, какими мыслями терзается днем, какие кошмары преследуют узника по ночам. Его отвлекает от невеселых размышлений голос Марио дель Туфо:

— Что вы решили, отец Томмазо?

Кампанелла ответил:

— Суд надо мной был неправым. Пристрастны и глухи к моим доводам были судьи. Покоряться их приговору я не стану. В Калабрию не вернусь. В Неаполе оставаться мне нельзя. Умоляю о советах, добрые друзья мои, уповаю на помощь.

Глава XXII

Снова дорога. И не ближняя. Кампанелла решил отправиться в Рим. Почему в Рим? Он сам не смог бы ответить на это. С тяжким сердцем покинул он Неаполь. Найдет ли он в новом месте таких друзей?

Последний раз поглядел он на прекрасный залив, на рыбачьи лодки, которые под пестрыми парусами скользили по синей воде, на Везувий. Ему было хорошо в Неаполе. Ему бывало страшно в Неаполе. Но он не жалеет, что на его жизненном пути оказался этот город.

В пути никто не обращал на него внимания — мало ли странствующих доминиканцев, бернардинцев, францисканцев, кармелитов бродит по итальянским дорогам. Он не предполагал, что такую радость доставит ему созерцание гор, деревьев, ручьев, смех детей, голоса взрослых, пение птиц, перебранка женщин, цокот копыт, шум ветра. Сладок хлеб, даже черствый, если он съеден не в темнице. Пиршеством кажется простая луковица, наслаждением — миска деревенской похлебки. У всего, что он видит, что он обоняет, что ест, — вкус и запах свободы. Нет ничего прекраснее! Так ему кажется первые дни. Но потом он куда острее, чем прежде, видит: одной свободы мало для счастья. Крестьяне, у которых он находит приют, жалуются на тяжкие поборы. В каждом селении могут рассказать о том, как погубили человека неправедные судьи или ограбили бандиты. Ну ладно, с бандитами еще можно договориться, а как договоришься с властями?

— И не в обиду вам будет сказано, святой отец, нет спасу от поборов на монастыри.

Что ответить этим людям, честным, добрым, работящим? Сказать: «Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую»? Совесть не позволяет! Неужели когда-нибудь будет существовать мир без камер с запорами на дверях, без решеток на окнах? Где никто не ограбит бедняков, где все будут жить по справедливости. Где никого не ввергнут в темницу за то, что он ищет истину и думает о ней по-своему. Неужели нельзя создать такой мир? И что нужно сделать, чтобы создать его? Почему он до сих пор, думая о тайнах природы, так мало размышлял об этом? А ведь сколько веков тревожит людей подобная мысль! Когда-то римский историк Корнелий Тацит написал такие слова: Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet — «Какая редкость счастливое время, когда можно чувствовать, что хочешь, и говорить, что чувствуешь». Это сказано почти за

полторы тысячи лет до того, как Кампанелла прочитал слова Тацита, почувствовал в них горестный вздох сожаления и понял — не о своем времени говорит Тацит. Оно тоже не было таким, о котором он мечтал. Было ли когда-нибудь такое время? У каждого века находился свой Сократ, и каждому Сократу подносили свою чашу с цикутой.

Кампанелла ни в чем не раскаивался и ни о чем не жалел.

Только поначалу, после того как вышел из темницы, не мог спать в комнатах с закрытыми дверьми. Вот и в пути предпочитал укладываться на ночь под открытым небом. Долго лежал без сна, глядел в черное небо, на звезды глядел — их тайны по-прежнему влекли его. С каким светилом связана его судьба и как прочитать ее в небе?

В порту Кампанелла разговорился с возчиками, которые с торговыми обозами несколько раз в год совершали путь из Неаполя в Рим. Коренастые, дочерна обожженные солнцем, громогласные парни объяснили монаху с измученным, серым лицом, как добраться до Рима. Старший стал чертить палочкой на пыльной каменной плите:

— От Неаполя берегом пойдешь на Террачину — конец немалый, потом — на Неттуно, тут денек отдохни, свернешь на Веллетри, доберешься до Тибра, вот ты и в Риме.

— Сколько времени потребуется на сей путь?

— Видишь тот дуб? Ступай до него и обратно. Иди как всегда.

Кампанелла послушно дошел до старого дуба, отдышался — после заключения его мучила одышка — и вернулся.

— За месяц дойдешь! — уверенно сказал возчик.

Младший возчик задиристо спросил:

— Может, святого отца повезет карета?

Старший усмехнулся:

— Его-то? У таких карет не бывает!

— А может, он седоком в наш обоз?

Возчики расхохотались:

— Еще чего! Да кто же возьмет в такой путь проповедника? Не выругайся, не побожись, посты блюди, с бабой в дороге не оскоромься. Мы не паломники, мы возчики. Его дело — святое, наше — дорожное! Не по пути с ним.

Это не помешало возчикам дать Кампанелле несколько советов: в каких постоялых дворах останавливаться, в каких — ни-ни, в какое время идти, а когда отдыхать, где воду можно пить, а где — боже избави! Чем ближе к Риму, тем хуже вода. Пить там можно только вино, его монахи приемлют. А как дойдешь до болот подле Рима, пересекай их быстро и не на

закате. Там к вечеру такой мерзкий туман, подхватишь гнилую лихорадку — поминай как звали.

То была наука, записанная не пером на бумаге, а ногами по исхоженной ими земле. Кампанелла был согласен изучить ее: апостолы тоже были странниками.

На прощание возчик подошел к Кампанелле под благословение, а потом сердечно хлопнул его по спине. Благословил святого отца!

Следуя советам, Кампанелла добрался до Рима. Не был ограблен в пути — хотя что у него взять? — не захворал от дурной воды и гнилого тумана и в конце золотого сентября вошел в Вечный город.

Рим оказался пугающе непохожим на тот, каким он себе представлял его. Здания Древнего Рима — триумфальные арки, Колизей, языческие храмы были сильно разрушены. На развалинах работали каменщики — выворачивали старые колонны, выламывали мраморные плиты. Древний Рим служил огромной каменоломней для Рима папского. Варварство!

На многих зданиях, построенных позже, следы пожаров. Память о французских и германских войсках, осаждавших и грабивших город. Собор святого Петра не то достраивался, не то перестраивался.

Люди в Затиберье, бедно одетые, угрюмые, были непохожи на людей около папского дворца. Здесь полно монахов — доминиканцев, кармелитов, францисканцев, бенедиктинцев, цистерцианцев. Некоторые в таком облачении, которого Кампанелла прежде не видывал, — из чужих краев! Да и подальше от папы есть на что поглядеть. Солдаты, стражники, бродячие торговцы, выкликавшие товар, разносчики воды и прочие люди странного обличья. Много непривычных лиц, громкоголосых чужеземцев.

Кампанелла растерялся. У него было с собой письмо к родственнику Марио дель Туфо. Как отыскать его? На поиски ушел целый день. Родственник его неаполитанского покровителя при виде гостя особой радости не проявил. Сказал, что кров ему предоставит, но своей тревоги не скрыл. Кардинала Караффы, верховного инквизитора, о котором римляне вспоминали с ужасом, уже нет в живых, но его наследники ничуть не снисходительнее.

Труды Телезия вот-вот включат в Индекс. Кампанелле, автору книги в защиту Телезия, несомненно грозят кары за одно это. К тому же он самовольно пришел на север. В Риме полно соглядатаев, беглого монаха распознают сразу. «Умеют!» — не то со страхом, не то с восхищением сказал римлянин. Конечно, его

дом открыт для Кампанеллы…

Слова эти повисли в воздухе…

Кампанелла поблагодарил, но от гостеприимства отказался. Жить под кровлей, где еще ничего не случилось, но все уже дышит страхом, он не хотел. Не останется он в Риме. Он хочет продолжать работу, а не прятаться. Куда теперь? Дальше на север. Он ушел, унося рекомендательные письма ко двору флорентийского герцога Фернандо I Медичи.

Глава XXIII

…Геометрия определяет положение тела в пространстве тремя точками. География определяет местоположение координатами долготы и широты. Нетрудно указать, где был Кампанелла, когда покинул Рим и направился во Флоренцию, насколько уклонялся к востоку, где поднимался в гору, где спускался в долину. Путь, которым он следовал, давно проложен римлянами, прочертить его по карте легко.

Но как определить положение Кампанеллы в пространстве историческом?

Он родился в 1568 году. Был, значит, на три года старше Кеплера, на четыре — моложе Галилея и Шекспира, то есть принадлежал к поколению блистательному. О Шекспире он, по-видимому, никогда не узнал. О Кеплере знал бесспорно. С Галилеем ему было суждено познакомиться.

Путник, который идет из Рима во Флоренцию, уже не помнит, когда впервые услышал устрашающее слово «турки». В Стило и Стиньяно турками пугали детей. Джованни с детства впитал страх перед турками, которые давно заставляют трепетать все

южное побережье Италии, пожалуй, всю страну. Впрочем, когда ему было три года, Венецианская республика и Испания, свирепо враждовавшие, отложили на время распри и в морском сражении при Лепанто разбили турецкий флот. Мальчик запомнил ликующий благовест, позже часто слышал рассказы о славной победе. Не так-то много в годы его детства и юности выигрывала Италия боев.

Турок разбили. Но верна старая пословица: «Нет мира под оливами». Сладок виноград его родины, но горька ее судьба. Уже сколько веков идут на ее земле войны, то междоусобные, то с внешними врагами — Испанией, Францией, Германией. Надменные предводители, свои и чужеземные, на могучих конях, способных вынести седока, закованного в латы, военачальники с жестокими, властными лицами, орлиными носами, тяжелыми подбородками, презрительно-холодными взглядами, скачут во главе своих отрядов по итальянской земле. Дуновение страха предшествует им. Позади остается разорение, опустошенные житницы, ограбленные города, опозоренные девушки и женщины, кровь. Предводители то объединяются друг с другом, то воюют между собой. Когда одного из них, кондотьера-итальянца, упрекнули, что он не думает об Италии, он ответил: «А где она?». Но и за пределами Италии, по ту сторону беловершинных Альп, нет мира — Испания, Германия, Франция в постоянной вражде между собой. А в Германии и Франции тоже нет ни единства, ни мира. Италия для них — добыча, которую они никак не могут поделить.

В Европе все время — война. Неслыханно поднялись в цене мушкеты, аркебузы, пищали, пушки. А спрос на кольчуги, шлемы и панцири поколебался. С тех пор, как изобретен порох, они перестали быть надежной защитой. Полководцы размышляют, как перестроить тактику бронированной конницы, — ох, нелегко это! Черт бы побрал Бертольда Шварца — немецкого монаха, который изобрел порох! Теперь князь, у которого нет артиллерии, уже не князь! Пушки кусаются. А к ним еще нужны повозки, да тягловые кони, да ядра, но недаром говорится: Si vis pacem, para bellum — «Хочешь мира, готовься к войне». Вот и готовятся.

Жизнь Томмазо Кампанеллы пришлась на время беспрерывных войн, которые все меньше походят на прежние. В них главное — не звон мечей, а свист пуль и ядер, грохот взрывов.

Итальянские купцы плачутся на тяжелые времена. Они еще не пришли в себя после 1499 года. Никто не ждал добра от смены столетий. Но кто мог знать, что в канун нового года, в канун нового века из далекой Португалии придет известие:

португальские мореходы доставили в Европу на своих кораблях драгоценный груз пряностей. Проницательный банкир Джироламо Приули горестно записал в дневнике: «Когда в Венецию пришло это известие, оно вызвало большую досаду во всем городе… И сенаторы признали, что эта весть — худшее, что Венецианская республика когда-либо могла испытать, кроме потери самой свободы». Как же было не сокрушаться венецианским сенаторам и купцам! Веками Италия богатела, торгуя с Востоком. Совсем недавно турки захватили Константинополь и заперли для итальянцев выход на Восток. Теперь португальцы нанесли смертельный удар этой торговле. То было почти за семьдесят лет до рождения Кампанеллы. Но корабли с пряностями, причалившие в португальских портах, когда его и на свете не было, во многом определили его судьбу, как и судьбу многих его современников.

А еще на нее наложило отпечаток вторжение французов. Сиятельный миланский герцог враждовал с неаполитанским королем и не мог с ним управиться своими силами, хотя поначалу очень бахвалился. В 1494 году он попросил помощи французского короля. Тот охотно согласился. Французские отряды, как нож сквозь масло, прошли сквозь Италию, заняли Неаполитанское королевство и уже не пожелали оттуда уходить. Они принесли с собой бесчинства, поборы, грабежи, презрение к местным жителям и сифилис.

Испанцы, давно имевшие владения в Италии, взревновав, начали воевать с французами, сильно их потеснили, но французам удалось зацепиться на севере. Миланское герцогство попало под их власть, а испанцы стали хозяйничать там, откуда прогнали французов. Борьба испанцев с французами продолжалась долго, пока французов не прогнали совсем. Господство испанцев стало еще прочнее. Горькими воспоминаниями запечатлелись эти годы в памяти народа. Томмазо вырастал, слыша рассказы об этих страшных делах. Он впитывал в себя ненависть к захватчикам и презрение к своим властителям, которые, не умея договориться, накликали на страну такую беду.

Место Кампанеллы в пространстве историческом определялось не только тем, что происходило на его родине.

Лет за пятьдесят до его рождения монах Мартин Лютер, вернувшись в Германию из Рима, потрясенный симонией, процветавшей в этом городе, небрежением клириков к своим обязанностям, роскошью папского двора, узнав, на что идут деньги, которые собирают с верующих, как плату за отпущение грехов, выступил против наместника Христа на земле. На дверь

церкви в Виттенберге прибил он тезисы против торговли индульгенциями и других отступлений от евангельских заветов. Грозно прозвучал стук его молотка — то стучалось в мир новое время!

В Германии началась эпоха Реформации и Крестьянской войны. Пламя перекинулось в соседние страны — в Нидерланды, Францию, Чехию. Началось великое брожение, смуты, раскол, восстания.

В беспокойный мир пришел Кампанелла. В страшное время. Лет за двадцать до его рождения императоры Габсбурги и папы, сменявшие друг друга на престоле, начали поход против перемен — контрреформацию. В 1545 открылся Тридентский собор. Долгие годы заседал он. Его решения должны были сковать все попытки обновить религию, задушить свободную мысль. С первых лет своего послушничества, а потом и монашества Кампанелла слышал ссылки на решения этого собора, на его запреты и анафемствования. Вот и тому мудрецу, Телезию, коего почитал он своим духовным отцом, все время поминали, что его мысли не согласны с решениями Тридентского собора. Великую власть обрели иезуиты, орден которых был признан папой Павлом III в 1540 году. Неутомимо выискивала в книгах всяческое вольномыслие инквизиция. Вначале на кострах горели книги, потом стали гореть люди.

Горьким было время, когда Кампанелла вступил в жизнь, тяжек груз, который взвалила ему на плечи история. Но ни своего времени, ни своей ноши человек не выбирает.

Шел путник из Рима, из Вечного города, где по-прежнему торговали отпущением грехов, по-прежнему трудились инквизиторы и цензоры-квалификаторы, шел из Вечного города, оказавшегося негостеприимным для него, во Флоренцию. Как она его встретит?

Он ждал от нее многого. Все самое славное, что связано с эпохой, гордо названной — эпоха Возрождения, происходило здесь. Город был издавна знаменит учеными, которые вслед за Петраркой звались гуманистами — от латинского слова humanus — «человеческий», ибо они положили себе целью изучать все, что связано с человеком. Во Флоренции была жива память о Леонардо Бруни, знатоке латыни и греческого. Составляя «Историю Флоренции», он стремился следовать урокам Тита Ливия. В его повествовании не было чудес, зато были приведены документы. Кампанелла чтил его сочинения. Еще более дорого ему имя Лоренцо Валлы. Тот сумел доказать, что в латинском переводе Библии, которым пользуется церковь, полно ошибок. Он отважился утверждать, что документ, которым папы

обосновывают свое право на светские владения, на Рим и Папскую область, — грубая фальшивка. А о папах он говорил, что они превратились из пастырей в разбойников и волков. Валла не только обличал. Прекрасны, светлы, радостны были его слова о том, что жизнь человеческая должна быть не страданием, но счастьем. Во Флоренции трудился знаток и толкователь Платона Марсилио Фичино и великий ум, поистине универсальный гений — Пико делла Мирандола. Он сильнее всех занимал воображение Кампанеллы. Ведь ему принадлежала «Речь о достоинстве человека». Он утверждал, что хотя человек может пасть до скотской низости, он способен подняться до божества. Все пути открыты ему. Семена всех знаний заложены в нем.

Правда, мудрые люди эти давно покоятся в земле, но Кампанелла надеялся, что во Флоренции жив их дух.

Он знал о Флоренции и другое. Когда-то на одной из ее площадей полыхал костер, на котором сожгли доминиканца Савонаролу. Он осмелился грозными проповедями поднять народ на восстание против тирании Пьеро Медичи, который постоянно озирался на испанцев, действовал по их указке, ел из их рук. Савонарола гремел в своих проповедях не только против Медичи, но против его придворных, против его художников, против роскоши, против картин и скульптур, против нарядных платьев, против легкомыслия, против любви. Призыв его звучал: «Народ и свобода!» Прекрасный призыв, что и говорить… но при нем в огонь летели книги и картины наряды и музыкальные инструменты.

Суровой, мрачной, насупившейся, аскетически скудной стала в ту пору Флоренция. И когда Савонаролу сжигали на костре на том самом месте, где он сжигал все, объявленное сатанинским соблазном и пагубной роскошью, были люди не только ужаснувшиеся этому, но вздохнувшие с облегчением. Раз услышав историю Савонаролы, Кампанелла больше никогда ее не забывал.

Флоренцией правил Великий герцог Тосканский — Фернандо I Медичи. Блистательное время Медичи — Козимо и Лоренцо — давно миновало. После восстания Савонаролы они уже не оправились. Во Флоренцию их вернули чужеземные войска — испанцы.

Европа перестала считаться с флорентийскими Медичи. Тем больше им хотелось походить на великих предков. Еще пышнее стал церемониал во дворце, еще больше челяди и придворных окружало властителя. Еще громогласнее, бессовестнее и медоречивее стали льстецы.

Когда Медичи были на вершине могущества, они могли позволить себе простоту поведения. Лоренцо Медичи, прозванный

Великолепным, писал стихи. И они заслуживали похвалы не потому, что были написаны повелителем, а потому, что были хороши. Он мог запросто прийти в мастерскую ваятеля или живописца, и ему было что сказать художнику. Он разбирался в искусствах. Искательных придворных, которые, состязаясь в хвалах, нарекли его Великолепным, он презирал. Но от звучного прозвания не отказался.

Фернандо I тоже хотел быть великолепным, ах как хотел: обдуман был его наряд, взвешено советчиками каждое слово, произнесенное его устами. Торжественными титулами сопровождалось его имя. Но у всего вкус — как у водянистого вина в неудачные годы. Как ни назови его, оно — обман.

Странно Кампанелле после пыльной дороги шагать по мозаичным мраморным полам Палаццо Медичи. Дом дель Туфо казался Кампанелле дворцом. Теперь он видит, что такое настоящий дворец. Он не замечает, что кое-где полы выщерблены: герцогская казна пустовата.

Боже, сколько тут слуг и прислужников! Что они делают? Ему объяснили церемониал приема: сколько шагов пройти, на каком расстоянии от герцога остановиться, когда начать свою смиренную речь, сколько времени она может длиться. Боже избави утомить герцога!

На изысканнейшей латыни произнес Кампанелла приветствие, назвав Фернандо сверхчеловеческим превосходительством, помянул целокупность его подвигов и доблестей, сказал о его знаменитой державе, славной во всем подлунном мире. Речь льстеца, но что поделаешь! Герцог внимал ей, прикрыв глаза. Странная мысль явилась у Кампанеллы: неужто тому не противно это слушать? Он призвал благословение неба великому дому и его великодушному владельцу. Засим смиреннейше попросил у герцога дозволения посвятить ему свой трактат «О смысле вещей». Сказал, что почел бы за величайшее счастье, если бы герцог дозволил ему преподавать в славном Пизанском университете, который процветает потому, что находится во владениях его высочества. Речь закончена. Какая горечь остается на губах, вынужденных к сладкой лести!

Хотя герцог не шелохнулся и выражение его лица — привычно надменное — не изменилось, придворные нашли, что пришелец выслушан весьма снисходительно. Фернандо ответил кратко и уклончиво. Посвящение он примет. Возможно. Кампанелла узнает об этом в надлежащее время. Чего опасается, что хочет обдумать герцог? Владетельным лицам не задают вопросов. Кампанелла молча склонил голову. Герцог, по-прежнему не глядя на посетителя в поношенном и неумело

чиненном монашеском одеянии, распорядился выдать Кампанелле некую сумму. Кампанелле она показалась большой — у него никогда не было денег. Придворные знали — она ничтожна, но громко восхитились щедростью герцога. Секретарь забегал пером по бумаге. Казначей открыл шкатулку. Но о преподавании в Пизанском университете — ни слова. Повторить просьбу? Сказать, что главнее для него ничего нет? Невозможно. Аудиенция окончена. Кампанелла покидает дворцовый зал пятясь. Поворачиваться к герцогу спиной нельзя.

Полученные деньги кстати. Жить в монастыре он не хочет. Постоялый двор не место для монаха. Ему нужна комнатка в бедном доме у нелюбопытных хозяев.

Уходя из дворца, Кампанелла размышлял: что делает человека правителем, его желание — законом, каждое его слово — приказом? Божья воля? Предначертание звезд? Слепая судьба? И каким должен быть истинный правитель? Прежде всего мудрецом. Мудрецом Фернандо I Кампанелле не показался.

Зато Флоренция покорила Кампанеллу. Что за город! Прекраснее он не видывал! Больше всего полюбил он на рассвете и закате стоять на берегу Арно, глядеть через реку на голубые утром, синие вечером Фьезоланские холмы. Из-за реки доносился медовый запах осенних садов. На мосту через Арно спозаранку начиналась хлопотливая жизнь. Со скрипом открывались тяжелые двери и ставни мастерских и лавчонок. Издавна на мосту обосновались златокузнецы и ювелиры. Сипели мехи, раздувая горны, тянуло горьким дымком, дробно звучали молотки.

В Палаццо дель Подеста он постоял перед портретом Данте. Говорят, что его написал Джотто. Данте изображен в профиль. На нем строгое платье. Углы губ горестно опущены. Лицо замкнуто. Кампанелла подумал: догадался бы он, не зная, что здесь изображен Данте? Наверное, нет. Просто очень печальный человек средних лет. Но уходить от портрета не хотелось. В городе Данте, хотя он и был немилостив к своему великому сыну, надо совершить нечто достойное этого великого мудреца и поэта.

Перед зданием Синьории с башней, не похожей ни на одну другую, виденную им прежде, Кампанелла вглядывался в статую Давида работы Микеланджело Буонарроти, знаменитого ваятеля, зодчего, художника и поэта. Кампанелла наслышан о его бесконечно долгой, бурной и славной жизни, сонеты его читал и чтил. Почему он сделал юного Давида гигантом? Значит, только гигант может сразить великана Голиафа? Голиафов много, но где Давиды?

В капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине его взор привлекла фреска, на которой было изображено, как апостол

Петр делит имущество общины среди верующих. Говорят, фреска написана очень давно, чуть не два века назад. Сколько людей каждый день смотрит на нее с тех пор, но многие ли вняли ее призыву? Что нужно сделать, чтобы люди отворили свой слух тому, кто призывает к бескорыстию и справедливости?

Каждый день Кампанелла, наслаждаясь предвкушением, спешил в Палатинскую библиотеку. На прекрасной лестнице он снова вспоминал Микеланджело, построившего эту лестницу, беломраморную, плавную. Кампанелле работалось здесь, как нигде. Эта библиотека — чудо света! Даже у царя египетского не было такой!

Дивный город и библиотека помогли ему забыть год в темнице. Сердце переполняли новые надежды. Представлялась кафедра в Пизанском университете, внемлющие ему студенты. Он призовет их превыше всего чтить истину! На место в университете он рассчитывал твердо. Ведь герцог не отказал ему.

Молодой философ был простодушен. Это случается с философами. Не догадывался, что при дворе у каждого слова двойное дно и тройной смысл. Сразу после аудиенции герцог повелел придворным ученым наивнимательнейше изучить трактат, который пришлый монах, как его бишь, вознамерился посвятить ему. Рекомендательные письма рекомендательными письмами, но все надлежит проверить. Ученые постарались угадать, какого ответа ждет герцог. Прямых указаний не воспоследовало. Затем герцог вызвал доверенное лицо и поручил узнать, на каком счету брат Томмазо в доминиканском ордене и римской курии. Пока Кампанелла строил смелые планы, канцелярии ордена и курии составляли ответ герцогу.

Через несколько дней в одном из малых и непарадных помещений дворца состоялась встреча Кампанеллы с придворными учеными. Бархатные береты и мантии философов, тяжелые рясы богословов, звучные титулы, тихие голоса, замораживающий холод. Если вы преклонного возраста, если вы не одно десятилетие ступаете по стезе науки, может ли вас обрадовать слух о появлении молодого незнакомца, коему предшествует слава, рассказы о неслыханной учености, о могучей памяти? Все это не расположило коллег в его пользу. Кампанелла решил быть в беседе с ними крайне осторожным. «Ученейшие и блистательнейшие мужи, почтеннейшие доктора», как назвал он их в приветствии, сделали вид, что восхищены и его появлением и его мыслями. Он услышал их похвалы, загорелся, забыл осторожность. И вот уже им сказаны слова, которые невозможно подтвердить ссылкой на авторитеты. И он снова прославляет Телезия и идет в выводах куда дальше. Прямой дорогой к ереси!

И вот, спрошенный об отношении к Аристотелю, он резко отзывается о его слепых последователях и высмеивает их темный слог:

— Отвечая на любой вопрос, они расплываются в пустых разглагольствованиях. Они говорят так: «Само по себе и акцидентально, в потенции или актуально, в аспекте логическом или физическом, во-первых, потенциально, а во-вторых, формально и виртуально».

Придворные ученые переглянулись. Похоже, пришелец издевается над ними? Каждый из них именно так говорит и будет говорить. Главный проверщик, глядя поверх Кампанеллы, проскрипел:

— Довольно! Вам не подобает так говорить, нам не подобает вас слушать. Наука требует тончайших дефиниций, язык ее должен быть изощрен и для непосвященных недоступен.

Собеседники расстались холодно.

Высокоученые советчики почтительнейше, но настойчиво рекомендовали герцогу на посвящение ему трактата не соглашаться. Нельзя покровительствовать опасному вольнодумцу. Вскоре подоспели ответы из Рима. Смысл их был ясен: Кампанелла и в римской курии и в своем ордене на дурном счету. Приближать его ко двору не стоит. Кафедру в университете ему ни в коем случае доверять нельзя.

Долго ждал Кампанелла новой аудиенции. Наконец через младшего из секретарей, который принял его в прихожей, где, кроме слуг, никого не было, ему было сообщено: посвящение отклоняется, вакансии в университете нет. Ни слова о дальнейшем пребывании во Флоренции, ни намека на новую денежную поддержку. Секретарь говорил сухо, пренебрежительно, ясно давая понять, что прием, недавно оказанный Кампанелле во дворце, — ничего не значащая случайность.

Кампанелла слишком горд, чтобы выяснять причину такой перемены. Слишком оскорблен, чтобы снова просить. Последний раз прошел он по городу, очаровавшему его, последний раз посетил собор Санта-Мария дель Фьоре, прекраснее которого не видывал, последний раз полюбовался на Фьезоланские холмы, и — это горше всего — последний раз посетил Палатинскую библиотеку. Его отринул Рим. Его отринула Флоренция. Куда теперь, Кампанелла?

Глава XXIV

В Падую, дальше на север. Его влекла слава тамошнего университета, еще более славного, чем Пизанский. Снова в далекий путь… Складывай, Кампанелла, книги в дорожную суму, собирай рукописи, ступай! Может быть, это неплохо. Прекрасно трудиться в библиотеке, прекрасно читать лекции, но повидать столько земель и городов — это тоже благо. Это тоже наука.

Дорога в Падую лежит через Болонью. Сюда Кампанелла прибрел усталым, попросил приюта в доминиканском монастыре. Еще одна обитель. Порядки, к которым он привык с детства. Но Кампанелла уже не подвластен им. Ему просто нужна передышка. Однажды, войдя в свою келью, он увидел: все его рукописи похищены. Жаловаться? Бессмысленно! Воззвать о помощи? К кому? Дрожь проходит по телу, когда подумаешь, в чьих руках сейчас его рукописи.

Болонья стала ему отвратительна. Да и опасно тут оставаться лишний час. Ограбленный философ спешно покинул город. Наконец — Падуя.

Она встретила путника высоко вознесенной на постамент конной статуей кондотьера Гаттамелаты. Сверху вниз взирало на прохожих холодное тонкогубое лицо, крепко были сжаты поводья во властных руках, непомерно длинен грозный меч, остры шпоры, которыми всадник был готов бросить коня в галоп, топча все на своем пути. Такого воинственного памятника Кампанелла прежде не видел.

Почти всю Италию прошагал он с тех пор, как ушел из дома. Зима в Падуе холоднее, чем у него на родине. Ветер насквозь пронизывает монашеское облачение. На душе тяжело. Кампанелла не может пережить утраты рукописей. Не может подавить тревогу, вызванную их исчезновением.

Падуя входила в состав Венецианской республики.

Республика была еще знаменитой, гордой, надменной, богатой. Богатой? Вода бесчисленных каналов подмывала фундаменты венецианских зданий, мировые события подтачивали устои ее существования. Когда-то она держала в своих руках большую часть европейской торговли. Теперь уже давно пути этой торговли переменились: корабли, отплывающие из обеих Индий — Восточной и той, что открыта в Западном полушарии, плывут не в Венецию. Мадрид, Лиссабон, Лондон, Антверпен — вот их порты назначения. Незаметно ветшают торговые подворья Венеции. И уже не столь пышны посольства, которые прибывают во Дворец дожей из других стран.

Венеция, несмотря на то, что во Дворце дожей давно есть известная всему городу щель для доносов и страшны темницы в том же дворце, гордится своим просвещенным свободомыслием. Но и от него уже почти ничего не осталось. Горше всего ее правителям, что, хотя у Венеции есть свои инквизиторы, свои цензоры-квалификаторы, Рим все больше вмешивается в ее дела. Вот и сейчас решительно требует выдачи еретика Бруно, будто Венеция сама не может решить, как быть с ним, схваченным на ее земле.

Великие художники, еще недавно составлявшие славу города, умерли. Уже нет ни Тициана, ни Веронезе. Кто придет их сменить? Мрачны знаменитые венецианские издатели: как продолжать свое дело в городе, где с некоторых пор столько надзирающих, предписывающих, запрещающих? «Не та стала Венеция!» — говорят ее правители. «Не та стала Венеция!» — сетуют ее купцы. «Не та стала Венеция!» — жалуются приезжие.

Ну, а Падуя светится отраженным светом. И тоже не та. Кампанелла разобрался во всем этом не сразу.

В чужом городе радостна встреча с добрым знакомым. Джамбаттиста делла Порта уже некоторое время живет в Падуе. Он сильно постарел. Встретил Кампанеллу как желанного друга, но говорил с оглядкой. Напуган! В Венецианской республике усилилось влияние инквизиции. Джордано Бруно все еще в тюрьме. Друзья не в силах помочь ему. Делла Порта удручен. Его привлекла в Падую близость Венеции с ее прославленными типографщиками. Он хотел, чтобы они издали его труды. Однако в Венеции высшая цензурная власть с некоторых пор принадлежит инквизиции.

Дрожащим от обиды голосом делла Порта пересказал Кампанелле ответ, который он получил, обратившись в Святую Службу за разрешением напечатать свои сочинения.

— Нам известно, что вы пишете не только философские книги, но и комедии, — учтиво сказали ему. — Рекомендуется придерживаться впредь этого жанра.

— А мои ученые труды?

— Станете упорствовать, вас ждут штраф и отлучение от церкви.

Кампанелла помрачнел. Угроза отлучения связывает его единомышленников по рукам и ногам.

Отлученный от церкви не смеет присутствовать на богослужении. Его не допускают к исповеди. Ему не дают отпущения грехов. Никто не даст ему братского целования, не назовет братом. Верные церкви не поддерживают с ним ни устного, ни письменного общения. Запрещается молиться вместе

с ним, трапезовать вместе с ним, спать с ним под одной крышей. Он не может быть истцом по собственному делу, не смеет свидетельствовать в судах, вступать в сделки, составлять завещание. После смерти тело его не может быть погребено в освященной земле. При жизни он подобен убиенному, после смерти он — падаль. Вот что скрывается за грозными словами: «торжественное отлучение». Отлученный — изгой. Его сторонятся, как зачумленного. Все это страшно. Однако все это происходит вокруг и вне отлученного. А что происходит с ним самим? Неужто приговор об отлучении означает гибель души? Быть не может, чтобы бог подчинялся решению земной власти! Что происходит с разумным, мыслящим человеком, которого отлучают от церкви? Что испытывает он? Что меняется в его жизни? Кампанеллу не страшила потеря судебных прав. Ему безразлично, где его похоронят. Но может ли он требовать того же от других? Вот делла Порта умный, просвещенный, а угроза отлучения убила его.

— Мы станем свободными лишь в тот день, когда перестанем, бояться отлучения, — сказал Кампанелла другу, — когда мы поймем: оно ничего не значит. Оно не властно над нами.

С болью душевной увидел он, как испугался старый делла Порта. Лицо его помертвело.

— Может быть, настанут лучшие времена, — робко проговорил он. — Станем молиться об этом.

Блестящий ум! Но не свободен от страха. Угрозой отлучения ему можно заткнуть рот. Он еще жив, но уже умирает.

Кампанелла не мог долго предаваться печальным мыслям. Падуя заполнена студентами. Кампанеллу влекло к ним. Многие из них до Падуи учились в других университетах. Из своих странствий они приносили вести из университетов Парижа, Страсбурга, Саламанки, Лейпцига, Гейдельберга, Праги. Студенты приняли Кампанеллу как своего. Он отваживался иногда появиться в их компании, сняв монашеское одеяние. Какое блаженство! Какое пренебрежение опасностью! А что же, век живи и не топни? Он не согласен на это! Ему весело со студентами. Они умеют постоять за себя, яростно отстаивают университетские вольности, легко покидают один университет и переходят в другой, если до них доходит слух, что там лучше. Они поют:

Мне в путь пора, мне в путь пора,
В лицо мне ветер веет,
Возьму я посох школяра
И плащ, что плохо греет.
Хоть хлеба мало у меня,

А денег вовсе нету,
Своей судьбины не кляня,
Пойду бродить по свету.
Иду я весело туда,
Куда ведет дорога,
И мне сдается без труда
Любая недотрога!

Это не только про странствующих студентов. С некоторых пор это и про него. Один из непреложнейших заветов монашества им нарушен. Спасибо студентам, научившим его, где человек бедный, но молодой и пылкий, может найти подругу, которая ни на что, кроме любви, не рассчитывает. Были веселые похождения, было приятельство со студентами — дружбой его не назовешь, слишком шумны и беспечны новые знакомые.

Кампанелла познакомился в Падуе с Галилео Галилеем. Галилей на четыре года старше Кампанеллы. Он начинал с медицины, но увлекся механикой и математикой, первые уроки которых ему поначалу приходилось брать втайне, дабы не вызвать отцовского гнева. Но он добился своего. Ему было всего двадцать два года, когда его первые ученые труды, еще не напечатанные, стали известными среди знатоков. Ему было двадцать пять, когда он стал профессором математики в Пизе, правда, на нищенском жалованье. Галилей бедствовал. Потом он переехал в Падую. Здесь он занял кафедру математики, получил наконец хорошее жалованье и скоро прославился. Он занимался математикой, механикой, астрономией, размышлял о первопричине движения, наблюдал движения небесных светил. Был тонким знатоком поэзии и любителем музыки. Нет, еще не совсем закатилось солнце эпохи Возрождения, если на его закате рождаются такие универсальные гении. Галилей, несмотря на молодость столь много успевший, знаменитый, заинтересовался Кампанеллой, его притягивал полумонах-полустудент с грубым, простонародным лицом. Он любил учить, а Кампанелла — учиться. Знаменитый ученый и почти безвестный странствующий, чтобы не сказать беглый, монах сблизились.

Но больше всего подружился Кампанелла с двумя неразлучниками — Джамбаттистой Кларио и Оттавио Лонго да Барлеттой. Кларио — известный медик. Он много путешествовал по Европе, одно время был лейб-медиком эрцгерцогини Марии Габсбургской, потом вернулся в Италию, поселился в Падуе, больше прежнего увлекся науками. Кларио носил круглую шапку и плащ, как принято у медиков в немецких землях, но из-под

шапки выбивались длинные ухоженные волосы, а под плащом виднелась тонкая куртка, кружевная рубашка, как подобает итальянскому «джентильуомо» — человеку благородному, щеголю. У него были сильные ловкие пальцы. Разговаривая, Кларио постоянно вязал узелки на льняных нитках — упражнение хирурга. Знакомство перешло в приязнь. Когда Кларио вручили диплом доктора Падуанского университета, он пригласил Кампанеллу в свидетели. Тот явился на торжественную церемонию в одеянии студента. «Друзья моих друзей — мои друзья». Следуя этой старой поговорке, Кампанелла подружился с Лонго — постоянным спутником Кларио. Оттавио Лонго был весел, учтив, обходителен. Светлая бородка опушала тонкое лицо. Он походил на молодых людей с портретов Тициана. Знал это и старался подчеркнуть такое сходство.

Жить приходилось всяко — на доброхотные даяния, уроками, если подворачивались, перепиской.

Но главное — ученые занятия. Кампанелла трудился неутомимо. Он восстановил по памяти украденные рукописи — адская работа! — начал писать «Новую физиологию», переделал старое сочинение «О смысле вещей», принялся за книгу с дерзким названием: «Апология Телезия».

Когда только он все это успевал? Студенты проводили долгие часы за трапезами, в болтовне, за игрой в кости и карты, подолгу сидели на нагретых солнцем камнях, глядели на прохожих, дремали, сплетничали. Готовый часами толковать о философских проблемах, он томился, если беседа шла о пустяках. Разговоры, как стричь волосы, носить бороду или не носить, споры о покрое куртки и ширине штанов казались ему чепухой. Столько книг надобно прочитать и столько написать, столько загадок разгадать, столько заблуждений оспорить! Каждый день следует жить так, будто он — последний. Если день не родил новой мысли и новой строки, он убит. Геракл не позволял себе передышек.

Кампанелла жил в обители святого Августина. Генерал доминиканского ордена, второе лицо после папы, объезжая свою округу, соблаговолил остановиться в ее стенах. Молодые монахи, имевшие основания не любить орденского генерала, ворвались к нему в келью и оскорбили его. Трясясь от страха, настоятель послал за стражниками. Схватили и невиновных. Кампанелла снова оказался за решеткой.

Он знал зачинщиков происшествия, но не назвал их, чтобы обелить себя. Быть наушником гнусно! Кампанелла твердил одно и то же. Спал. Ничего не видел. Ничего не слышал. Ничего не знает. Это подтвердили соседи по келье. После кратковременного

заключения его отпустили. Больше он в монастырь ни ногой.

Кампанелла решил снять монашеское одеяние. Никому из орденского начальства о том не говоря, он записался в университет как испанский студент, стал посещать лекции. А поселился в одном из самых бедных домов города Падуя. Ему нужен стол, табурет, светильник. Спать можно и на полу. Можно обитать в бочке, как Диоген, а в голове держать Вселенную. Но размышляя о Вселенной, он не забывал Италии. Он вспоминал Дионисия и лучше, чем прежде, понимал друга. Того терзало, что их родина, великая страна, превращена в лоскутное одеяло. За время странствий Кампанелла узнал, как живется в разных ее землях. Невеселыми были эти наблюдения. Страна расколота, разорвана, растерзана. Части ее враждуют между собой, как возненавидевшие друг друга дети одной матери. На севере — Венецианская республика, в Средней Италии — Тосканское герцогство. Земли от Равенны на севере до Сполето на юге — владения папы. На самом юге — Неаполитанское королевство, где уже много лет господствуют испанцы. А еще есть городские республики, самостоятельные сеньории, маркизаты. Всюду свои властители, свои законы, свои пошлины, свои разбойники. И очень схожие беды. Всего больнее думать о его родной Калабрии. На ее земле хозяйничают испанцы; на ее берега нападают пираты. Край беднее и беззащитнее всех других итальянских земель. Простым людям нет житья от междоусобиц провинциальных баронов и знатных дворянских родов. В своих владениях господа чинят неправый суд и скорую расправу. В Неаполе при дворе все важные посты захватила испанская знать. Что ей до судьбы Калабрии! А местных уроженцев к управлению Калабрией не допускают.

В тесной комнате за шатким столом, заваленным книгами и рукописями, с рассвета и до тех пор, покуда в чадном светильнике есть масло, трудится человек, который задумал переделать жизнь. Молодой ученый, живущий в жалкой лачуге среди падуанской бедноты, бедный последней степенью бедности, автор одной-единственной напечатанной и многих ненапечатанных книг, подозреваемый в ереси, пишет «Речи к итальянским государям». Простодушно верит: если привести государям разумные доводы, они согласятся покончить с распрями, объединят силы, возродят Италию как единое государство. Кто возглавит его? Кто, как не наместник Христа на земле — папа? Пусть станет председателем итальянского выборного сената из самых мудрых, самых добродетельных, самых бескорыстных мужей. Что возразишь против столь прекрасного, разумного плана? Он восстановит государственное

величие и гражданские добродетели Великого Рима. Сколько мыслителей после Кампанеллы будут повторять его ошибку, полагая, что достаточно привести сильным мира сего убедительные доводы, чтобы они вняли им…

Кампанелла пылко прочитал друзьям свое сочинение. Оттавио Лонго скучал. Кларио отозвался с улыбкой:

— Нас вы убедили, Томмазо. Убедите князей и папу!

Легко сказать… Пока что он не может убедить ни одного типографщика, чтобы тот напечатал его трактат.

Скоро стало не до размышлений о том, как издать новое сочинение Кампанеллы. Донесся слух: все сочинения Телезия не то уже запрещены, не то будут запрещены в ближайшее время. И старый трактат Кампанеллы «Философия, доказанная ощущениями», и незавершенная «Апология Телезия» сразу станут еретическими. О печатании не приходится и думать. Хорошо бы не пришлось держать за них ответа. Почему же за них? Ведь «Апология» еще не издана? Да, но наброски к ней похищены в Болонье. Стороной Кампанелла узнал: Конгрегация Индекса занимается и его рукописями. Читать и судить неопубликованные наброски, незавершенные записи, похищенные предательским образом? Какая низость!

Но не обратишься же в Конгрегацию с протестом.

Ужасно знать, что против тебя что-то готовится, и не иметь возможности ничего сделать! Ну что ж! Если он не в силах отвратить нависшую над ним угрозу, он будет продолжать работать. Он не позволит страху овладеть собой.

Глава XXV

Кларио до поздней ночи засиделся у Кампанеллы. В своем дорогом наряде, с ухоженными, чуть подвитыми и надушенными волосами, при всем изысканном благородстве облика, он хорошо чувствовал себя в лачуге, где разило бедностью. На этот раз Кларио принес показать другу сочинение римского ученого Плиния о медицине.

Какие немыслимые советы давал этот человек! Одно его извиняло: он не был медиком сам, а собирал рецепты из чужих рукописей.

Кампанелла полистал трактат Плиния. Лицо его изменилось:

— Ты посмотри, что он пишет! — и он указал на рецепт для лечения плешивости. Не сам рецепт привлек его, а то, почему такое место уделил Плиний сему не столь уж опасному недугу. Лысина портит внешность. Лысый раб падает в цене. Следовательно, надо научиться лечить лысину. Каков негодяй!

Кларио не мог понять, что привело Кампанеллу в гнев.

Вдруг под окнами дома прозвучали тяжелые шаги. Ближе, ближе… В каморке хозяев раздались чужие голоса. Те испуганно проговорили в ответ что-то невнятное.

Кампанелла понял, в чем дело. «Беги!» — успел он сказать другу. Дверь резко распахнулась. Порыв ветра загасил светильник. В лицо ударил сильный свет потайного фонаря. В комнату ввалились, громко топая и гремя оружием, стражники. Кампанеллу и Кларио грубо схватили. *У* Кларио отняли шпагу и кинжал, сорвали с его шеи цепь. Кампанелла попробовал вырваться. Их скрутили обоих. Рукописи и книги запихали в мешок.

На улицах темно. Тихо. По пустынному ночному городу идет зловещая процессия. Впереди стражники с потайными фонарями, по бокам — с дымными факелами. Двое несут мешок с отобранными книгами и бумагами.

Когда подходили к темному зданию, им повстречалась другая процессия, только чуть меньше. В свете факелов Кампанелла увидел — ведут Оттавио Лонго. Узники входили в караульное помещение одновременно. Оттавио рыдал, громко взывая о справедливости.

Наутро город и университет знали: все три друга арестованы Святой Службой. Передавали об этом с оглядкой. Каждый трепетал за себя. Одни шептали: мы всегда знали, что Кампанелла плохо кончит. Слишком дерзко судил обо всем. Теперь и сам пропал, и других погубил. Делла Порта совсем

потерял голову. Пытался заговорить о случившемся с Галилеем: тот такого разговора поддерживать не стал. Среди студентов шли иные речи. Не освободить ли Кампанеллу и его друзей? Дальше разговоров дело не пошло.

Итак, Кампанелла снова в смрадной камере. Крошечное зарешеченное оконце выходит в тесный двор, взгляд упирается в камень. Постели в камере нет. На каменном полу — гнилая солома. Расстели плащ и ложись. По стенам ползают мокрицы. Еда отвратительна. Вода отдает затхлостью. Кампанелла попросил перо, чернила, бумагу. В ответ услышал: «Тебе еще придется много писать!» Попросил Библию — отказ.

Дни сменяются ночами. Его не вызывают на допрос, ему не предъявляют обвинений. На этот раз он не станет перебирать всю свою жизнь, стараясь предугадать вопросы обвинителей. Бессмысленно! Нельзя предусмотреть течение шахматной партии, в которой противник может украсть твоего ферзя, смешать фигуры или ударить тебя доской по голове. А противник не только сильный и хитрый, противник у него бесчестный. Подлое похищение бумаг из его кельи в Болонье и арест — звенья одной цепи.

Страшным усилием воли Кампанелла заставляет себя сохранять спокойствие, старается перебороть бессонницу, бесконечно читает на память любимые стихи. Приказывает себе съедать без остатка отвратительную еду, чтобы не обессилеть к первому допросу. Знать бы точно, в чем его обвиняют!

Ночью Кампанелла проснулся от страшного вопля по соседству. Он вскочил и с бьющимся сердцем стал прислушиваться. Вопль повторился. Ему случалось слышать, как кричат люди, но такого он еще не слыхивал.

«Бьют? Пытают? — с ужасом подумал Кампанелла. — Конечно!» Как он мог сомневаться в том, что здесь пытают… С детства Кампанелла терпелив к боли, если испытывает ее сам. Но чужие страдания для него непереносимы. Что он может сделать под замком, за решеткой? Люди, которые называют себя верными слугами святой церкви, мучают другого человека, вымогая у него признание. Церковь знает об этом. Не просто знает. Благословляет. Церковь, созданная во имя Христа, которого тоже мучили. От вопля, похожего на вой, у него разрывалось сердце. Вначале он метался по каменной клетке, потом стал стучать в дверь, разбил руки в кровь. Никто не отозвался на его стук.

Вопль затих. В коридоре зазвучали шаги и такой шорох, словно по полу тащат тяжелый куль. Кампанелла терзался до утра, силился не вспоминать того, что слышал, не думать о том, что предстоит ему, — не мог. В его ушах звучал звериный вой

пытаемого, кожа покрывалась холодными мурашками. Надо заставить себя думать о другом. Молитва не помогала ему. Если бог-отец собственного сына отдал на муки, на что надеяться Кампанелле? Под утро он принудил себя вспомнить о беседах с Галилеем. Как прекрасен мир ученых размышлений! Почему его мысли заняты не только Вселенной, но и неустройством земной жизни? Но пока не устроена жизнь на Земле, мысли о Вселенной тоже приводят в камеру.

За Кампанеллой пришли. Стражник спросил с гнусной ухмылкой: «Как почивали?»

Кампанеллу ввели в залу, где заседал трибунал. Опытные судьи привыкли к виду людей, предстающих перед ними сломленными. У таких тихий, надтреснутый голос, шаркающая походка, поникшая голова, бегающий взгляд. Реже встречаются другие — те входят бодро, отвечают громко, глядят прямо, высоко подняв голову, распрямив спину. Иногда тот, кто входит в зал суда с видом умирающего, упорствует больше, чем здоровый и сильный. Судей ничем не удивишь. Однако Кампанелла их удивил.

В нем не было признаков ни подавленности, ни гордыни. Он вошел, как мог бы войти в знакомый ему дом. Внимательно оглядел членов трибунала. Приветствия не произнес. Не станет призывать благословение господне на тех, по чьему приказу ночью пытали. Судьи важны и сосредоточенны. Первые же вопросы показали, что они осведомлены о времени его вступления в орден, об именах учителей, о выступлении на диспуте, об епитимьи за гордыню, о книге в защиту Телезия, о ссылке в Альтомонте, о бегстве из монастыря, о книгах, которые он читал в библиотеке Сан-Доменико Маджоре, о фразе об отлучении, об истории его первого ареста, о приговоре, которому он не подчинился и бежал из Неаполя. Знают, но въедливо спрашивают обо всем, повторяя каждый вопрос по нескольку раз, каждый раз чуть по-другому. Сбить они его, что ли, хотят, запутать? Наконец раздается вопрос: «Знаешь ли ты, зачем тебя вызвали сюда?» Вопрос задан в соответствии с наставлениями для инквизиторов — не раскрывать сразу обвиняемому его вины, приложить все усилия, чтобы тот назвал ее сам. Может случиться, он назовет вину большую, чем судьи могут ему вменить.

Кампанелла молча покачал головой.

— Отвечай!

— Не знаю!

Лишь в конце долгого допроса председатель трибунала сказал:

— Ты обвиняешься в том, что ты веришь и учишь не согласно с верованиями и учением нашей святой церкви.

— Такой вины я за собой не признаю! — сказал Кампанелла, стараясь, чтобы его слова прозвучали спокойно. Это было трудно. Слова председателя — формальное обвинение в ереси. Разверзлась пропасть. По ту сторону — вся его прежняя жизнь, по эту — он, обвиняемый в ереси. Удастся ли ему когда-нибудь вернуться в прежнюю жизнь?

Дальше все пошло так, как он предполагал: «Мы хотим, чтобы для твоей же пользы ты сознался сам. Ступай и подумай!»

Первое заключение многому научило Кампанеллу. И едва его ввели в зал трибунала для следующего допроса, он сказал:

— Я все обдумал. Мне сознаваться не в чем.

На этот раз судьи решили не затягивать процедуру. Они изменили тактику.

Кампанелле сразу предъявили все обвинения: он обвиняется в сочинении богохульных стихов о спасителе нашем, Господе Иисусе Христе. Откуда это обвинение? И вдруг блеснула догадка. В разгульной компании студентов, где пили, пели, спорили, появился однажды человек, никому не известный, про которого каждый думал, что его пригласил другой. Незнакомец вел смелые речи, чем угодил студентам, а потом прочитал стихи о Христе. Стихи были плохи. Помнится, Кампанелла повторил эти никудышные строки, высмеивая их. И тут же почувствовал на себе внимательный взгляд незнакомца. Показалось?

Затем его обвинили в том, что он написал гнусную книгу, поносящую три религии, среди них и христианскую. Она называется «О трех обманщиках». Кампанелла утверждал, что о богохульной этой книге речи идут уже давно. Он может доказать, что сие богомерзкое сочинение появилось в свет задолго до того, как он, Кампанелла, родился. Судьи начали допытываться, откуда Кампанелла знает эту книгу, когда читал, с кем говорил о ней.

Далее Кампанелла был обвинен в том, что он разделяет взгляды язычника Демокрита. Кампанелла не стал доказывать судьям, что интерес к Демокриту не преступление — ученый должен знать философов прошлого. Он только сказал, что оспаривал некоторые положения Демокрита и может изложить содержание этого труда. Его и слушать не стали: «Мы не на философском диспуте! Отвечай по существу!»

На этот раз инквизиторы добились своего. Кампанелла вернулся в камеру смятенным. Еретик! Он не мог сосредоточиться ни на одном обвинении. Едва он начинал обдумывать, как опровергнуть одно, в уме возникало другое. Если верить судьям, Кларио и Лонго уже многое рассказали. Кампанелла не хочет

думать о своих друзьях плохо. Он будет исходить из того, что они держатся так же стойко, как он сам.

На одном из следующих допросов Кампанелла с ужасом понял: некоторые показания против него действительно дал Лонго. Его охватило чувство отвращения к человеку, который был смел в речах, казалось, сочувствовал его мыслям, горячо осуждал пороки князей церкви и прочих сильных мира сего. Потом Кампанелла с раскаянием спохватился: может, это именно Лонго пытали той ночью. А он его судит! Сам Кампанелла еще не прошел через пытку и не знает пока, как поведет себя, если его вздернут на дыбу. Он запрещает себе сомневаться в друзьях.

Однако скоро ему стала ясна вся опасность, ему угрожающая. Здесь бессильны доводы разума. Бессмысленны обращения к справедливости. У этой игры свои дьявольские правила. Безоговорочное признание — вот что нужно неправедным судьям.

Строги были порядки в темнице, толсты стены камер, и все-таки Кампанелле удалось связаться с Кларио. Нашелся тюремщик, который не смог противостоять умению Кампанеллы завоевывать людей. У Кларио на воле могущественные заступники. Он как врач оказал большие услуги эрцгерцогине Марии Габсбургской. Она попыталась помочь Кларио, даже письмо папе написала, но потерпела неудачу. И все-таки положение Кларио в темнице было чуточку облегчено, и он воспользовался этим, чтобы упрочить сношения с Кампанеллой. По некоторым признакам обоим друзьям стало ясно, что для них допрос под пыткой — дело решенное, вопрос дней.

Друзьям Кларио, которые оставались на свободе, удалось связаться с узниками и сообщить: они готовят им побег! В самых мрачных тюрьмах бывают светлые дни. Они наступают тогда, когда утверждается вера в людей.

На воле продумали, как казалось, все. Но побег не состоялся. Их выдали. В тюрьме усилили охрану. Кампанеллу и Кларио избили и заковали в кандалы. Попытка побега — повод для новых обвинений. Пытались уйти от справедливейшего из всех мыслимых судов?! Значит, признали себя виновными. Невиновным зачем бежать?

Падуанские инквизиторы готовились закончить следствие, но из Рима пришел приказ: делом троих будет заниматься римская инквизиция.

Глава XXVI

Утром из Падуи, громыхая по камням, медленно выкатила повозка. В повозке сидели Кампанелла, Кларио, Лонго. Хотя их руки и ноги в оковах, повозку конвоировали вооруженные конники. Медленно тянется дорога, плывут перед глазами платаны, дубы, шелковицы. Свежий воздух опьяняет. Под стук подков, под скрип колес они могут говорить. Каждый видел, как изменились его друзья, и понимал, что сам изменился не меньше. Сильнее всех сдал Лонго. Его терзала мысль о признаниях, вырванных у него инквизиторами, он чувствовал себя виноватым перед Кампанеллой и Кларио, попытался сказать что-то и зарыдал. Заключение почти свело его с ума. Кларио не смог скрыть своего презрения к Лонго, а Кампанелле стало жаль слабого. Виноват ли он? Виноват ли человек, не способный выдержать долгого страха? Лонго сломался. Не его надобно осуждать, а тех, кто превратил молодого, сильного, умного, веселого человека в жалкое существо, терзаемое ужасом и раскаянием. Кампанелла не хочет его осуждать. Разве может он поручиться за себя в таком положении? Ведь он испытал лишь ничтожную долю страданий, что уготованы узнику инквизиции…

Тяжко путешествие в оковах под неусыпным наблюдением вооруженной стражи. Но все-таки после душных камер они на воздухе. Их освещает солнце и обдувает ветер. Когда стражники останавливаются, чтобы накормить лошадей, узники могут полежать в тени деревьев. Кандалы на руках и ногах мешают устроиться удобно, руки кажутся отмершими, но все-таки под тобой не холодный пол камеры, а теплая земля. Стражники смотрят сквозь пальцы на то, что иной хозяин, сжалившись над беднягами, наваливает им в миски столько еды, сколько они в тюрьме не то что за целый день — за неделю не съедали.

Целителен вид деревьев, холмов, крестьянских домов, облик самих крестьян, занятых своим делом. В Рим Кампанелла въезжал окрепшим. Борьба предстоит трудная. Кажется, он готов к ней.

Глава XXVII

Грозной громадой возвышается над Тибром Замок Святого Ангела — главная тюрьма инквизиции в Риме. Прохожие стараются обойти ее стороной, а если приходится пройти под ее стенами, незаметно делают из пальцев рожки, которые помогают от бед.

Кампанеллу, Кларио, Лонго поместили в одиночки. Их не расковали. За Кампанеллой и Кларио числилась попытка побега, вот почему с них не сняли кандалы. Почему их не сняли с Лонго? Чтобы не укрепить его надломленную волю. Друзья надеялись, что совместное путешествие пробудило в душе Лонго мужество. Однако, помещенный в Замке Святого Ангела в одиночку, оставленный в кандалах, он снова стал покорно показывать, что Кампанелла читал вслух нечестивые стихи о Христе, а Кларио одобрительно о них отзывался.

Само по себе это показание не так уж страшно, подтвердить его некому, а Кампанелла и Кларио единодушно все отрицали. Немногими правилами связывали себя инквизиторы. Но было такое, которого они старались придерживаться. «Один свидетель — не свидетель!»

Кампанелла и не подозревал, что вся его жизнь занесена на бумагу: случайные слова, встречи с людьми, потерянные записки. Теперь они превратились в улики. Были и другие обвинения, которые прямо перешли из бумаг процесса в Падуе. К ним были присоединены доносы на Кампанеллу, в разное время поступившие орденскому начальству со времен его жизни в Плаканике, Сан-Джорджо, Никастро.

Председательствовал в трибунале комиссарий римской инквизиции отец Альберто Трагальола, весьма важное лицо в Святой Службе, вхожий к папе, уверенный в себе, ждущий еще более высокого поста. У него был аскетический облик и тяжелый взгляд. Даже собратья побаивались его. Римские судьи оказались хитроумнее падуанских. Предмет допроса все время менялся. Кампанелла едва начинал объяснять, почему осмелился на попытку побега, как ему задавали вопрос о его философских взглядах. Он не успевал ответить, почему не может считать грехом интерес к учениям других философов, как ему предъявляли изъятую у него при допросе книгу о гадании. Он пытался ответить, что книги этой решил не читать, увидел с первых страниц — она вздор, как его ошеломляли, спросив, почему в свое время ему не помогло лечение от лихорадки, которое назначил ему знаменитый неаполитанский доктор в

согласии с авторитетами, признанными церковью. Почему он произнес нечестивые слова об отлучении? Кто их ему подсказал?

Все ответы записывались протоколистами. Если Кампанелла затруднялся в поисках ответа, его поторапливали: «Отвечай! Нечего медлить! Правду не обдумывают! Обдумывают ложь!» Если ответ его становился подробным, на него прикрикивали: «Говори короче!»

Он возвращался в камеру измученный долгим допросом, в котором не мог уловить логики. Пытался поставить себя на место инквизиторов: какой смысл имеет то, что они проделывают с ним? Почему им так важно уличить его в ереси? Ему вспомнились слова испанца Игнатия Лойолы — основателя ордена братьев Иисуса: «Ничто так не пагубно для церкви, как отсутствие еретиков». Когда-то слова эти поразили его нелепостью. Теперь ему стало понятно: если нет еретиков, как доказать свою ревность в делах истинной веры?

Исчезнет понятие ереси — и рухнет воздвигнутое на нем огромное здание, погребая под обломками тех, кто соорудил его и поддерживает, — судей-инквизиторов, доносчиков, цензоров-квалификаторов, стражников. Нет ничего страшнее для радетелей истинной веры и тех, кто выдает себя за таковых, чем отсутствие ереси и еретиков.

Ежели еретиков нет, их надо придумывать, обвинять в ереси невиновных, а обвинив, добиваться, чтобы они призвали вину. Нелепый мир!

Иногда Кампанеллу выпускали в тюремный двор. Высокие мрачные стены окружали его, ничего, кроме каменной кладки стен, не было видно отсюда. Ничего, кроме неба и солнца. Но какое счастье созерцать небесную синеву! Делать не несколько шагов, какие отделяют одну стену камеры от другой, а пересекать весь двор! Глядеть на ласточек, пролетающих над тюремным двором! На травинки, пробившиеся между каменными плитами!

Кампанелла надеялся, что однажды он окажется во дворе вместе с Кларио, сможет, хотя бы знаками, показать ему, что знает о его мужестве, подбодрить улыбкой. Но тюремщики ни разу не выпустили на прогулку одновременно обоих друзей. Зато Кампанелла познакомился здесь с неким Франческо Пуччи. Дело Пуччи не имело отношения к его делу, и тюремщики не препятствовали их совместным прогулкам.

Пуччи было пятьдесят три года. Тяжкие испытания превратили его в глубокого старика, согнули спину, убелили сединой. Он ходил с трудом, задыхался, прижимал руку к груди, морщился от боли. Молодость Пуччи провел во Франции и стал там свидетелем Варфоломеевской ночи. С тех пор прошли многие

годы, но забыть резни гугенотов Пуччи не мог. Проникшись доверием к Кампанелле, он рассказал о виденном.

Резня началась с субботы на воскресенье 24 августа 1572 года. На другой день, когда на улицах города еще стояли лужи крови и валялись трупы, когда тянуло дымом и гарью от сожженных домов, торжественный благовест церквей поразил Пуччи. Чудовищное кощунство! Кардинал Карл Лотарингский — это он задумал расправу с гугенотами — отслужил благодарственный молебен и послал папе торжественное поздравление по поводу победы католической церкви.

— Этот день навсегда отвратил меня от католической церкви, — сказал Пуччи Кампанелле.

Что это за церковь, которая благословляет убийства Варфоломеевской ночи и пытки в Замке Святого Ангела? Это звенья проклятой цепи, которой хотят сковать человеческую мысль. Пуччи отрекся от католической церкви. Во что же он верит теперь? Пуччи не скрывал этого. В мире и в душах должны наступить великие перемены, — говорил он, и была пламенная убежденность в его словах. Но произносил их он тихим шепотом, чтобы не привлечь внимания тюремщиков.

— Кометы появляются на небе не случайно, они — знамение! Имеющий очи да видит! Люди должны одуматься! Пусть перестанут задавать друг другу вопрос: «Како веруешь?» и преследовать друг друга за то, что один верует не так, как другой. Пусть объединит всех единая естественная религия!

Пуччи цитировал Апокалипсис, на страницах которого речь идет не только о карах, поражающих людской род, но и о наступлении царства божьего на земле, когда все народы сольются и не будет больше между ними ни вражды, ни войны.

Старый, уставший от жизни и потрясений человек, никому не причинивший зла, у которого нет ничего, кроме слов убеждения, брошенный за свою проповедь в тюрьму, не отказался от веры в прекрасное будущее, не отрекся от своих взглядов. На тюремном дворе, где ноги бесчисленных арестантов вытоптали дорожку в каменных плитах, он счастлив. Счастлив: нашел внимательного слушателя. А Кампанелла готов слушать его часами.

Глава XXVIII

За глухими стенами Замка Святого Ангела в Вечном городе Риме шла своя жизнь.

Паломники со всех концов Европы приходили сюда, чтобы после долгого странствия припасть к его святыням и вымолить отпущение грехов. Отягощенные годами, умудренные опытом седые кардиналы в красных мантиях вершили государственные и церковные дела. В Конгрегации Индекса цензоры-квалификаторы с утра до ночи выискивали ересь в рукописях и книгах, разгадывали иносказания, раскрывали сокровенный смысл написанного, порой такой, который автору и не снился, разглядывали страницы и так, и этак, только что не на просвет. Работа кипела.

По-прежнему в окрестностях Рима было неспокойно от грабителей, и власти ничего не могли с этим поделать. Вели они еще одну малоуспешную войну — с непотребными женщинами: то облагали их несообразно огромной податью, то назначали для их жительства особые кварталы, то вовсе выгоняли за городскую черту. Подобная мера вызывала крайнее недоумение приезжих и паломников, иногда даже волнения. Скоро все возвращалось к прежнему. А дорогих, знаменитых куртизанок, понятно, не беспокоили. Ни для кого не тайна, какие господа — светские и духовные — их навещают.

Римская газета «Аввизи» о засилье разбойников и шлюх в Великом городе не писала. Зато в ней можно было всегда прочитать, какую службу изволил отслужить папа, каких послов принял, что по этому поводу сказал.

Вести почти не проникали в Замок Святого Ангела. Родным и близким узников свиданий не давали, писем не пропускали, разве что удастся подкупить стражника.

И все-таки обитатели Замка Святого Ангела догадывались: на воле происходят некие события. По внезапным переменам в своем положении. Неожиданно в камерах появились кровати и тюфяки. Заключенным дали возможность вымыться. Тем из них, кто сидит в общих камерах, разрешили разговаривать друг с другом. Правда, в разговорах надобно соблюдать осторожность, но о ней и на воле приходится помнить.

Кампанелла догадывался: послабления эти вызваны чем-то, что происходит в Риме, может быть, в мире. Понадобилось, значит, его святейшеству папе Клименту VIII чтобы по Европе разнеслась весть: судьба узников инквизиции смягчена. Его святейшество — великий дипломат. Долгие годы вел

изнурительные и хитроумные переговоры с французским королем Генрихом IV, хоть он гугенот, враг истинной веры, и окончательно примирился с ним, когда Генрих IV вернулся в лоно католической церкви. Король Франции не остался в долгу — помог папе расширить его владения. Его святейшеству приходилось принимать нелегкие решения из-за соперничества двух могущественных монашеских орденов — старинного доминиканского и молодого иезуитского. За богословскими спорами двух орденов скрывалась борьба за влияние. Папа поощрял то одну, то другую сторону, избегая решительных высказываний, благодаря чему прослыл осмотрительным и справедливым. Умел создавать себе славу. Пожелал стать меценатом, покровителем поэзии — увенчал поэта Торквато Тассо лаврами. Пожелал заткнуть рот протестантским писакам, наводнившим Европу сочинениями, в которых они обличали инквизицию, — приказал на время смягчить порядки в ее тюрьмах. Узники Замка Святого Ангела не знали, почему похлебка в их мисках стала гуще, постели удобнее, почему не так свирепы тюремщики, но чувствовали ветерок перемен. Некоторые обрадовались непомерно: наступают новые времена. Может, и освобождение близко!

Таких надежд у Кампанеллы не было. Но и он радовался тому, что теперь не в одиночке, что может вести беседы с другими заключенными. А в Замке Святого Ангела было с кем поговорить. Кроме Пуччи, которого Кампанелла любил слушать, здесь математик Колантонио Стильола. Над ним также тяготело обвинение в ереси. Какую угрозу вере могли представлять его чертежи и вычисления? Кампанелла, считая свои познания в математике недостаточными, жадно внимал рассуждениям Стильолы, когда тот, подобрав щепку, чертил в пыли геометрическую фигуру и показывал, сколь удивительными свойствами обладает она.

Ужасно из мира высоких размышлений Пуччи о новой вере, из мира чистых математических истин, возвещаемых Стильолой, уходить на допрос, рвать липкую паутину, которой его хотят опутать, слушать елейные увещевания и угрозы, опровергать изветы, не зная, кто тебя оговаривает. Кампанелла просит: «Назовите имена тех, кто меня обвиняет!» — «Нельзя, дабы ты не мог отомстить сим достойным людям».

Вернувшись в камеру, Кампанелла иногда думал, что он счастливее своих судей. Он надеялся: наступит день, и он уйдет отсюда. А они останутся. Они прикованы к судейскому столу, обречены всю жизнь измышлять хитроумные вопросы, общаться с презренными доносчиками, распоряжаться палачами, опасаться,

что рано или поздно сами будут обвинены в недостаточном или чрезмерном рвении. Им не дано понять, на какие высоты возносится мысль их узников, когда те беседуют в тюремном дворе или камере. А беседы эти стали еще более возвышенными и волнующими, когда в них стал принимать участие новый узник замка — Джордано Бруно. Рим вырвал его у Венеции. Бруно измучен долгим заключением, но сохранил живой ум, ясную голову, любознательность. О своем процессе он говорить не хотел, но о науках мог рассуждать столько, сколько позволяло время, скупо отмеренное на прогулки. Познакомившись с Кампанеллой, увидев, какой тягой к познанию одержим человек, который мог бы быть его младшим братом или даже сыном, он постепенно увлекся беседами с ним. Тюремный двор, где встречаются и говорят Бруно, Стильола, Кампанелла, Пуччи, — вот поистине Академия.

Однажды Кампанеллу пронзила мысль: сколько людей жаждущих истины, преданных науке, размышляющих о благах рода людского, одновременно оказались в этих стенах! Уж не существует ли роковой тому причины? Мысль эта долго не давала ему покоя. И он создал сонет «В темнице». Он писал, что все, в чьих душах есть искра живого огня, все, кто предан свободе, обречены на мучения.

Мир, в котором происходит такое, ужасен. Но сонет должен быть совершенен. Он шлифовал и оттачивал его, пока не увидел — сонет удался. Каждый, кто прочитает его, задумается: почему тем, кто стремится постичь великие истины, уготован такой путь? И не нужно ли изменить мир, где закон, по которому лучшие попадают в темницу, действует с неумолимостью закона тяготения?

Он испытывал душевный подъем, когда писал свой сонет. Стены тюрьмы не властны над свободным человеческим духом. Он дорого заплатил за эту истину, и никто теперь ее не отнимет!

Словно почувствовав, что воля узника окрепла, инквизиторы решили сломить ее. Кампанелла обладает пылким воображением. Он часто мучается бессонницей. В бессонные ночи узников терзают страхи и посещают кошмары. Все это инквизиторы знали и воспользовались этим. Однажды его снова привели на допрос ночью и после обычных вопросов, на которые он отвечал упорным отрицанием, отправили в камеру пыток.

Пусть подольше разглядывает все, что тут собрано, и представит себе, какие муки ждут упорствующего. Пусть посмотрит на готовые запылать горны, на хищные щипцы, на тиски, на железные башмаки с внутренними шипами, на насосы и мехи. Кампанелла зажмурился, потом заставил себя открыть

глаза. Оттого, что он не станет глядеть на *это, оно* не исчезнет.

Леденела кровь, кожу на голове стягивало, вопль поднимался к горлу. И вдруг неожиданная мысль поразила Кампанеллу: как слабы судьи, если им нужна помощь воды, железа, огня, всех ухищрений механики. Как нужно извратить человеческую природу, чтобы появились мастера, посвящающие свое умение тому, чтобы строить горны, на которых будут раскалять щипцы для человеческой плоти! Да что́ мастера… Должны были найтись ученые, которые эти тиски изобрели, рассчитали, начертили. Среди инструментов мучительства Кампанелла узнал хирургические. Какая мерзость! Превратить инструменты целителя в орудия палача! Кампанелла долго пробыл в камере для пыток, а когда снова предстал перед судьями, помолчал, собираясь с духом, и проговорил:

— Мне признаваться не в чем.

Кларио, подвергнутый тому же устрашению, был столь же тверд.

Альберто Трагальола распорядился пытать обоих. Пытка была назначена умеренная.

— Немножечко пощекочем! — благодушно сказал палач.

Выстоять помогла мысль, что от него зависит судьба Кларио. А выстоит ли Кларио? Выстоял!

Глава XXIX

Замок Святого Ангела, огромную круглую башню, некогда построил римский император Адриан, чтобы она служила ему усыпальницей, величественной, как пирамиды фараонов. Гигантскую гробницу стали называть Замком Святого Ангела, когда она превратилась в крепость. Ее назвали по имени часовни, устроенной в верхней части башни. Предания гласили, что только тот мог считать себя утвердившимся в Вечном городе, кто захватил эту крепость. Не раз под защитой ее стен скрывались папы. И вот уже давно могучая крепость служит тюрьмой.

Башню окружает стена невероятной толщины, сложенная из огромных камней. Ее не продолбишь, под нее не подкопаешься. И думать нечего о побеге. Говорят, между Замком и Ватиканским дворцом есть подземный ход. Прорваться бы к нему, пройти в Ватиканский дворец, припасть к ногам папы, рассказать ему, как именем святой церкви мучают и терзают людей. Несчастные, легковерные люди! Достаточно-де открыть папе правду, и он вступится за них!

Наступил день, когда Кампанеллу снова призвали к судьям. На сей раз допроса не было. С краткой торжественностью ему сказали: разбирательство закончено. Все, что он имеет сказать в свою защиту, он может написать. Ему принесут в камеру бумагу и чернила.

— Ваши преподобия! — заговорил он. Судьи изумленно подняли головы. Здешние узники так скованы страхом, что никто не решается произнести ни слова, если ему не приказывают говорить. А Кампанелла заговорил сильным, спокойным голосом, словно недавно не перенес пытки. Уж не одумался ли он, не собирается ли сделать признание? Это было бы прекрасно! Он их измучил своим упорством.

Кампанелла сказал:

— Я перенес два допроса с пристрастием. Меня пытали. Вы тому свидетели. Мучения не заставили меня оболгать самого себя. Разве это не доказательство невиновности? Могут ли чернила убедить сильнее, чем кровь?

Альберто Трагальола сухо приказал:

— Увести!

И вот Кампанелла снова в камере. Перед ним чернильница и стопа бумаги — не жалкие клочки, которые доставались ему с опасностью, а большие чистые листы. На них можно записать мысли, которые возникли у него во время бесед с Бруно, новые стихи, сочиненные в тюрьме, наброски трактата о том, каким

должно быть государство, чтобы граждане его были счастливы. Увы! Все это останется пока ненаписанным. Кампанелла должен написать на тщательно сосчитанных листах свою защиту.

Он отделывал каждую фразу. Свидетелей, которые подтвердили бы то, что он автор богохульных стихов о Христе, не нашлось. «Один свидетель не свидетель», — вывел он и подчеркнул эти слова. Коротко, сухо, точно написал он опровержение. По одному пункту он выразил свои мысли подробнее. И падуанские инквизиторы и римские инквизиторы упорно расспрашивали его об отношении к Телезию. Кампанелла и не подумал, защищаясь, отрекаться от учителя. Он доказывал, как ошибаются те, кто хулит философию Телезия. Эта часть защиты выглядела, как ученый трактат. Он писал с наслаждением, мгновениями забывая, что пишет для судей. Станут ли инквизиторы вчитываться в его доводы? Не ухудшит ли он своего положения полемикой? Кампанелла отбросил эти опасения и написал о Телезии все, что думал.

Смелый поступок не повлек за собой тяжелых последствий. Труды его учителя, как оказалось, еще не были тогда окончательно включены в Индекс, и судьи Кампанеллы формально не могли поставить ему в вину его воззрения на Телезия.

Наступил день оглашения приговора. Он начинался обычной формулой: «Называем, провозглашаем, объявляем…» Кампанелла не сразу понял смысл длинных витиеватых фраз. Приговор не осуждал его, но и не оправдывал, оставляя под сильнейшим подозрением. Он переставал быть заключенным Замка Святого Ангела, но не смел покинуть Рим. Жить ему надлежало в монастыре святой Сабины, не выходя за его пределы. Следствие будет продолжено!

— Когда пойманную рыбу не могут сразу съесть, ее сажают в садок, — мрачно сказал Кампанелла своим товарищам. — Садок опущен в реку, рыба наслаждается родной водой, только уплыть не может.

Монастырь святой Сабины на Авентинском холме. Он окружен садами. Кампанеллу перевели сюда в мае, когда над холмом веяло ароматом доцветающих апельсиновых деревьев и жасмина. Можно сесть у нагретой солнцем каменной стены, прислониться к ней истерзанным телом и знать: эта стена не тюремная. На лицах людей, которые приходят в монастырь, нет печати, которая лежит на лицах узников. У их кожи другой цвет. Они иначе пахнут. И совсем по-другому говорят.

Едва Кампанелла пришел в себя, он начал работать. Это трудно. Нет необходимых книг, рукописи отобраны и не

возвращены. Не с кем посоветоваться. Монахи не поймут его рассуждений, да и относятся к нему со страхом — обходят его стороной, боятся с ним разговаривать. Чтобы писать научное сочинение, нужно душевное спокойствие. Но наибольшая трудность не в этом. Кампанелла ни на минуту не забывал: следствие по его делу не закончено. Давит на него эта неопределенность. Так задумано его врагами. Перенесем и это!

Кампанелла не хотел мириться с положением узника, которому лишь сменили тюрьму на монастырь, он решил действовать и написал прошение. Постарался, чтобы оно было почтительным и смиренным. Настоятель только головой покачал, прочитав его, и едва согласился передать эту бумагу судьям. Человек оставлен под сильнейшим подозрением, а дерзает просить, чтобы ему вернули рукописи, не только те, что отобраны при аресте, но и те, что пропали у него в Болонье. Смеет намекать, что инквизиция причастна к их пропаже. Скоро настоятель сообщил узнику монастыря: в просьбе отказано. От себя он добавил, что такими поступками Кампанелла лишь ухудшит свое положение. Однако Кампанелла, не вняв голосу благоразумия, попросил у судей, чтобы ему позволили свободно ходить по Риму. Дерзость неслыханная!

На эту просьбу последовал неожиданно не столь полный отказ. Кампанелле милостиво дозволили обойти семь главнейших церквей Рима. Пусть молитвы, звучащие в них, пусть их великие святыни вселят смирение в его душу. Кампанелла обрадовался. Семь знаменитых церквей Рима — это Сан-Пьетро, Сан-Паоло фуори ле Мура, Сан-Джованни ин Латерано, Сан-Себастиано, Санто-Кроче, Санта-Мария Маджоре, Сан-Лоренцо фуори ле Мура. Обойти их — значит обойти весь Рим. А он так давно не был на улицах, не видел и не слышал толпы! Шествуя из церкви в церковь, он всматривался в прохожих, спешивших по делам, чаще озабоченных, реже веселых. Они не думают о тех, кто томится в Замке Святого Ангела, кого ведут сейчас на допрос, кого пытают. На площади Цветов раскинулся шумный рынок. Здесь продавали золотистые яблоки, пушистые персики, груши, истекающие соком, белый и черный виноград, огромные сладкие дыни, красный перец. Над плодами вились пчелы. Пахло жареными каштанами. Пройти сотню-другую шагов по узкому переулку, и выйдешь к мосту через Тибр. Отсюда уже виден Замок Святого Ангела. На рынке среди толпы, которая пробовала, приценялась, торговалась, он испытал желание показать на Замок и крикнуть о тех, кто в тюрьме, рассказать про камеры без света, про вонючую похлебку, про ночные вопли. Кампанелла сдержался: будто они не знают об этом!

В странствиях от церкви к церкви его сопровождают соглядатаи. Удивительное название у этих людей. «Родственники» инквизиции. Они имели право носить оружие, были неподсудны ни светским, ни духовным судам и ловко устраивали свои дела, пользуясь причастностью к Святой Службе и страхом, который они вызывали. Кампанелла не старался уйти от них. Его судьи были бы только рады, соверши он новую попытку побега. Его схватили бы и новый побег приравняли бы к признанию вины.

Трудно побороть соблазны. Хотелось зайти в книжные лавки. У него нет денег, но полистать книги и то радость. Однако это опасно. Ему предписан путь от церкви к церкви, и Кампанелла не отклоняется от него. Разве что присядет на скамью, постоит около мраморного фонтана на площади, послушает, как журчат его струи, о чем толкуют женщины, которые пришли за водой.

Почти полтора года провел он в монастыре святой Сабины. В декабре в Риме задул холодный ветер. На улицах горели жаровни. Уличные торговцы пекли на них каштаны. Иногда они протягивали ему пригоршню горячих, растрескавшихся на огне каштанов. Кампанелла принимал скромный дар. Кто он такой, чтобы отказываться от милостыни! С Абруццких гор в город спускались крестьяне, одетые в овечьи шкуры. По обычаю, под Рождество они играли перед церквами на дудках и пели, славя деву Марию.

За несколько дней до Нового года за Кампанеллой прислали. Его призывают в трибунал. Он направился туда в великом смятении. Ему огласили приговор. Кампанелла был объявлен сильно заподозренным в ереси. Либо он, согласившись с таким обвинением, отречется от ереси, либо — новый процесс. Исход его ясен. Упорствовать — безумие. Кампанелла согласился отречься. Отречение состоялось в церкви святой Марии делла Минерва. Унизительный обряд давно подробно и любовно разработан инквизицией. Утром служители надели на приговоренных позорные одеяния — грубые рубахи без рукавов и высокую бумажную шапку, похожую на дурацкий колпак. Приговоренным приказали взять в руки длинные незажженные зеленые свечи. Зеленый цвет, цвет весны и листвы, бог весть почему считается цветом инквизиции.

Сжав зубы, Кампанелла выполнил все, что от него требовалось. Когда на него надели позорный наряд, а на шею повесили веревку, он вспоминал Евангелие: «И, раздев Его, надели на Него багряницу… Дали Ему в правую руку трость… Насмехались над Ним». Шестнадцать веков прошло, а ничего нового не придумали.

Поглядеть на отречение сбежалось много любопытных. Кампанелла всматривался в их лица. Сочувствуют? Кажется, нет. Одни злорадствуют: поделом тебе, еретик! Другие испуганы, третьи рады: слава богу, это происходит не со мной. Долго вглядываться в толпу ему не дали. Заставили стать на колени и произнести формулу отречения. Она заканчивалась словами, от которых он содрогнулся: «Клянусь преследовать, раскрывать, способствовать аресту и доставке инквизиторам еретиков любой осужденной секты, сочувствующих, пособников и защитников, а также всех тех, о которых я знаю или думаю, что они скрылись и проповедуют ересь, их тайных посланцев, в любое время и всякий раз, когда обнаружу их».

Что может быть ужаснее, чем стать Иудой? Ничто не заставит его пойти по этому пути.

Глава XXX

Ему еще долго виделась церковь, в которой он вынужден был произносить отвратительные слова. Новый приказ Святой Службы повелел ему поселиться в монастыре святой Марии делла Минерва, там, где прозвучало его отречение, где все напоминает Кампанелле тягостный день позора. С Кларио их разлучили. Больше им не встретиться.

В монастыре святой Марии Кампанелла смог наконец снова взяться за работу, по которой истосковался. Продолжил писание трактата, начатого в обители святой Сабины: «Великий итог того, что думал о природе вещей раб божий Кампанелла». Трактат был смелым. Смиренное название звучало дерзостью. Совершенствовал он свое сочинение о поэтическом искусстве. Писал новые стихи. Размышлял о разумном и прекрасном обществе — должно же когда-нибудь возникнуть такое на земле! — где мудрые и образованные будут окружены почетом, где к их словам станут прислушиваться, их советам следовать.

Он сидел в келье и писал, когда дверь резко распахнулась. Ворвались стражники Святой Службы. Опять?! Кампанелла снова увидел вокруг себя тупые и жестокие лица, снова почувствовал на своем теле чужие руки. Один из стражников собирал его книги и бумаги, другой рылся в его постели, вытряхнул на пол все, что лежит в корзине, которую он держал под кроватью.

Всего два месяца, как он произнес формулу отречения от мнимой ереси, и вот он снова узник Замка Святого Ангела. Снова то общая камера, то темная одиночка. Одиночка еще не самое страшное. В Замке есть узники, которых держат на цепи. Снова долгие недели, во время которых ему не предъявляют обвинений и не допрашивают. Но Кампанелла уже обрел опыт узника, горький, но бесценный. Он не даст сломить себя.

Когда Кампанеллу перевели из одиночки в общую камеру, он встретил старого знакомого — Франческо Пуччи. Выглядел тот пугающе. Лицо его стало отечным, одышка еще более мучительной. Но он не говорил о том, что перенес за это время. К чему слова! Сострадание переполняло душу Кампанеллы. Как утешить человека, виновного в том, что он не прощает церкви Варфоломеевской ночи? Наступил день, когда их разлучили. Когда Пуччи уводили, он сказал Кампанелле помертвевшими губами: «Больше не увидимся!» Хотел добавить что-то еще, но стражники выволокли его из камеры. Спустя несколько дней Кампанелла узнал: Пуччи обезглавлен, его тело и голова выставлены напоказ и сожжены на площади Цветов.

Кампанелла достаточно долго пробыл в Замке Святого Ангела, чтобы представить себе, как это происходило. Еретика, признанного нераскаявшимся, отлучали от церкви и «отпускали на волю». Миролюбивая формула — смертный приговор. Церковь объявляла, что больше не заботится о спасении еретика и передает его мирским властям. Власти знали — они должны казнить того, от кого отступилась церковь. Торжественная казнь назначалась на церковный праздник. Накануне по городу ходила процессия прихожан во главе с членами Конгрегации святого Петра Мученика. При жизни он был жестоким инквизитором, увы, доминиканским монахом. Брата Петра убили родственники замученных им людей. По заслугам! Церковь признала его святым патроном инквизиции. Конгрегация, носившая его имя, на глазах любопытствующих зрителей тщательно готовила все для завтрашней казни — навес и скамьи для почетных зрителей, эшафот, плаху, потчевала палачей. Довольно! Он не в силах больше думать об этом! Но от колокольного звона, от заупокойных гимнов, которые зазвучали, когда Пуччи выводили из Замка Святого Ангела, уйти некуда. Можно заткнуть уши, зажмурить глаза, но что сделать с воображением?

В бессонную ночь после казни Кампанелла сложил сонет, посвященный Пуччи. Он говорил о благородной душе, которая покинула темницу собственного тела, темницу Святой Службы, темницу, в которую превратился Рим, в которую превратилась Италия, темницу страшного мира. Темницы эти подобны аду, но через них должен пройти каждый пророк. Испив до дна чашу страданий, он обретет свободу в вечности. Там голосом, преисполненным боли и печали, он расскажет об испытаниях, от которых побелели наши волосы. Он станет первым послом в вечности от нас, стремившихся к тому, чтобы на земле снова настал золотой век. В этих стихах Кампанелла предсказывал и собственную неминуемую судьбу. И все-таки горькие строки, предвещавшие мучения и гибель, дали ему душевное облегчение. Он укрепился в мысли: страдания его не могут быть напрасными. Они превращают его в пророка.

Сразу вслед за потрясением, связанным с казнью Пуччи, Кампанеллу вновь вызвали в трибунал. Судьи хорошо рассчитали время.

Новые вопросы, которые задали Кампанелле на сей раз, несказанно изумили его. Речь шла о днях его далекой юности. Кто были его тогдашние друзья? О чем он толковал с ними? Знакомы ли ему калабрийцы, замышляющие против властей? С кем из них он вел в Калабрии еретические разговоры?

Вопросы ставились темно и неясно. Чего от него добиваются?

Наконец судьи приоткрыли карты: некий человек, имени которого они не назвали, во время допроса под пыткой показал, что некогда был знаком с братом Томмазо по прозвищу Кампанелла. Оный вел с ним еретические разговоры. Кампанелла даже отдаленно не догадывался, кого они имеют в виду. Его потрясло другое. Значит, все это время, когда он после отречения приходил в себя, инквизиция продолжала наводить о нем справки по всей Италии. Для нее нет ни расстояний, ни давности срока. Кампанелла ответил: показания неназванного лица — оговор! Он его и опровергать не станет. Или у судей есть другое свидетельство, чтобы подкрепить то, о котором ему сказали?

Другого свидетельства не было. Но инквизиторы снова подняли все его прежние дела. Снова бесконечные допросы. Его опять то бросали в темную одиночку, то переводили в камеру получше. На одних допросах грозили, на других ласково увещевали. Те судьи, которые грозят, кричат, топают ногами, не самые страшные. Страшнее те, которые говорят тихими, кроткими, елейными голосами. Именно они — мастера ловушек. Именно они — скорее, чем крикуны, — сладким голосом приказывают пытать, приговаривая, что сие делается не во вред, а во благо пытаемому, ради спасения его души. Что может быть прекраснее такой цели!

Глава XXXI

Снова прошел почти год — бесконечные месяцы страданий. Иногда ему удавалось заставить себя забыть, что он в темнице, думать о высоком, чистом, прекрасном. Порой им овладевало отчаяние. Что изменила в мире гибель Пуччи? Стал ли хоть один человек, потрясенный этой смертью, думать о жизни по-другому? Последовал ли хоть один человек примеру того, кто предпочел смерть отречению от своих взглядов? Когда им овладевала подобная слабость, он тихо повторял свои стихи, посвященные Пуччи: «Пусть вольет он в нас силы и вооружит на неизбежный путь, к которому нас Вечный Разум предназначил».

Год снова подходил к концу, когда трибунал объявил Кампанелле новый приговор. Все его сочинения, как напечатанные, так и ненапечатанные, как завершенные, так и незавершенные, до последнего клочка, запрещаются! Предписывается немедленно вернуть брата Томмазо на родину, в Калабрию. Ссылка!

Товарищи по заключению считали: Кампанелла легко отделался. Тюрьма лучше, чем костер, ссылка лучше, чем тюрьма. Свобода еще лучше, но кто может о ней мечтать, если им занималась Святая Служба!

И опять очутился Кампанелла на римских улицах в канун Рождества. По трем дорогам — Виа Кассиа, что вела в Рим из Флоренции, Виа Аппиа, что вела в Рим из Неаполя, Виа Фламиниа, что вела в Рим из Анконы, со всех сторон стекались в Вечный город богомольцы, купцы, путешественники, бродяги. А Кампанелла покидал Рим. Без сожалений. Город, где его унижали и пытали, где обезглавили Франческо Пуччи, ненавистен ему. За три вещи приходится дорого платить в Риме — за должности, за право, за любовь. Три разбойника всего страшнее в Риме — пергамент, воск и свинец. Пергамент, на котором пишут неправые приговоры, воск, которым накладывают на них печати, свинец, из которого отливают подвесные печати для папских булл. О трех вещах мечтают в Риме — о коротких мессах, о честной монете, о добрых временах.

Кампанелла покинул Рим с облегчением. Ему шел тридцатый год. Молодость позади. Все, что он сделал до сих пор, отнято у него. Запрещено. Зачеркнуто. Пятнадцать лет назад он покинул дом. У него нет ничего, кроме старого монашеского облачения. Любимые книги отняты во время обыска и не возвращены. Чью библиотеку они теперь украшают? Разве дознаешься! Рукописи частью похищены, частью конфискованы. Он может сказать о себе

словами древних: Omnia mea mecum porto — «Все мое ношу с собой». Ну что ж! Он носит с собой немало: несметные сокровища мыслей — чужих и своих. Драгоценные россыпи поэзии. Воспоминания о знакомствах с людьми. Опыт унижений и страданий. Он испытал и закалил свою волю. Нищий, он богат. Гонимый, он свободен. Следы пыток на его теле — печать избранничества. Он не зря прожил эти годы.

Глава XXXII

Путь Кампанеллы лежал через Неаполь. Здесь он задержался. Это большой риск, но слишком многое связало его с Неаполем, чтобы сразу его покинуть.

Кампанелла так изменился, что некоторые прежние знакомые не узнавали его. Другие притворялись, что не узнают. До Неаполя дошли слухи, что инквизиция выпустила его, не оправдав. Печальная известность определяла теперь отношение к нему окружающих: многие предпочитали обойти его стороной, чтобы, не дай бог, не напомнить о прежнем знакомстве. Для других, напротив, то, что Кампанеллу преследовала Святая Служба, было свидетельством — вот человек, которому можно доверять. Однако принять гостеприимство кого-нибудь из старых друзей Кампанелла отказался. Он снова нашел пристанище у людей бедных и необразованных, никогда прежде о нем не слыхавших.

В заключении Кампанелла стосковался по книгам. Велик соблазн побывать в библиотеке монастыря Сан-Доменико Маджоре. Там осталось столько непрочитанных книг! Любопытно увидеть, как его встретит библиотекарь, который — Кампанелла не сомневался в этом — донес о его крамольных словах: «Что значит — „отлучат“?» Испугается он, увидев Кампанеллу? Встретит его как ни в чем не бывало? А может, станет каяться, оправдываться, лебезить? Нет, такого опыта Кампанелла не может себе позволить. Предоставим доносчика его собственной совести. Он заслуживает презрения. Но еще большего презрения заслуживают те, кто превращают людей в доносчиков.

За время отсутствия Кампанеллы круг неаполитанцев, интересующихся науками, сильно изменился. Делла Порта совсем одряхлел. Он раздавлен. Когда он находился в Риме, его вызвали к папе. Его святейшество назвал учетного колдуном, кричал на него и топал ногами, повелел прекратить греховные опыты и, вернувшись в Неаполь, немедленно распустить «Академию для изучения тайн природы». Ему так и не удалось напечатать своих последних трудов. Из других стран, где цензура не так жестока, доходят вести о появлении книг, где высказываются мысли, похожие на те, к которым он пришел первым. Горько это!

Кампанелла попробовал утешить старого друга. Так бывало во все времена. Сочинение Протагора о богах в славной своими мудрецами Греции было предано поруганию и сожжению, автор едва смог спастись бегством. Преследованиям подвергались и Теофраст, и Эсхил, и Еврипид. Он не успел закончить скорбного списка, как почувствовал — слабое это утешение.

Да, Академии больше нет, она запрещена, распущена, не существует. Но в Неаполе немало людей, особенно молодых, одержимых страстью к познанию. Они встретили Кампанеллу радостно. Он взялся читать им лекции и неожиданно выбрал предметом географию. Да нет, не неожиданно. География была в эту трудную пору для Кампанеллы наукой духоподъемной, ибо говорила не только о разных землях, морях, океанах, островах, горах, о разных народах и племенах, но — и это влекло его к географии — о могуществе опыта, о торжестве исканий, о способности человеческого разума заглядывать в беспредельность, предсказывать открытия. Пример Колумба, Васко да Гамы, Магеллана вдохновлял. Кампанелла с жадностью набрасывался на все сочинения по географии, которые мог достать. К тому же он надеялся в них найти свидетельство, что где-то, пусть далеко, есть страна со справедливым государственным устройством.

Кампанелла был счастлив, что у него есть возможность читать лекции. Когда он излагал свои взгляды внимательным слушателям, чувствовал — от него к ним идет некая сила. И от них — к нему. Между ним и аудиторией устанавливается невидимая связь. Кампанелла воспринимал ее всем существом: его дыхание становилось глубже, голос — проникновеннее, кровь жарче струилась по жилам, сердце билось сильнее. Как ощущаешь полноту бытия, обращая свое поучение к жаждущим знаний ученикам! Ему не было суждено стать профессором в университете. Ну что ж… Он сам создал крошечный университет вокруг себя. Чем плохи ученики, которые единственно по своей охоте собираются послушать его, именно его, которым нет дела до того, есть ли у него ученые звания.

Его слушали в домах его новых учеников. Разные то были люди. Участники разогнанной Академии делла Порты, студенты, недовольные тем, что и как читают им в университете, молодые монахи, взыскующие, как некогда он, мирских знаний. Кампанелла никого не спрашивал, кто он, откуда пришел, почему хочет слушать именно его.

За время заключения Кампанелла истомился по серьезной работе. Он не только готовился к лекциям, но восстановил по памяти трактат «Великий итог того, что думал о природе вещей раб божий Кампанелла», продолжил и завершил эту работу. Начал новое сочинение — «Космографию».

Думая о строении Вселенной, он не переставал размышлять о том, что творится на земле. Все, что он видел каждый день, наталкивало его на такие мысли. В Неаполе полно нищих. Что разорило их, заставило бросить землю и жить

попрошайничеством? Почему нет для них работы, которая могла бы прокормить их и их детей? Почему богатые окружают себя толпами прихлебателей и прислужников, которые не делают ничего полезного, не сеют, не жнут, не занимаются никаким ремеслом, но сыты, одеты, обуты? Почему народ развращается в кабале, нищете, низкопоклонстве? Кто кормит, поит, одевает богачей и их приспешников? Почему в небрежении общественные повинности и полезные обязанности? Почему те, кто обрабатывает поля и занимается ремеслами, истощаются и погибают от непосильной и непрерывной работы? Почему люди трудятся с отвращением?

Раньше для него не звучали так остро строки Вергилия: Quid non mortalia pectora cogis, auri sacra fames!

— «К чему не склоняешь ты смертные души, к злату проклятая страсть!» Вот, верно, корень зла. И еще — людское себялюбие.

Прекрасен залив, на берегу которого раскинулся Неаполь. В городе много богатых дворцов. О былом его могуществе говорит величественная Триумфальная арка, хотя уже мало кто помнит, кем и в честь кого она воздвигнута. Дорогие кареты проезжают по его улицам, нарядные кавалеры и дамы шествуют по ним. Но по-прежнему страшны, темны и зловонны многие его улицы, населенные сбродом, воняющие гнилой рыбой и нечистотами, по-прежнему грязны и оборванны дети.

Монашеское одеяние лишь отчасти делало безопасным посещение трущоб. Кампанелла пренебрегал опасностью. Он стремился понять, что довело их обитателей до такого жалкого положения, есть ли среди них люди, желающие изменить свою жизнь. Наблюдения его были невеселы. Народ молча покорствовал и раболепствовал. После печальных странствий по городу отрадой становились встречи с Колантонио Стильолой. Тот после освобождения покинул Рим и перебрался в Неаполь. Они не могли забыть, что познакомились в Замке Святого Ангела, чувствуя, что связаны неким братством на всю жизнь. Кампанелла прочитал Стильоле свои стихи, посвященные страдальцу Франческо Пуччи. Говорили они о Джордано Бруно, по-прежнему остававшемся в заточении. Страшно подумать: один из самых светлых умов Италии, человек, который мог бы составить ее славу, вот уже сколько лет в тюрьме, его мучают и терзают, помочь ему невозможно. Мир устроен несправедливо. Стильола — математик и астроном. Ему бы заниматься своими исследованиями, читать лекции, писать книги. Ему есть что сказать людям. Но трудов своих он напечатать не может. В них углядят ересь. И лекции ему читать никто не дает. Клеймо

еретика осталось на нем, и носить ему эту отметину до самой смерти.

Кампанеллу и Стильолу занимала астрология. Как многим ученым того времени, она представлялась им серьезной наукой. Они знали, что мудрый Пико делла Мирандола высмеял астрологию. И это омрачало их. Но они знали в другое — знаменитый Кардано, математик, так верил в астрологию, что покончил с собой тогда, когда должен был умереть согласно гороскопу, составленному им для себя.

Занятия астрологией прошли через всю жизнь Кампанеллы. Он верил, подобно многим большим умам, что если все во Вселенной находится во взаимосвязи, все пронизано некими общими силами, значит, подобно тому, как луна оказывает влияние на приливы и отливы, так движение всех небесных светил может влиять на земные события и людские судьбы.

Близилось начало нового, семнадцатого, столетия. Кампанелле и Стильоле казалось: небесные знамения предвещают великие перемены на рубеже веков. Неудивительно. С этим рубежом издавна связано представление о неизбежных грозных событиях: на землю обрушится божий гнев! Но вслед за ним наступит тысячелетнее царство добра и справедливости.

Кампанеллой овладело страшное нетерпение. Может ли тот, кто жаждет перемен, довольствоваться ожиданием? Разве не должен он их приблизить? Мало ли кругом людей, недовольных несправедливостью, тяготящихся испанским владычеством, всесилием иезуитов и инквизиции, неправыми судьями, всем неустройством жизни! Надо найти их, объединить, направить их недовольство на единую благородную цель.

Кампанелла не успел превратить эти мысли в дело. Его предупредили — на него снова обратила внимание инквизиция, на сей раз неаполитанская. Кто донес на него? Некий мудрец сказал: «Если меня обвинят в том, что я украл городские ворота, я не стану опровергать обвинения, а спасусь бегством».

Кампанелла спешно покинул Неаполь.

Глава XXXIII

Родная деревушка, милое его сердцу Стиньяно, жила по-прежнему. Здесь жизнь зависела от того, когда созреет виноград, когда наступит пора убирать маслины, какой выдалась погода, не напала ли болезнь на лозу. Родительский дом обветшал, родители постарели. Кампанелла чувствовал себя виноватым перед семьей. Думая о благе всего мира, что сделал он для счастья близких? Ничего! А им так мало надо! Но и этой малости нет у него. Богатства он не приобрел. Слава его опасна, и само его появление в отчем доме грозит этому дому бедой. Книги его запрещены. Будущее его полно превратностей. Он не может ни нового жилья родителям построить, ни отцу его работу облегчить, ни матери подарка сделать. А всего больнее чувствовать: родителям, особенно отцу, трудно с ним говорить. Он называет его то привычным с детства именем — Джованни, то данным ему при посвящении в монахи — Томмазо. Сын неузнаваемо изменился. Да и как иначе, где только не побывал. Даже в самом Риме! Сын — человек ученый. Как говорить с таким? Ученый-то ученый, но ни славы, ни богатства не нажил. О своих злоключениях Кампанелла отцу рассказывать не стал. Неизвестно, что будет, узнай отец, что Томмазо сослан на родину по приговору Святой Службы. Страх перед инквизицией велик. Да и не только страх, слепая вера: невиноватого она преследовать не станет. Даже родному отцу довериться опасно. Сколько людей схвачено инквизицией по доносам или оговорам родных. Последние наступили времена: сын доносит на отца, отец — на сына, брат — на брата!

Кампанелла, задумавшись, шел по каменистой тропинке к ручью. Ему повстречалась старая, согнутая годами и работой женщина в черном — таких много в Стиньяно.

— Благословите, отец святой! — почтительно сказала она. Кампанелла вгляделся в нее. Жалость пронзила его. По огромным карим глазам, по рыжим нитям в седых волосах узнал соседку. Когда был мальчиком, она, молодая, красивая, рыжеволосая, высокогрудая, встретив его, смеялась хмельным смехом — видела, мальчик волнуется. Долго снилась ему потом в монастырской келье. От прежней красавицы остались только глаза да ловкое движение, каким она сняла с плеча корзину с бельем, — шла от ручья. Там он увидел ее когда-то в высоко подоткнутой легкой юбке, в белой рубахе, облегавшей грудь. Он уже сам давно не мальчик, но она! За эти годы он дважды прошел и проехал чуть не всю Италию. Сколько городов, сколько людей

повидал! А она никуда не выбиралась из родной деревни. И весь ее путь каждый день — из дома к ручью, из дома на огород, из дома на виноградник, из дома в церковь и, может быть, раз-другой за год — в Стило. Каждый год рожала детей, нянчила их, хоронила, недоедала, недосыпала. Что толку во всей его философии и поэзии, если он не знает, как помочь этой женщине?

Глава XXXIV

Стояли жаркие дни. Над каменистыми дорогами дрожал нагретый воздух. Земля на полях высохла и потрескалась. Душными были ночи. Иногда через горы переваливали облака. Люди глядели на них с надеждой. Но облака таяли, не уронив на землю ни капли влаги. Люди молили святых о дожде, но дождя все не было и, тогда они бранили тех, к кому возносили молитвы. Томительны дни и тягостны ночи. Кампанелла перебрался в Стило. Отец простился с ним не то с облегчением, не то с обидой. Мать, измученная тяжкой работой и заботами, словно и не заметила, что сын снова покидает дом.

Жизнь в Стило тоже нерадостна. Все жалуются: урожаи с каждым годом хуже, налоги больше. Школа обветшала и грозила рухнуть. Церковь не показалась Кампанелле такой величественной, как в детстве. Еще более запущенным и потому еще более прекрасным стал сад вокруг нее. Одичавшие кусты роз цвели благоухающими мелкими цветами. По низкой каменной ограде пробегали юркие ящерицы. Если схватить ящерицу, она спасется, оставив в руках преследователя хвост. Кампанелла невесело улыбнулся — он и сам, вырвавшийся из хватки инквизиции, похож на такую ящерицу. В старом саду, где много тени, хорошо думалось. А Кампанелле было о чем подумать. Снова он ощущал себя Гераклом на распутье. Что дальше? Спокойно, неторопливо трудиться над философскими сочинениями? Что из того, что их сейчас невозможно напечатать? Он не стар. У него есть время. Он может затаиться и выждать. Не напоминать о себе. Пусть запылятся бумаги, составляющие в канцеляриях Святой Службы дело Кампанеллы. Слава богу, у него нет ни жены, ни детей, о которых нужно заботиться. Вот и обернулось благом его одиночество. Одному много ли надо? Мельницы господа мелют медленно, но они мелют. Перемены должны наступить! Как эта томительная жара, эта долгая пора без дождей рано или поздно разразится грозой, засверкают грозные молнии, загрохочет гром, хлынет на землю благодатный ливень, свежестью повеет в воздухе, так и в мире неизбежно, неотвратимо что-то должно произойти. Дальше такое неустройство, такое господство зла продолжаться не может. А он, значит, будет, затаившись в тиши, ждать перемен? Он, кому судьбой предназначено быть их провозвестником, служить им, служить словом и мыслью, делом? Ищите и обрящете, стучите и отворится! Он не хотел ждать. Он хотел искать. Он будет стучать в затворенные двери, ведущие к счастью людей. И вышибет их,

если они не отворятся. Надобно найти людей, с ним согласных. Затворенные двери придется вышибать, как крепостные ворота, тараном. Двум рукам тарана не поднять, не удержать, не раскачать. Рук должно быть много.

Кампанелла очнулся от своих мыслей, увидев, что к нему подходит высокий немолодой доминиканец. Огромное тело, большие руки, широкая походка — все знакомо ему в этом монахе. Господи, это же Дионисий! Только стал еще более могучим. Теперь Кампанелла понял, кого тот напомнил ему при первом знакомстве. Апостола Петра, каким он изображен на одной алтарной картине, виденной во время его первого странствия с наставником. Великая радость! Он и не чаял снова когда-нибудь встретить Дионисия!

Бывают друзья, расставание с которыми обрывает все нити, не всегда удается связать их и не всегда хочется связывать. Но есть иные друзья. С ними и после долгой разлуки начинаешь беседу так, будто она не прерывалась. За годы, что они не виделись, Кампанелла побывал во множестве городов и деревень, сменил много монастырей и тюрем. Дионисий все это время провел в Калабрии в одном и том же монастыре. Но они заговорили легко, свободно, хорошо понимая друг друга. А как могло быть иначе?

Они разные, эти два калабрийца, два питомца доминиканского ордена. Философские учения никогда особенно не занимали Дионисия. Зато он знал сотни историй о здешних делах, о враждующих родах, о способах, какими суды грабят тяжущихся, об уловках, какими пользуются сильные, чтобы обойти закон, мог с презрением перечислить всех итальянских дворян, что выслуживаются перед испанцами, и с любовью говорил о тех, кто ненавидит чужеземцев. Они разные, эти два калабрийца, но боль за родной край — их общая боль.

Неужели нет силы, способной возродить вначале Калабрию, а потом всю Италию?

Они выбирали для бесед заброшенные тропинки, дальние рощи. Любили говорить на ходу, да и слишком часто встречаться на глазах монастырской братии не следовало. Вот и сейчас они отошли подальше от Стило по берегу пересохшей реки, нашли тень подле буковой рощи. Дионисий расстелил на земле платок, выложил на него домашние хлебцы (о нем все еще преданно заботилась все та же вдова), сладкий лук, кусок сала в розовых прожилках, поставил фляжку вина, высыпал горсть миндаля и вяленого винограда. Поесть любил по-прежнему!

— Благословись, потрапезуем! — сказал он проникновенно.

Перекусили. Дионисий заговорил о фуорушити, не желавших

покорствовать ни испанским властям, ни местным баронам, терпеть притеснения испанских солдат, преследования судей. «Фуорушити» — значит «бежавшие». Они бросали жилье, поля и виноградники, уходили в горы. Жить в горах неимоверно трудно, но зато там они свободны. Их стало за эти годы еще больше. Власти называли их бандитами, крестьяне — заступниками.

По тайным тропкам они спускались с гор, нападали на испанские патрули, иногда на гарнизоны, помогали скрыться тем, кому грозила опасность, случалось, освобождали узников. У фуорушити были родные и знакомые в деревнях. От них они узнавали о передвижении испанских отрядов. Крестьяне помогали фуорушити продовольствием, а кто прямо не поддерживал их, все-таки хранил в тайне все, что знал о скрывающихся в горах. И когда где-нибудь находили труп того, кто, соблазнившись посулами или испугавшись угроз, помогал испанцам, власти тщетно искали виновных.

— Кровная месть! — коротко отвечали крестьяне, будто не прислужничество испанцам навлекло на убитого гибель, а давняя вражда семей.

Дионисий рассказывал о фуорушити с воодушевлением. В его рассказах Кампанелла услышал не только восхищение мужеством земляков. Ему послышалась в них большая осведомленность. Дионисий не стал таиться. Да, у него есть среди фуорушити знакомые и даже друзья.

Однако отряды фуорушити малочисленны и каждый сам по себе. Многие из них унесли с собой в горы старое соперничество между деревнями, бог знает когда зародившееся. Каждый из них твердо знает, чего он не хочет. Но чего он хочет? Каким видит он желанное будущее своего края? Удивляться ли тому, что простой фуорушити не смог бы ответить на подобный вопрос, если и Дионисий затруднился ответом, когда Кампанелла спросил, чего он, Дионисий желал бы для Калабрии и Италии. Кампанелла напомнил другу старинную притчу о прутьях. Слабая рука легко переломила каждый по отдельности. Но когда их сложили вместе, пучок не смог сломать даже силач. Не потому ли пучок прутьев стал символом ликторов Римской республики? Дионисий согласился: отряды фуорушити станут силой, если их соединить. Ради чего? Когда Кампанелла вспомнил символ могущества Римской республики, этим было сказано самое важное: республика!

Они представляли себе Калабрию, а затем и Италию, превращенной в республику, res publica — «общее дело»! Прекрасные древние слова пленяли. Республика — общее дело свободных и равных людей, государство справедливости. Пусть

воплотится в нем все, о чем говорили и мечтали мудрые из мудрых. Пусть оно будет отечеством всем гражданам, светит всем, греет всех, как солнце.

Дионисий пожал плечами. Кто спорит, прекрасно вернуть на землю Золотой век! Но неужели Кампанелла полагает, что, пусть даже объединив всех фуорушити Калабрии, удастся установить республику? Фуорушити, храбрым, но, увы, покуда темным людям, вряд ли удастся втолковать то, о чем столь поэтически говорит Кампанелла.

Да, великие истины нелегко объяснять людям. И все-таки те, кто обратится к ним, просвещенным, за советом и помощью, должны узнать, чего добиваться не только сегодня, но и в дальнейшем. А пока надо подумать, кто еще кроме фуорушити желает пусть не столь великих, но осязаемых перемен. Крестьяне! Не только те, у кого есть близкие среди бежавших в горы, но все, кому не по силам налоги и поборы. И крестьяне, уже разорившиеся, кому пришлось уйти в города. И беднейшие из горожан. Впрочем, о них нужно подумать особо. Дионисий не знал городского люда. А Кампанелла насмотрелся на него, особенно в Неаполе. Городская знать и богачи пользуются голытьбой в своих интересах, знают, за подачку она готова на все. Таких людей можно нанять, чтобы они забросали грязью и оскорблениями неугодного человека. Среди них можно найти наемных убийц. Святая Служба вербует в их среде осведомителей и лжесвидетелей. Городскую чернь легко запугать, задешево купить, обмануть. Тяжко знать, как извратили нищета и бесправие природу человеческую. Но разве так не было прежде? Когда смелый Брут и его благородные товарищи освободили Рим от диктатуры Цезаря, римская чернь вначале славила смельчаков, но посулами была легко повернута против них. Дионисий нетерпеливо перебил Кампанеллу. Исторические примеры поучительны, но их край не похож на Рим времен Цезаря и Брута. Как действовать сегодня?

Они еще ни разу не произнесли слов «восстание» и «заговор», но понимали: говорят об этом. Они многое взвешивали и обдумывали. Можно ли рассчитывать на помощь дворянских семей, которым не по душе господство испанцев? Пожалуй, можно. У них большой счет обид, они охотно его предъявят. Да и среди священников и монахов найдутся союзники.

— Некоторых я уже нашел, — сказал Дионисий. Он начал было рассказывать о монахах, в которых видит возможных союзников, но Кампанелла перебил его:

— Многие итальянские государи будут рады поражению испанцев на итальянской земле. Есть у Испании и другие

могущественные противники — Англия, Франция, Нидерланды.

Дионисий усмехнулся:

— Не отправить ли нам с тобой, брат Томмазо, послов к государям этих стран? Не предложить ли им союз с фуорушити?

Он прав, когда насмешливо говорит об этом. Но что Кампанелле поделать с собой, если он, думая о дне сегодняшнем, то и дело обращается мыслью к прошлому и устремляется воображением в будущее? Что Кампанелле поделать с собой, если, вникая в то, что происходит в родном краю, он не может забыть о нитях, связующих судьбу его родины с тем, что происходит в других странах?

Кампанелла понимал: опасен путь, на который они вступают. Сама их беседа смертельно опасна. Он хотел укрепить решимость друга, да и свою. Стал размышлять вслух:

— Великий Фома Аквинат учил: если земные властители употребляют свою власть во зло подданным и их правление становится тиранией, подданные имеют право восстать, свергая несправедливый порядок и тех, кто стоит в его главе. Сие не мятеж. Мятежниками в таком случае нужно считать тиранов.

Дионисий обрадовался, что друг напомнил ему прекрасное рассуждение святого авторитета. Потом призадумался.

— Помнится, — сказал он, помолчав, — там есть оговорка. Чтобы подданные могли выступить против тиранической власти, они должны заручиться благословением церкви, которая освободит их от повиновения властям.

Кампанелла ответил стремительно, так, как отвечают, когда ответ давно ясен:

— Мы их и освободим. Властью принятого нами монашеского сана.

— Так что же мы будем делать, брат мой Томмазо? — спросил Дионисий. Необычное обращение! Иноки называли друг друга просто «брат». Назвав Кампанеллу «брат мой», Дионисий скрепил этим новое братство, в которое они вступили.

— Так что же будем делать? — повторил Дионисий свой вопрос.

— «В начале было Слово», — кратко ответил Кампанелла.

Глава XXXV

«В начале было Слово».

В калабрийских деревнях и городах скоро стали поговаривать о проповедях странствующего доминиканца — брата Томмазо. Проповедник с горечью напоминал о бедах, перенесенных их краем, о тяготах, лежащих на плечах его сынов, он говорил, что стенаниями несчастные не изменили своей участи, а лишь увеличили свои беды. Он говорил о земле, текущей молоком и медом, и о людях, которые искали эту землю, стремились к ней, но не дошли, ибо раньше времени убоялись тяжести пути. И толковал сие так, что счастье не в молоке и меде. Оно в свободе. Оно в справедливости. И достигнет обетованной земли лишь тот, кто опояшется мужеством и вооружится твердостью. У проповедника звучный голос, проникающий в душу. Лоб его вспахан морщинами мыслей и страданий. Черные пристальные глаза глядят так, что каждому кажется — он обращает свою речь к нему. А проповедник напоминал слова Господа: «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей». Люди, жившие в краю, давно не знавшем мира, люди, чьи ночи были тревожны, ибо каждой ночью в их дома могли ворваться и испанские солдаты и стражники Святой Службы, люди, по земле которых проходил и меч, и огонь, слушая проповедника, с тоской думали: когда же настанет обещанное? «И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча; пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча». Грозно звучал голос проповедника.

— Это не я говорю вам. Это сказал Господь!

Калабрийцы расходились с проповеди пораженные. Почему они не слышали таких слов никогда прежде? Да есть ли они в Завете? Немногие из них, читавшие Библию, переступая тем один из папских запретов, подтверждали: да, такие слова в Ветхом завете есть!

— «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь… Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Брат Томмазо не называл имени врагов, но слушавшие его переглядывались и кивали головами — им не нужно было объяснять, к кому приложимы сии духоподъемные слова.

Пламенно проповедуя, Кампанелла старался блюсти осторожность — прямо не говорил, облекал поучения в

таинственное обличье. Имеющий уши — услышит, имеющий разум — поймет. Он высказывал свои призывы словами Святого писания. Язык этот понятен и привычен и ему и тем, кто его слушал. Надо было только так понять, так произнести, так истолковать эти слова, чтобы они прозвучали проповедью восстания.

Прошло не много времени, как он начал проповедование свое, но уже был не одинок. Нашлись монахи из числа тех, которые последовали за ним и Дионисием, и стали напоминать пастве слова Завета, поднимающие на борьбу: «Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал; и ты будешь только притесняем и мучим во все дни… Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою все выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже». Воистину это сказано о судьбе калабрийцев, о судьбе их земли, на которой господствуют чужаки-испанцы. «Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши; и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих…»

Наглый народ, прибывший издалека, говорящий на непонятном языке, не уважающий стариков и теснящий юношей! Каждое из этих слов — об испанцах. Железное ярмо любой калабриец ощущал на своей шее. Любой знал, как отнимают хлеб, вино, плоды.

Из разных мест доносились до Кампанеллы и Дионисия вести о том, какой отзвук вызывают подобные проповеди. Но одних проповедей мало. К тому времени, когда калабрийцы созреют для решительных действий, им нужны союзники. От мысли о помощи государей, враждующих с Испанией, Кампанелла отказался. Дионисий прав. Нет у них возможности ни связаться с теми, ни убедить себя выслушать. Союзников следует искать поблизости. Но где? Об этом они толковали уже не вдвоем, а втроем.

Мавриций де Ринальдис, молодой человек из обедневшей дворянской семьи, горячая голова. Он пламенно ненавидел испанцев. Покровительствовал фуорушити и мог рассчитывать на их помощь. Искусно владел оружием, был неутомим на коне и

пеший. Он страстно желал освобождения Калабрии. Де Ринальдис был удивительно красив: черные кудри, горящие глаза, открытый взгляд. Весь его облик выражал гордое бесстрашие. В своем поношенном колете он походил на гибкий и грозный боевой клинок в потертых ножнах. У Маврикия такие связи, о которых Кампанелла и Дионисий услышали с изумлением и даже ужасом. Турецкий флот крейсировал у берегов Южной Италии. Турки совершали высадки в Калабрии, грабили и захватывали людей в рабство. В церковных проповедях о них говорили как о посланцах антихриста. И с их лазутчиками Маврикий завязал знакомство! Но оказалось, у Маврикия не только горячая голова, он способен и на обдуманный расчет.

— Мне нет дела до того, во что верят турки и кому они молятся! Турки не клялись в любви к нам как своим братьям во Христе. По мне, испанцы, называющие себя христианами и грабящие других христиан, во сто крат хуже. Турки во вражде с испанцами. Враг моего врага — мой друг! Каждый из нас троих следует какому-нибудь мудрому девизу. Мой: Audentes fortuna juvat — «Смелым судьба помогает».

После долгих раздумий Кампанелла и Дионисий согласились, чтобы Маврикий продолжил переговоры с турками. Однако он ни в коем случае не должен их посвящать в планы заговора, касающиеся будущего Италии. Маврикий не сдержал улыбки. Его мудрые друзья удивительно простодушны. Неужели тех, кто командует турецким флотом, занимает, какое правление намереваются установить заговорщики на юге Италии? Уж не мнят ли Кампанелла и Дионисий, что он станет рассказывать турецкому адмиралу, командующему флотом, сколь справедливую республику намерены учредить его друзья? От турков требуется одно — военная помощь! Пушки их кораблей и угроза высадки на берег отвлекут и скуют испанские гарнизоны. Но за такую помощь надо платить.

Откуда у них деньги? Откуда деньги у фуорушити? А крестьяне, если им только намекнуть, что для успеха восстания нужно раскошелиться, тут же отвернутся от того, кто это скажет, не хватало им еще и поборов во имя свободы.

Однако Маврикий обдумал, чем прельстить турок. В случае успеха восстания они за свою помощь получат торговые льготы на побережье. Эта выгода больше любой суммы наличными. А где гарантия, что турки выполнят уговор? Гарантия была. Неожиданная и прочная. Турецким флотом командовал Синан-паша Чикала. Итальянец родом, он в молодости был захвачен турками в плен, принял мусульманство, сражался на их стороне и теперь командует одним из их флотов. Именно с лазутчиками

Чикалы и вел переговоры Мавриций. У Чикалы в Италии осталось много родственников. Это и есть гарантия. Чикала — выходец из Италии, знает, что такое кровная месть, особенно если мстителями выступят фуорушити. На договор с ним, пусть и не записанный на бумаге, можно надеяться!

Мавриций восхищал Кампанеллу: человек действия восхищал человека мысли. Мавриций изумлял Кампанеллу. Мавриций не видел греха в том, чтобы сговориться с турками, но бледнел, едва рассуждения Кампанеллы касались религии. Нет, он не слишком страшился священников. Инквизицию он люто ненавидел и говорил, что, очутившись в ее власти, лгал бы, не считая того за грех. Но он боялся ответа, который придется держать на Страшном суде. Его вера в Бога, Троицу, приснодеву Марию и всех святых, особенно в своего патрона святого Маврикия, не знала и тени сомнений. Чего доброго, он мог раскрыть планы заговорщиков на исповеди, убежденный, что исповедник даст ему отпущение, а тайну исповеди сохранит.

Дионисий знал, какой бедой нередко оборачивалась для исповедующихся такая вера, и убедил Маврикия, что сам будет его исповедником. И все же Дионисий предупредил Кампанеллу, чтобы тот больше никогда не говорил с их новым другом о сомнениях в догматах веры, если не хочет отпугнуть его.

Кампанелла согласился. Горько, что нельзя быть до конца откровенными с теми, с кем готовишь восстание. Бессмысленно посвящать фуорушити в сокровенные планы устройства будущей республики — люди непросвещенные их не поймут. Опасно открывать Маврицию свое отношение к догматам веры. Приходится учиться искусству умалчивания, прибегать к неполной правде.

Размышляя над путями, которые ведут к власти, — а для переустройства жизни нужна власть, — он вспомнил слова греческого поэта Пиндара:

Правдой ль взойти мне на вышнюю крепость?
Иль обманом и кривдой?

Путем кривды Кампанелла идти не хотел. Но как горько, что нельзя идти путем полной правды! Горько, ибо даже проповедникам, которые стали его помощниками, он не до конца мог открыться. Переговоры с турками решено держать от них до последней минуты в тайне. Зато им можно было открыть другое — рассказать о великом предначертании родного края.

Глава XXXVI

Ученики и друзья Кампанеллы собрались на выгоревшем склоне горы Стило, выставили дозорных, уселись на камнях или прямо на земле в тени старого пробкового дуба. Отсюда хорошо виден город, дороги, расходящиеся от него, серебристая зелень оливковых рощ, рыжие камни церкви Ла Каттолика.

Кампанелла заговорил медленно, негромко, прислушиваясь к своим словам, искал их, как в темноте невидимую тропинку. Потом голос его стал тверже. И вот уже слушающих захватила его речь. Он напомнил о далеких временах, когда эта земля, лежащая окрест Стило, ныне обездоленная, ограбленная, нищая, звалась Великой Грецией. Города ее, некогда основанные людьми, приплывшими из Греции на кораблях, стали богаче, прекраснее и просвещеннее греческих. Здесь процветали науки, ремесла, искусства, поэзия. Люди, поселившиеся на этой земле, и те, что жили на ней прежде, слились в единое племя — сильное и прекрасное. Они были горды и свободны. Самому Риму противостояли! Кампанелла воспламенился. Один из городов Великой Греции, Тарент, потопил корабли Рима, осмелившиеся появятся без причины и права под стенами Тарента. Кампанелла оборвал себя на полуслове. Борьба Тарента против Рима, начавшаяся так прекрасно, продолжилась не очень-то счастливо. Римляне разгромили гордый город. Не время сейчас говорить об этом.

Оказывается, тот, кто готовит восстание, даже говоря об истории, не каждую страничку в ней может вспоминать. Раньше Кампанелла об этом не думал. Ему нужны сейчас лишь те страницы истории, что поднимают дух, что вселяют надежды.

Кто дал ему право отрезать своим ученикам лишь ломоть от хлеба истины, оставляя весь хлеб в своих руках? Тревожная мысль, неприятная. Кто он такой, чтобы вводить две меры для истины? Могущий вместить да вместит! Он сам знает о себе, что он может. А кто сказал ему, что идущие за ним не могут? Сейчас не время думать об этом. Все, что может вселить сомнения, прочь! Время для полной истины еще не наступило…

— Неужто мы согласимся с тем, что наша земля лишь в прошлом была великой? — спросил Кампанелла. Спросил так, словно сам еще не знает ответа, оглядел слушателей, увидел в их глазах свет напряженного внимания и вместо ответа прочитал сонет, недавно им написанный. Он обращался в нем к горе Стило. Никогда еще никому не приходило в голову посвящать ей стихи. Когда соберется на выжженной солнцем горе общество

избранников божьих, читал Кампанелла, когда облекутся они в белые одежды праведных, как о том сказано в Откровении Иоанна, тогда окажется, что Стило превзойдет вершины Парнаса, Олимпа и Капитолия. Такая судьба предначертана этой горе историей. Твердыня ее сохранила в нетронутой чистоте народ, обитающий у ее подножия, народ, противостоящий теперь всем козням зла, как некогда противостоял полчищам Ганнибала.

Кампанелла видит: слушатели поняли не все. Придется объяснить. Праведные, собравшись на горе Стило, сделают мир свободным. Они возвысят Стило выше Парнаса, ибо на его склонах родится новая поэзия, и она превзойдет поэзию древних. Стило возвысится над Олимпом, ибо здесь родится истинная вера, свободная от заблуждений язычества, возрождающая христианство как учение братства и справедливости. Стило возвысится над Капитолийским холмом, ибо станет колыбелью нового государства, которое превзойдет славу Великого Рима. Стило — священная гора! С нее начнется освобождение человечества.

Будущие избранники, еще не облаченные в белые одежды, сидели на горной поляне, окаймленной цепкими колючками терновника. Из-под замшелого камня с журчанием выбивался родник. На крутом склоне росла жилистая сосна, перекрученная от долгой борьбы с ветром. Здесь растут лохматые кусты и жесткая трава, пасутся козы. В пещерах водятся летучие мыши. Гора как гора. Но такая неистовая убежденность звучала в словах Кампанеллы, что его слушатели верили — отсюда они в белых одеждах обновления пойдут в мир, принесут ему свободу и справедливость, которой жаждут люди. А брат Томмазо уже читал им другие стихи. То был сонет, обращенный к истории. Почему римский сенат потерпел поражение? Почему правление Цезаря открыло дорогу варварам? Почему в Назарете родился Христос? Христос родился там, чтобы победить величайшее зло — тиранию Ирода. Варвары и Ирод — силы зла. Но их господство не вечно. Им суждено быть поверженными. Их победят силы правды и добра. И время победы близко.

Так Кампанелла вдохновлял единомышленников словом поэта, порой ясным, нередко таинственным, вдохновлял историческими примерами, поучениями, почерпнутыми из Писания. Дионисий сообщил им место следующей встречи, знаки, по которым они будут узнавать друзей, сказал о предосторожностях, которые надо соблюсти.

Неожиданно прозвучал вопрос о сроках. Когда начнется *то!* Что подразумевал спрашивающий под словом *то,* он не объяснил. Поразительно! Некоторые молодые оказались осторожными,

почувствовали, сколь опасны пророческие речи, которые они только что услышали, — избегают называть прямо объединяющий их замысел, не спешат высказывать чувства, осмотрительны в словах. Кампанелла понимал — остерегающиеся поступают верно, но душа его к ним не лежала. Однако он заставил себя ответить тоже не прямо. Заговорил о небесных знамениях, кои необходимо учесть в столь великом предприятии, о тайных свойствах, заключенных в цифре года — 1599, об осени, как времени, когда собирают жатву. Дионисий нетерпеливо перебил друга:

— Все, кому надлежит знать, узнают все, что им надлежит знать, когда то будет необходимо. Не раньше и не позже.

Когда все разошлись, Кампанелла и Дионисий тоже начали спускаться с горы.

— Стихи хороши. Белые одеяния — прекрасно, — медленно проговорил Дионисий. — Мы будем по ним узнавать друзей. Но белую одежду может надеть враг, как в басне волк надевает овечью шкуру.

— Его мы узнаем, в какое бы одеяние он ни рядился! — коротко ответил Кампанелла. Он был весь во власти одушевления, и думать, что среди внимавших ему может оказаться предатель, не хотелось. — Если обнаружится предатель, тогда и решим, как поступить!

— Пусть так, — ответил Дионисий. — Но заменят ли белые одеяния латы? Надо искать людей, готовых не только поверить, что Стило выше Парнаса, Олимпа и Капитолия, надо искать людей, владеющих оружием, знающих все уловки войны в горах и способных выдержать сражение на равнине. Нужны кинжалы, аркебузы, пистолеты, порох, пули, меткие стрелки, ловкие лазутчики, неутомимые всадники, крепкие кони. Самое прекрасное стихотворение не заменит самой плохонькой пушки. — Он оборвал себя. Не хотел обижать друга.

Тут Кампанелла неожиданно удивил его. Оказывается, он давно размышлял над военным искусством. Кампанелла сказал, что самые лучшие уроки ведения войны они отыщут в истории Моисея, Иисуса Навина, Давида, Маккавеев, Александра Македонского, Сципиона, Ганнибала. Особенно Ганнибала. Он воевал на итальянской земле. Оказалось, Кампанелла помнит десятки сражений, описанных в Библии, у греческих и римских историков. Когда только успел все это узнать!

Дионисий заслушался. Колдовским даром обладал его друг. Говорит так, словно они могут рассчитывать не на скрывающиеся в горах отряды фуорушити с оружием, выкованным в деревенских кузницах или купленным в оружейных лавках, а на полки

Ганнибала с его боевыми слонами, на грозные римские легионы. Военному искусству надо учить смолоду. Атлеты должны обучать отроков искусству битвы, владению мечом, копьем, луком и стрелами. Старинное оружие не требует пороху и может оказаться грозным. Отроков следует совершенствовать в применении пращи — камнем из нее сразил Давид Голиафа. Пусть упражняются в верховой езде, в искусстве нападения и обороны. Воин должен уметь лить пули из свинца, оборонять крепостные стены и атаковать их, бросать камни с бойниц и стрелять из аркебуз. Но превыше всего — презрение к опасности. Пусть воин знает: трусость в бою неотвратимо наказуется. Но главное — пусть презирает смерть, помня: душа бессмертна и мужество на земле будет вознаграждено в вечности. В той республике, о коей они мечтают, именно так и будет — и большие смотры войск, и ежедневные упражнения в городе и в поле, необходимые, чтобы войско было в готовности, а тело и дух не изнеживались.

Что возразишь на это? Разве только, что годы уйдут на подготовку такого войска, какое видится Кампанелле. Разве не назначили они восстание на осень 1599 года?

Да, это так. У них впереди нет долгих лет, у них даже месяцев немного. Им надо считать не воображаемые большие армии, а каждую горсточку людей. Каждый фуорушити, который сможет повести за собой родных и соседей, на счету. Каждый дворянин, обиженный испанцами. Каждый монах, который согласится стать проповедником их мыслей. Каждый кузнец, который сможет ковать для них пики и кинжалы. Каждый деревенский мальчишка, который сможет быть быстроногим гонцом. Боевых слонов у них не будет, а вот об осликах, способных доставлять вьюки с припасами по горным тропинкам, надо подумать. Надо запасти и насушить хлеба, навялить мяса, приготовить лекарства для ран, о лекарях позаботиться.

С сияющей высоты священной горы, какой представилась Кампанелле гора Стило, нужно спускаться на землю. На узкую тихую улочку дремотного, богом забытого городка. Где каждый знает своих соседей. Где достаточно пройти вместе, чтобы вечером женщины у колодца рассказывали: «Брат Дионисий и брат Томмазо откуда-то возвращались сегодня вместе». — «Как это откуда? Словно ты не знаешь! Проповедовали на горе!»

На краю городка они распрощались. С болью в сердце Дионисий увидел, что Кампанелла словно потух. В глазах его уже нет воодушевления, с которым он час назад читал стихи и говорил о будущем. Устал! Неудивительно. Дионисий знал, чего стоит вдохновенная проповедь. Но друг не просто устал. Кампанелла — Колокол. Колокола вознесены над землей, чтобы с

поднебесной высоты был слышен людям их набатный зов. С этой высоты видно далеко окрест — мысль его друга простирается в дальние страны, в прошлое и настоящее. Он, Дионисий, может только дивиться этой способности. И не его вина, что ему приходится напоминать другу о земле, на которой они стоят, по которой ходят, по которой поведут повстанцев.

Глава XXXVII

Когда готовишься разрушить ненавистное, надо знать, что построить на развалинах. Кампанелла знал. Ему виделся Город Солнца. Ибо нет во Вселенной ничего щедрее этого светила и справедливее. Оно светит всем. Греет всех. Нет для него ни знатных, ни простолюдинов, ни богатых, ни бедных. Оно — действительный бог этого мира. Название для своей мечты ты нашел. Это прекрасно, но этого мало. Кампанелла знает гораздо больше. Его город будет красив. Уроженцу Калабрии города, лежащие на равнине, плоские, как лепешка, скучны. Город Солнца будет выстроен на холме. С его башен видно далеко окрест. Его прекрасные дома стоят на разных уровнях, они соединяются галереями и мраморными лестницами…

Кампанелла, ты увлекся! Уж не собираешься ли ты, изгнав испанцев, начать сразу строить этот прекрасный город, где все будет новое — дома, площади, люди, обычаи? Где ты возьмешь на это средства, когда кругом горькая нищета и нужно думать не о новом городе, а о дырах в крышах и стенах разваливающихся домов, где живут те, кто пошел за тобой? И что ты будешь делать со всеми маленькими, бедными городами и селениями, со всеми Стило, Катанзаро, Джираче, Никастро — всех и не перечислишь? Пожалуй, жители не согласятся бросать родное гнездо ради Города Солнца. Оно им дорого — с кривыми улочками, с облупленными стенами, с пересыхающими в жару фонтанами. Они хотели бы жить получше здесь, а не переселяться в придуманный тобой город, который неведомо когда будет построен. Это не они говорят. Это Кампанелла говорит сам себе. Он хорошо знает своих калабрийцев. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, считают они. И правы по-своему. Этот город, с его воротами, храмами, галереями, аркадами, просторными домами, — мечта. Ему хотелось бы такой построить, но он знает, сколь это трудно. Быть может, недостижимо при их жизни и будет завещано потомкам. Сейчас надо думать о том, какую жизнь создавать в тех городах, что уже построены. Кампанелла все обдумал. Люди должны отрешиться от себялюбия и заменить его любовью к общине. Все в их жизни должно быть проникнуто дружбой — в пору военной опасности, во время болезни, при соревновании в науках. Они будут почитать за знатнейших тех, кто изучил больше искусств и ремесел и применяет их с наибольшим знанием. Самыми гнусными пороками в их глазах станут гордость, надменность и чванство. И никто не станет считать для себя унизительным прислуживать другим за столом

или на кухне, ходить за больными. Всякое необходимое для общего блага дело будут они почитать полезным. Обязанностей у них много, но они так распределены, что каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проходит в приятных занятиях науками, в собеседованиях, чтении, прогулках, развитии умственных и телесных способностей, и все, что делается, делается радостно…

Когда Кампанелла говорил о будущем, лицо его, в последнее время напряженно-сосредоточенное, угрюмое, тревожное, менялось. На него падал солнечный свет прекрасных видений, и какой бы обычай будущей жизни он ни описывал, он непременно говорил: работать, заниматься науками, беседовать с друзьями, развивать ум и тело — все будет радостью. Не тягостные обеты, не угрюмые запрещения будут определять жизнь, а радость. Радость, озаряющая мир, как Солнце.

Шли дни, а вестей от Маврикия все не было. Не так-то просто связаться с турками, убедить их, что заговорщики — сила, что они действительно могут рассчитывать на победу над испанцами, что их обещания чего-то стоят. Маврикий не сказал друзьям, где и как предполагал встретиться с теми, кто мог передать его предложения Синан-паше. Обдумывая все, что нужно для успеха их замысла, они решили: каждый будет знать только то, что ему необходимо. То, чего человек не знает, у него не вырвет никакая пытка, проговорил Маврикий.

Они сидели на каменной террасе полуразрушенного дома. Терраса была увита диким виноградом. Его листва даже в жаркий полдень давала тень. День казался дремотным и мирным. Но от слов о пытке повеяло ледяным ветром. Думая о том, что сделать для победы восстания, они забывали возможность поражения. Маврикий напомнил о нем. Наступило тягостное молчание. Кампанелла лучше своих друзей представлял, что ждет их, если восстание разгромят. Перенесенное им в Замке Святого Ангела ничтожно в сравнении с этим. А ведь он о тех унижениях и пытках, которые испытал, не рассказывал друзьям. Зачем отягощать их души?

Вот и сейчас Кампанелла заговорил о другом. Он указал на тонкие деревца, пробивавшиеся между каменными плитами террасы.

— В невидимую щель между камнями упало крошечное семя. Камень тверд. Он сдавливал семя и противостоял ему. Но семя проросло, росток пробился… Росток не спрашивал себя, могу ли я одолеть камень, не задохнусь ли в его жестоких объятиях. Его звало солнце, его поил дождь, и он рос. Прошли годы — всесильная каменная кладка поддалась. И вот уже корни рвут ее,

деревцо растет, трещины побежали по камню. В них снова набивается земляная пыль, снова падает крошечное семя. Натиск слабых ростков все сильнее… — Кампанелла помолчал, а потом спросил: — Почему малое семя побеждает большую каменную плиту? Потому что право! Оно создано для того, чтобы расти, и оно растет. И ничто его не удержит.

Теперь, когда от Маврикия не было вестей, Кампанелла надеялся, что в трудный миг сомнений тот вспомнит его слова о крошечном семени и они помогут ему.

Пора взвесить свои силы. Оказалось, семя их замысла тоже дало ростки. Молодые монахи из орденов — доминиканского и августинского — понесли проповедь Кампанеллы по всему Неаполитанскому королевству. В словах, почерпнутых из грозных пророчеств Апокалипсиса, они предвещали великие перемены. В словах, извлеченных из Ветхого завета, они призывали к восстанию против поработителей и если не называли испанцев прямо, каждому было ясно, о ком речь. То бродячий торговец принесет Кампанелле весточку без подписи и обращения с условной строкой из Вергилия или Данте, которую сам посланец, даже если бы был грамотен, понять не мог, то погонщик мулов доставит корзинку с желудями или ветку маслины. Корзина желудей, ветка, условная строка внятны Кампанелле, как подробное письмо.

К нему прибывают и куда более важные вестники. У них всегда есть предлог — необходимость повидаться с настоятелем монастыря, передать капитулу послание провинциала. С Кампанеллой они встречаются с предосторожностями. Это посланцы епископов. Их речи уклончивы, слова туманны, выбраны так, чтобы от всего можно было отречься. Если верить осторожным словам, епископы четырех калабрийских городов — Никастро, Джираче, Милето и Оппидо проявляют интерес к неким планам и склонны их поддержать. Поддержка епископов важна. Она означает в нужный момент благословение, очень важное для колеблющихся. Поддержка епископов — это, быть может, деньги, необходимые, чтобы купить оружие. Правда, в этом пункте посланцы особенно уклончивы. У каждого епископа в эти тревожные времена есть вооруженные слуги. Можно ли рассчитывать на них? Это также не становится яснее в ходе долгих бесед. Понятно одно — епископы ведут переговоры не только с ним, но и между собой и определили общую позицию. Ее можно назвать — благожелательное осторожное ожидание. Недаром один из епископских посланцев воодушевленно заговорил о римском полководце Фабии, прозванном Кунктатором — Медлителем. Вспыхнув, Кампанелла сказал, что

более приличествовало бы вспомнить Данте: «В великой той борьбе, какую вел господь со князем скверны, они остались сами по себе: на бога не восстали, но и верны ему не пребывали. Небо их отринуло, и ад не принял серный».

Посланец с дипломатической улыбкой ответствовал, что передаст своему доверителю эту ссылку на величайшего из итальянских поэтов.

Трудными были переговоры, встретиться после них с простодушными и пламенными фуорушити — отрада.

Но сколь ни прямодушны и горячи они, рассчитывать только на их отряды нельзя. Они годились для внезапных нападений в горах, чтобы перерезать дорогу, соединяющую испанские гарнизоны, для разведки. А нужно войско, способное принять бой в открытой долине. В Калабрии немало итальянских дворян, оскорбленных владычеством испанцев. У многих из них свой длинный список обид. Такие семьи Дионисий знает наперечет. Оттесненные от двора вице-короля, обедневшие, не имеющие надежд на важные должности, они ждут от восстания перемен. Им надоело повиноваться, им хочется повелевать. Им надоело помалкивать. Им хочется говорить. Так, чтобы их слушали и слушались. Им надоело довольствоваться крохами, падающими со стола. Хочется сесть за стол.

Беседуя с ними, Кампанелла и Дионисий не открывали всего. Умалчивали, что после победы собираются ввести законы на благо бедных. Туманно говорили о замыслах создать республику. Чувствовали — с этими союзниками, самолюбивыми, себялюбивыми, честолюбивыми, изголодавшимися по власти, деньгам, почету, все непросто. Но об этом на время приходится забыть. Дворяне, обещавшие поддержку, не только сами возьмут оружие и сядут на коней, они выставят солдат, которых содержат на жалованье. Те не спрашивают, с кем и за что сражаться, — платили бы деньги! Таких солдат, которых могут дать в поддержку заговору дворяне, от полутора до двух тысяч. Войско!

А города? Города с их ремесленниками, торговцами, натерпевшимися от испанцев, с их беднотой? Города, где так ненавидят испанских фискалов, обложивших налогом и первый крик новорожденного и последний вздох умирающего? Как поведут себя города с их беднотой? Никастро, Стило, Катанзаро, Савилачче, Терифалько, Таверна, Тропеджа, Реджио, Санта-Агата, Козенца, Тассано, Кастровиллари, Терра Нуова обещали помощь. Невелики эти города, многие не отличишь от деревни. Но разве велико было семя, взломавшее каменные плиты?

Глава XXXVIII

Когда Маврикия не было рядом, Кампанелла чувствовал, как ему недостает его советов в военном деле. Однако когда Маврикий вернулся, Кампанелла испытал вместо облегчения тревогу. Казалось, надо радоваться. Турки согласны помочь. Назначен день и место, когда и где их суда нападут на побережье, начнут обстрел, высадят пехоту. В тот же самый день спустятся с гор фуорушити.

Тройной удар подготовлен как нельзя лучше. Почему же тревожится Кампанелла? Когда Джамбаттиста делла Порта собирался впервые соединить несколько веществ, он отделял от каждого вещества по крупице, соединял их в малой реторте, смотрел, что получится. Точно так же поступал когда-то изобретатель пороха немец Бертольд Шварц. Если бы он сразу начал смешивать вместе уголь, селитру, серу в большом количестве, не испытав смесь малых крупиц, он взлетел бы на воздух, не доведя опыта до конца, и некому было рассказать, что он придумал.

Пробовать с осторожностью, пробовать на малом! — говорил делла Порта. Хорошо ему говорить! Хорошо было изобретателю пороха. Он, Кампанелла, не может испробовать свой план осторожно и на малом. Тому, кто готовит восстание, чтобы создать справедливое государство, возможности поставить опыт на малом не дано. Примеряться он может только в уме. Рисковать приходится всем. Всем и сразу. Каждое действие, ведущее к восстанию, совершается окончательно. Все, чего они не предусмотрят сейчас, потом уже не сделаешь. Их трое. Он, Кампанелла, в уме которого живут истории множества войн, заговоров и восстаний от библейских времен, когда Давид поверг Голиафа. Он помнит монаха Якопо Буссолари, который двести с лишним лет назад поднял народ против правителей Павии, одержал победу и начал преобразовывать жизнь города. Он помнит и другого монаха — Иоахима Калабрийского, который проповедовал жизнь, основанную на равенстве, и предсказывал наступление царства справедливости. Дионисий, как никто, знает жизнь калабрийцев. У него знакомые и в темных пещерах фуорушити и в роскошных епископских дворцах. Он умеет толковать с крестьянином и дворянином. С каждым на его языке. О делах житейских и о политике. Маврикий рожден не только для войны, но и для переговоров. Прекрасный триумвират!

Едва в мыслях Кампанеллы мелькнуло это слово, он помрачнел. Он хорошо помнил, чем заканчивались в прошлом

судьбы самых блистательных триумвиратов. Он не ровняет их троих с триумвирами древних, но одно ему ясно уже сейчас — полного согласия между ними нет. Вот еще причина, почему нельзя откладывать восстание, чуть заметные трещины разномыслия могут углубиться. Да и невозможно откладывать: срок турецкому флоту назначен.

Когда они коснулись этого важнейшего пункта плана, Дионисий не сдержался и негромко озабоченно проговорил то, о чем давно думал:

— Турки помогут нам прогнать испанцев. Прекрасно! А кто поможет нам потом прогнать турок?

Маврициий вскочил. Его лицо мгновенно побелело, а голос прозвучал сдавленно, гнев перехватил ему горло.

— Вначале вы посылаете меня договариваться с турками, а теперь, когда я договорился!..

Кампанелла перебил его. Никем не выбранный главным среди заговорщиков, он не сомневался: главенство принадлежит ему. Никто не оспаривал этого. Он знал, заговорщики называют его Мессией. Он не присваивал себе такого имени, но если они зовут его так и такое имя укрепляет их веру в победу, хотя носить его смертельно опасно, от него дышит костром, — пусть называют! Кампанелла властно перебил Маврициия:

— Замолчи! Не ищи упрека там, где его никто не высказал. Если что-нибудь принесет нам беду, это сомнения в споры. Мы перешли свой Рубикон!

Кампанелла указал широким взмахом руки на речку Стильяро, струившуюся подле рощи. Бурная и полноводная весной, когда в горах таял снег, сейчас, в августе, она неглубока и неширока. Ее переходили вброд, замочив ноги не выше колен. Но ведь и Рубикон, граница между Галлией и Италией, был не слишком широк и глубок. Однако когда он был перейден, это означало: возврата нет! А сколь ничтожно то, к чему стремился Цезарь, переходя Рубикон, по сравнению с тем, к чему стремятся они! Он искал в своем походе на Рим пути к личному могуществу, его вело честолюбие — они ищут пути к всеобщему счастью! Их ведет любовь к людям. Они не должны, они не могут, они не смеют сомневаться.

Август был даже для здешних мест необычно жарок. Ночи томительны. Ручьи обмелели. В колодцах не хватало воды. Трудно стало поливать огороды. Засуха — грозный знак, предвещающий перемены. Вот так и надо толковать его людям. Тогда сама беда принесет пользу заговору!

Каждый из дней, оставшихся до назначенного срока, тянулся бесконечно. Кампанелла вставал рано, весь день был на ногах,

ночью долго не мог уснуть: дневные беседы, тревоги, опасения, строки новых стихов, мысли о будущем одолевали его. Любое неосторожное слово, сказанное днем, ночью приобретало очертания грозной опасности. Пустяк, который он забыл сделать днем, вырастал ночью в препятствие неодолимое. Мысль металась. Сон был тревожен и сил не прибавлял. Скорее бы все началось!

Глава XXXIX

Все готово. Ждать недолго. Краткость отмеренного срока и радовала и страшила. Кампанелле вспомнился случай, который произошел с ним в детстве. Это было ранней весной. В горах таял снег, и речка Стильяро наполнилась водой. В Стило молодые парни ходили от дома к дому с радостными криками: «Февраль кончился, март на пороге!» Им подносили вина, угощали вяленым виноградом, сушеными дынями. Перед домами девушек на выданье они задерживались. Долго пели хором. А когда обошли все улицы, почувствовали, что не навеселились, не напелись, не накричались.

— В гору! — крикнул кто-то. И все кинулись за ним. Шли вверх по тропке, потом взбирались по крутому склону, упираясь ногами в каменные выступы, хватаясь руками за высохшую траву. Карабкались. Главное — не оглядываться. Наконец добрались до ровной, усеянной камнями площадки, сели передохнуть. Сильно билось сердце, кровь стучала в висках. Весна и высота кружили головы. Спуститься вниз и разойтись невозможно. На краю площадки лежал камень. Казалось, он прирос к телу горы.

— Столкнем! — предложил заводила. Попробовали перевернуть его, он не поддавался. Налегли все вместе — не качнулся. И вдруг показалось, нет для них ничего важнее, чем своротить камень. Подбадривая друг друга, изо всех сил упираясь ногами, что есть мочи толкая руками, пошевелили, а потом перевернули камень. Из-под него выскочили испуганные ящерицы. Камень, поддаваясь дружному усилию, перевернулся еще раз, на миг замер на краю площадки, а потом покатился по склону. Те, кто толкал особенно рьяно, чуть не упали. Руки уперлись в пустоту. А камень вначале медленно, потом все быстрее и быстрее скатывался вниз, увлекая за собой другие камни. Они срывались со своих мест и катились за ним. Тоже вначале медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее. И скоро это был уже грозный камнепад. Камни грохотали, они ломали кусты, валили деревца, оказавшиеся на их пути. Из гнезд на склоне горы с громкими криками вылетали птицы. Грохотало, рушилось, скрипело, трещало.

На винограднике под горой заметались люди. Внизу на колокольне тревожно забил набат. Звонарь заметил каменную лавину. Звонил так, как звонил, когда возникал пожар или виноградникам угрожал град. Кампанелла подумал о дороге, проходящей внизу под горой. Что, если камни обрушатся на нее, когда по ней будут идти или ехать люди? Сбежать вниз,

предупредить? Куда там! Каменную лавину не обгонишь. И вдруг грохот стал тише, а потом оборвался. Камни уперлись в скалистый выступ. Он преградил им путь. И скоро у его подножья лежала груда камней. Неподвижная. Будто лежала тут вечно, будто камни эти только что не катились по склону, ломая кусты и деревья, пугая птиц и людей. Виноградари вернулись к своей работе. Колокол перестал звонить. А на вечерней службе священник произнес проповедь о беде, которую господь наш, Иисус Христос, и его Мать, святая дева Мария, отвратили от полей и домов Стило. В сем событии следует видеть не только великую милость Господню, но и предостережение.

Давно это было, а Кампанелла до сих пор помнит чувство, охватившее его, когда он глядел на камнепад, вызванный их руками. Минуту назад казалось, что нет ничего важнее и веселее, чем своротить старый камень и сбросить его под обрыв. И вот уже камень покатился. Не удержишь. И лавину не остановишь. Камень, только что не повиновавшийся их рукам, теперь сам продолжает грозное свое движение. Оно неостановимо…

Глава XL

Некоторое время назад к старому рыбаку Якопо стал приходить молодой странствующий монах, недавно объявившийся в их селении. Рыбак видел от него много добра. Когда Якопо повредил себе руку и боялся, что рука вовсе пропадет, монах лечил его и говорил с ним, как никто и никогда раньше.

Монах знал, откуда — неведомо, как тяжело живется рыбакам: лодка и снасти дороги, уловы не те, что в былые времена, а цены такие — рыбу хоть выбрасывай. Монах соглашался — времена действительно изменились к худшему. Но вечно так продолжаться не может. Вечно так продолжаться не будет! Грядут перемены, и уж для кого-кого, а для бедных рыбаков, пахарей, виноградарей они будут к лучшему. Так и в Писании говорится.

Монах рассказывал о некоем брате Томмазо. Если бы Якопо мог послушать того! Слушаешь, и кажется, ты живешь уже в новом, прекрасном, разумном мире, где бедный больше не беден и незнатный в почете.

Якопо стар, болен, необразован, но и он может внести свою лепту в святое дело. Нужно, чтобы он от рассвета и до заката не спускал глаз с моря и, едва завидит турецкие корабли, зажег костер, а потом послал внука в монастырь. С корзиной рыбы, где будут лежать раковины по числу кораблей. И еще: если к нему когда-нибудь придет человек, передаст привет и спросит, как его больная рука, значит, это друг. Ему нужно помочь: позволить переночевать в своей хижине или отвезти на лодке, куда он попросит. И, наконец, обо всем, о чем они говорили, никому не нужно рассказывать. Якопо пообещал, хотя и подивился такому предупреждению. Какая тайна в том, что он обещал предупредить о турецких кораблях? Это от турок тайна! То, что близятся перемены, тоже не тайна, об этом толкуют все и постоянно. Но он обещал молчать, слово свое сдержит.

Якопо набрал сухих водорослей и мха, стащил в кучу обломки старой лодки и все выброшенное морем, что могло гореть, приготовил смолы, чтобы дым был чернее. Когда дым поднимется вверх, его заметят рыбаки, живущие дальше по берегу, и тоже разожгут костры. Но первым будет он! Якопо всегда славился зоркостью, а к старости она стала и вовсе удивительной. Рыбак поклялся все исполнить. Да и как не поклясться! Предупредить о приближении турецких кораблей — дело благое.

Море было таким, как всегда в эту пору, в августе, — его синева, прозрачная и светлая на рассвете, темнела и густела к полудню. Белые облака неподвижно висели над ним. С юга дул несильный ровный ветер. Терпеливо ждал Якопо появления кораблей. Он ждал их на горизонте, а они внезапно и бесшумно выплыли из-за ближнего мыса. Это были не турецкие корабли. Борта турецких галер невысоко поднимаются над водой, и на них не только паруса, но и весла. А это высокобортные парусники с резными фигурами на носу, с жерлами пушек, высунутыми в темные вырезы бортов. Испанские корабли!

Якопо замер в растерянности. Появление турецких галер не испугало бы рыбака так, как внезапное и потому устрашающее возникновение испанских кораблей. Он не знал, как ему поступить теперь.

И все-таки он решился. Корабли есть корабли! Якопо высек кресалом огонь из кремня, раздул затлевшее огниво, поднес его к мху, сложенному под хворостом. Занялся огонек. Едкий дым ел глаза. Скоро костер запылал. Над ним поднялся черный столб смолистого дыма. Рыбак сосчитал корабли, вытянул из воды корзинку, где билась рыба, вложил в корзину ракушки по числу кораблей, растолкал спавшего внука, сунул ему корзинку в руку, напомнил, куда он должен идти, и, поколебавшись, проговорил: «Скажи там, это не турки, это испанцы! Скажи — испанцы. Беги!»

Он подбросил в костер сушняка и кинул ветошь, пропитанную смолой, — столб дыма стал еще чернее. Скоро на другом мысу, где корабли еще видны не были, тоже поднялся в воздух столб дыма — весть подхвачена! Теперь все побережье узнает — чужие корабли подошли к берегу. Весть дойдет до тех, для кого она предназначена, только не объяснит, что корабли испанские. Об этом станет известно, когда внук доберется до монастыря…

Тут вдруг на борту первого корабля вспухло белое облако, тяжело грохнул гром, в воздухе что-то просвистело. Сильный удар сотряс землю. Около Якопо песок фонтаном взлетел в воздух. По нему, по его костру выстрелило корабельное орудие. Ага, значит, испанцам не понравилось, что он подал сигнал! Мало радости, когда по тебе садят из пушки, но Якопо почувствовал облегчение — раз испанцы недовольны, он поступил правильно.

От корабля отвалила шлюпка. Гребцы изо всех сил налегали на весла. Дожидаться, пока они высадятся, Якопо не стал. Не ждал от них ничего хорошего. Пусть гасят его костер, если хотят. Костры уже полыхают вдоль всего побережья. Всех не загасишь! Уйти далеко он не успел. Его настигла посланная за ним погоня. Испанский офицер жестоко бил рыбака, допытываясь, кто велел

ему зажечь костер. Перед смертью Якопо вспомнил старинную поговорку: «Испанцы хуже турок!»

Глава XLI

В жизни Кампанеллы было много трудных дней, но этот оказался самым трудным. Весть о появлении кораблей поразила его преждевременностью. Рыбакам было велено наблюдать за морем загодя. Но корабли ожидались много позднее. Видно, у них были причины изменить срок. Как быть с сигналом для выступления? Подавать или выждать? Он не мог принять такого решения без Маврикия и Дионисия, а их, как на грех, именно в этот час с ним не было — сложен, разветвлен заговор, и обоим хватало дел в других местах.

Пока Кампанелла колебался, он получил новое ошеломляющее известие — к побережью подошел не турецкий флот, а испанский. Случайность? Но она выглядела странно — почему именно туда, где должен появиться флот турецкий, и незадолго до того, когда заговорщики ожидали его здесь? Одно ясно: внезапно и неожиданно турки ни обстрелять берег, ни высадиться здесь уже не смогут. План нужно немедленно менять…

События разворачивались с устрашающей быстротой. Испанцы не стали крейсировать вдоль побережья, встали на якорь в одной из калабрийских гаваней, высадили на берег конницу и пехоту. Глашатаи объявили перепуганным жителям, что им ничего не угрожает. Вице-король в своем отеческом попечении о вверенном ему крае прислал корабли и солдат, чтобы уберечь побережье от предполагаемого нападения турецких пиратов.

Верный человек, близкий к губернатору, дал знать Кампанелле — план заговора не тайна для испанцев. Среди заговорщиков нашлись люди, сообразившие, что блага от заговора — дело сомнительное. Награда за донос сулит выгоды несомненные. Они сообщили властям о готовящемся выступлении и назвали заговорщиков, которых знали.

Прошло несколько дней, покуда бумаги, в которых были записаны их показания, добрались из Калабрии до Неаполя. В канцелярии вице-короля они не задержались. Едва прочитав их, вице-король увидел всю опасность заговора. Если бы речь шла только о выступлении фуорушити, беда невелика. С ними справились бы местные гарнизоны. Но доносчики утверждали, что в заговоре участвуют многие калабрийские дворяне, монахи разных орденов и монастырей, им обещали поддержку несколько епископов, они в сговоре с турками, на их стороне сам папа! Было от чего всполошиться. Вице-король немедленно собрал совет. Не меньше, чем заговорщиков, он боялся гнева короля, если вести о

заговоре дойдут до Мадрида раньше, чем заговор будет разгромлен. Испанским кораблям, стоявшим в неаполитанской гавани, было приказано, взяв на борт пехоту и конницу, отплыть к берегам Калабрии. Но горным дорогам поскакали гонцы, повезли приказ гарнизонам Калабрии быть в полной готовности к боям с повстанцами. Начальником карательной экспедиции, посаженной на суда, был назначен итальянец Карло Спинелли. Он уже давно верой и правдой служил испанской короне, старался, чтобы никто не мог вспомнить, что он итальянец, говорил только по-испански и носил испанский наряд. Как многие изменившие родной земле, он был особенно жесток к соотечественникам. У Спинелли был опыт борьбы с фуорушити, но предстоявшая ему операция была куда сложнее. Приказ вице-короля гласил: высадке турок воспрепятствовать, главных заговорщиков захватить живыми. Имена Кампанеллы, Дионисия, Маврикия предатели сообщили испанцам.

Всех этих подробностей доброжелатель, известивший Кампанеллу о доносе, не знал. Однако в правдивости его слов сомневаться не приходилось. Нужно ли другое подтверждение, кроме испанских кораблей, внезапно появившихся у берегов Калабрии! Увы, есть еще одно свидетельство, которое вызвало непереносимую боль в душе Кампанеллы. Едва испанские корабли высадили на сушу своих солдат, многие заговорщики дрогнули. Стали прятаться, как от чумы, от посланцев Кампанеллы, не отвечали на условные сигналы, а некоторые поспешили с повинной. Испанцы узна́ют от трусов то, чего им, быть может, еще не сообщили доносчики.

Кампанелла, Дионисий, Маврикий встретились снова в разрушенном доме подле Стило. Пока что это убежище, скрытое в одичавшем саду, казалось надежным. Как быть дальше? Благоразумие подсказывало — немедленно предупредить всех сторонников о провале, чтобы они успели бежать в горы, а потом скрыться самим. Но заговор разросся. Они давно уже не знали всех участников, а некоторые посланцы, через которых они поддерживали связь с другими заговорщиками, исчезли: не то арестованы, не то затаились. Доверие к людям пошатнулось. Все, что выглядело прочным и надежным, стало зыбким. Сомнения начал вызывать сам замысел восстания — они могли рассчитывать на его успех, только покуда их выступление было стремительным и неожиданным для испанцев. С местными гарнизонами они могли бы справиться, если бы испанцы были отвлечены ударом с моря. Теперь надеяться не на что! Надо спасти тех, кого можно спасти. И немедля скрыться самим.

Маврикий и Дионисий ждали, что скажет Кампанелла. Как

непохоже все то, что ему приходилось обдумывать прежде, на то, чего ждали от него теперь! Тяжела ноша человека, от которого зависят судьбы доверившихся ему людей. С той минуты, как Кампанелла узнал о предательстве, его лицо, и без того смуглое, почернело. Глаза были воспалены бессонницей. Голос звучал хрипло и надтреснуто:

— Переждать? Затаиться? Подать сигнал к выступлению? Всех фуорушити испанцы не переловят, не все дворяне, обещавшие помощь, испугаются, турецкий флот тоже не столь слаб, чтобы его остановило одно лишь появление испанских кораблей. Первая удача — и у нас появятся новые сторонники.

— Это безумие! — нетерпеливо перебил Маврициий. — Мы погубим тех, кто последует сигналу. Еще ни одного боя, а наши ряды уже растаяли от страха перед испанцами. Турки? Они обещали нам помощь, но не сражение с испанским флотом! Не будем обманывать себя! Мы проиграли! — В его голосе звучали горечь и усталость — последние ночи он почти не спал, а дни проводил в седле.

Дионисий с тяжелым сердцем согласился с Маврицием. Решили: отложим, переждем, потом начнем сначала связывать нити, искать союзников. Не пришлось.

Глава XLII

Накануне и сегодня с утра в Стило все было еще спокойно. Горожане заняты уборкой винограда. Ослики, нагруженные корзинами, с темным, почти черным виноградом, тянулись к навесам и давильням. В ямах, наполненных виноградом, сменяя и подзадоривая друг друга, плясали босоногие давильщики. После засушливых дней виноград был необычайно сладким. Кто станет думать об испанском флоте, когда нужно собрать виноград? Воздух дышал виноградным соком. Гудели пчелы. Смеялись и пели люди, опьяненные работой, важнее которой ничего в их жизни не было.

Эти песни, смех, топот, веселье дружного труда, запах, привычный с детства, вселили в душу Кампанеллы бодрость.

Но сейчас, когда они вернулись в Стило, городок вымер. Никто не хлопотал у винограда, сложенного под навесами. Не видно было женщин с кувшинами около фонтана на площади. Никто не стоял и не сидел перед домами. Ставил на окнах были закрыты. Тревога стиснула сердце. Нечем дышать. Кампанелла еще ничего не успел проговорить, как Маврициий схватил его и Дионисия за руки, потащил за собой за живую изгородь. Он первым услышал цоканье копыт по камню и чужие голоса.

На улице появились испанские конники, десятка два. На них были красные куртки, кожаные колеты, высокие сапоги со шпорами. Ехали они на прекрасных рыжих конях. Длинные пики упирались в стремена. У некоторых поперек седел лежали короткие аркебузы, а у двух конников в первом ряду — даже тяжелые колесные пищали. У каждого шпага на боку и кинжал за поясом. Гордой была их посадка, надменными были их лица, хозяевами ехали они по вымершей улице Стило. Кампанелла задохнулся от ярости.

Прямо против того места, где они спрятались, перед навесом лежала гора винограда, которую еще не успели перенести к давильне. Здесь на каменной площадке его складывали испокон века.

Но всадник, который ехал первым, не свернул в сторону, а направил коня прямо на виноградную гору. Запрядав ушами, конь помедлил, но кавалерист, крикнув на языке, прозвучавшем здесь чужим и враждебным, пришпорил коня, и тот, а за ним все остальные проскакали по винограду, топча подковами спелые гроздья, смешивая виноградный сок с уличной пылью, оставляя на раздавленном винограде яблоки навоза.

Трое скрывшихся за изгородью были сыновьями этой земли;

они знали, что значит для людей, которые живут здесь, виноград. С ним обращались любовно. Ребенку не простили бы, раздави он виноградную гроздь для забавы. А теперь испанцы виноград топчут, хотят показать всем жителям Стило, испуганно смотревшим сквозь щели в ставнях, кто здесь хозяева.

Мавриций побелел от унижения, ярости и стыда. Что они могли — он с пистолетом и шпагой и два безоружных монаха?

Отряд еще не миновал изгородь, за которой они затаились, как на улице навстречу ему появился ослик, навьюченный полными корзинами. Его хозяин задержался на дальнем винограднике. Ослик заметил коней и остановился. Испанец, ехавший первым, что-то крикнул. Виноградарь испуганно попытался стянуть ослика на обочину. Тот заупрямился. Напрасно хозяин колотил его палкой. Ослик стоял как вкопанный. Испанец поднял аркебузу, опустил кремень, небрежно прицелился и выстрелил в осла. Тот с ревом рухнул вначале на колени, потом повалился набок. Из корзин высыпались виноградные гроздья. Хозяин ослика закричал и заплакал. Испанец, аркебуза которого еще дымилась, с хохотом наставил на крестьянина пику и на ломаном итальянском языке приказал убрать падаль. Виноградарь, причитая, оттащил ослика на край дороги. За ним по камням потянулась темная полоса крови. Испанцы, не оглядываясь, поехали дальше. Виноградарь стал колотить кулаками по камням, разбивая руки в кровь, и отчаянно кричать, оплакивая свою потерю и проклиная на чем свет стоит испанцев, которые были уже далеко.

— И этого мы им не забудем! — шепотом сказал Дионисий.

Они еще не успели выйти из укрытия, как по улице, стуча в барабан, прошел городской глашатай. Объявлял приказ испанцев — выдавать бунтовщиков, за что полагается награда, и не укрывать их, за что полагается суровое наказание. Надо скрываться. Но как? Где?

— Я пойду в Стиньяно, — сказал Кампанелла.

— Тебя там знает каждый! — возразил Дионисий. — Опасно!

— В нашем положении все опасно, — почти беззвучно сказал Кампанелла. — Там меня, действительно, знает каждый, и потому, надеюсь, не выдаст никто.

Выбор невелик. Итак, Кампанелла пойдет в Стиньяно, Дионисий постарается укрыться в дальнем монастыре, где у него есть друзья. Мавриций ночью тайными тропками попробует добраться до фуорушити.

Кампанелла шагал по дороге, по которой он в детстве столько раз ходил из родной деревни в Стило и из Стило в

деревню. Он знал на ней каждую выбоину, помнил каждое дерево, каждый куст. Сегодня она казалась ему бесконечно длинной и полной опасностей. Гора Стило, на которой должны были собраться праведные воины в белых одеждах, темнела в вечернем небе немым горьким укором. Отсюда все должно было начаться и здесь все, не начавшись, кончилось. Обманули все надежды и расчеты, обманули светила. Вчера о нем говорили как о Мессии, сегодня он — беглец, не знающий, где преклонить голову.

Чем ближе Кампанелла подходил к дому, тем больше его одолевали сомнения. Он не рассказывал о заговоре ни отцу, ни брату. Но слухи до них, конечно, доходили. Если сейчас он появится в родном доме, ему не утаить, что он скрывается. Отец станет расспрашивать, что сын собирается делать дальше, зачем вернулся. Уйти из дома на столько лет, странствовать по стольким городам, прочитать столько книг, чтобы вернуться в родную деревню нищим монахом? Нет, не удержится отец. Как его ни проси, непременно будет говорить о сыне с соседями — и похваляться, и горевать.

Колокола зазвонили «Ангелус» — вечерний этот звон обычно вызывал в душе светлую грусть, но сейчас нагонял тоску, звучал погребально. Не пойдет он домой. Не вынести сейчас ни укоров, ни советов отца, ни огорченного недоумения матери, ни ее хлопот. Но куда деться? В горы, к фуорушити? Признают ли они его? А может, уже ушли в дальние убежища, прослышав об испанцах? Нельзя было расставаться с Маврицием, надо было вместе с ним пробираться в горы. Бесплодное сожаление.

Глава XLIII

Начались мучительные дни скитаний. Кампанелла переоделся в крестьянскую одежду, которую ему дал, обмирая от страха, один из стиньянцев. Попросить у него крова Кампанелла не решился. Скитался вокруг Стиньяно, прятался, благо, с детства знал тут каждую рощу, где можно укрыться, каждую яму, в которой можно спрятаться, ел что придется, исхудал, оброс бородой. Его трясло то ли оттого, что недосыпал, то ли лихорадка начиналась. Ему казалось, что переодетого, с лицом, покрытым многодневной щетиной, его не узнают. Он и сам едва узнал себя, увидев свое отражение в воде. Но разве ему достаточно спастись самому? Неужели все, к чему они готовились, все, о чем они мечтали, пропало?

Кампанелла решился пойти в монастырь, где есть монахи, недавно жадно внимавшие его речам. Перед иноком-привратником появился крестьянин в бедной, оборванной одежде. Он сказал, что хочет позвать отца Ипполито к умирающему. Привратник неохотно согласился. Брат Ипполито, один из заговорщиков, не сразу узнал Кампанеллу, а узнав, задрожал, лепеча о смертельной опасности. Он умолял Кампанеллу уйти. Настоятелю доверять нельзя. У него побывал испанский офицер, возглавляющий розыски мятежников в здешней округе. Ипполито и сам подумывает о бегстве. О том, чтобы через него, недавно столь пламенного сторонника, связаться с другими, и думать нечего. Надо как можно скорее уходить!

Кампанелла чувствовал, что заболевает. Укрыться в церкви соседнего селения? Церковь — убежище. Испанцы жестоки, но они католики и не ворвутся в храм. Полной уверенности, что это действительно так, у него нет, но выбирать не из чего. Нужна передышка, нужно место, откуда он свяжется с Дионисием, с Маврицием, с заговорщиками, на которых еще надеется.

Священник действительно не отказал ему в приюте. Кампанелла не стал объяснять, кто он. Сказал лишь, что над его жизнью нависла угроза. Он молит разрешения укрыться в святых стенах. Проговорив это, он спохватился: крестьянин, одежду которого он надел и на которого старался походить, попросил бы убежища иными словами. Однако священник не стал его ни о чем расспрашивать и повел себя так, будто появление беглеца не неожиданность. Это должно бы насторожить Кампанеллу. Но он так измучился за дни, слившиеся в его сознании в сплошную череду унижения и отчаяния, что не задумался над тем, с какой

легкостью получил убежище. Возможность вымыться, лечь в тихой каморке на постель была блаженством. Однако скоро его разбудили.

— Я не спрашиваю вас, кто вы, — сказал незнакомец. — Если вы тот, кто я думаю, бегите! Вас выдали!

Ловушка? Может быть, неизвестный прислан, чтобы выманить его из убежища? А если он говорит правду? Церковь сразу представилась ему западней. Человек, предупредивший его об опасности, вышел вместе с ним и, прежде чем они расстались, сказал:

— Благословите меня, отец святой!

Значит, вид Кампанеллы не обманул его. И хотя признаться в том, что он переодетый монах, было смертельно опасно, Кампанелла благословил незнакомца. Ему не было суждено его больше увидеть.

За несколько следующих дней, когда он, затравленный, бродил по округе, не решаясь войти ни в один дом, был еще один светлый час. От погонщика мулов, с которым он заговорил на дороге, он узнал, что, хотя всюду хватают людей, главных заговорщиков не нашли, так толкуют в народе. Они ушли в горы. Если это так, если речь идет о Маврикии и Дионисии, если они добрались до фуорушити, если им удастся уговорить тех выступить… Если, если, если…

От напряжения, от ночевок под открытым небом Кампанелла совсем расхворался. Старая лихорадка мучила его. Надо хоть несколько ночей провести под кровлей. Он был счастлив, когда нашел дом, хозяин которого согласился дать ему приют. Здесь его и схватили солдаты из испанского конного отряда.

Глава XLIV

Кампанелла проснулся, задыхаясь от ужаса. Приснилось, что ему отрубили руки и они с тяжелым стуком упали на каменный пол застенка. Он открыл глаза и сразу все вспомнил. Со вчерашнего дня он — пленник. Его везут в тюрьму. Руки, туго связанные толстыми веревками, онемели. Он осторожно попробовал пошевелить пальцами и подвигать кистями. Одеревеневшие руки не слушались его. Отвратительное ощущение, памятное по прежним арестам. Он с трудом поднял связанные руки над головой, так что хрустнуло в лопатках, и начал трясти ими. Едва он почувствовал первое покалывание крови, пришедшей в движение, как конвойный прикрикнул на него и сильно толкнул в бок древком пики. И этот окрик для острастки и этот удар тоже знакомы. Ему еще и не то предстоит.

Светало. Накануне вечером отряд стражников, конвоировавший Кампанеллу, едва начало темнеть, остановился на привал. Боялись, что ночью на дороге пленника могут отбить. Начальник отряда и часть конвойных расположились в харчевне постоялого двора, выгнав оттуда прочих посетителей, у которых и без того при виде испанских солдат кусок в горле остановился. Остальные сменялись в карауле. Пленному вынесли ломоть хлеба и миску варева — пусть управляется со связанными руками как хочет. Харчевник, пожалев арестанта, выслал ему кружку вина с мальчишкой-поваренком. Солдаты, злые оттого, что им нужно сторожить на улице арестанта, в то время как другие сидят за столом, пьют и поют, кружку отняли, вино выплеснули, мальчишку прогнали в тычки, а хозяина обругали. Им зачтется и пинок, который ни за что ни про что достался ребенку, и смех, с которым они выгнали крестьян из харчевни, и его распухшие, стертые до крови руки. Зачтется. Непременно зачтется. Но когда? Доживет ли он до этого? На это мало надежды. Даже если турки решатся на высадку.

Кампанелла сидел на земле, прислонившись к стволу старого платана, выбрав позу, при которой не так ныло избитое тело, не так болели руки и ноги. Он заставил себя съесть немного хлеба и, наклонившись к земле, отхлебнуть из миски глоток варева. Они заставляют его лакать, как пса. И это им зачтется. Для того, что предстоит ему сегодня, едва отряд снова двинется в путь, нужны силы. Это только начало… От утреннего тумана, надвинувшегося с гор, было холодно. Кампанелла зябнул, лицо его, искусанное москитами, горело. Неожиданно пленник, удивив стражника, усмехнулся. Подумал вдруг, что за день до того, как его схватили,

ему исполнился тридцать один год. Не оказался бы он последним..

Отряд начал собираться в путь. Солдаты без шляп и колетов, в рубахах с закатанными рукавами высыпали во двор, умывались из водопойной колоды, в которую слуга харчевника натаскал воды, причесывались, закручивали и фабрили усы, поили лошадей, задавали им овса, седлали и вьючили их, перекрикивались и перебранивались. Многое в их языке было понятно. Кампанелла улавливал обрывки их разговора, даже понимал их шутки. Кто-то жаловался, что вчера перепил, голова трещит, над другим подтрунивали, что ему пришлось расстаться со вдовушкой, назначившей ему свидание, третий ругал тесные сапоги. Разговоры как разговоры. Люди как люди. Но как менялись они, когда подходили к пленнику! Менялись даже голоса. Горло превращалось в глотку, созданную, чтобы изрыгать грубую брань. Из всех слов в языке оставалось только «нельзя! назад! не смей!». Молодой солдат с прекрасным тонким лицом пинал его так же, как старый уродливый капрал, — и на обоих лицах появлялась одна и та же гримаса — тупой злобы и торжествующей безнаказанности.

Кампанелла старался не навлекать на себя гнева конвоиров. Он знал: жизнь его каждый миг этого долгого пути в тюрьму — на волоске. Уцелеет ли он, зависит единственно от того, сколь строг приказ, предписывающий доставить его живым на допрос. Подумав о предстоящем допросе, Кампанелла почувствовал, как у него заныла душа. Он знал, что его ждет. Так, может быть, перечеркнуть расчеты будущих судей и, когда к нему подойдут, чтобы навьючить на мула, кинуться со связанными руками на конвойных, заставить их убить себя? Так ведь не убьют же, если не приказано. До полусмерти изобьют, но не убьют. Нет, он не может оттолкнуть от себя уготованную ему чашу. Ее придется испить до конца. Он схвачен не один. Аресты идут давно. Он поднял других на то, за что они теперь расплачиваются. Он должен стать им опорой в темницах, где они встретятся. И может быть, еще не все потеряно? Может быть, Дионисий и Мавриций еще на свободе? Поднимают отряды фуорушити. Связываются с турками. Поднимут всех и спасут его. Как прекрасно все было задумано и какой удивительной стала бы жизнь, если бы удалось задуманное! Может быть, может быть, может быть, знамения все-таки не солгали?

Словно для того, чтобы напомнить узнику, сколь хрупка его прекрасная мечта, к Кампанелле подошли солдаты и потащили его к мулу. На этот раз они не швырнули пленника на седло, как куль, — так было вчера, — а, развязав ему ноги, усадили в седло,

припутали к нему, а руки притянули к луке. Подошел капрал, проверил, надежно ли привязан узник, для порядка выругал и его, и мула, и солдат, подал команду: «По коням!» — и конвойный отряд двинулся по горной дороге.

Вчера, лежа поперек седла, Кампанелла видел внизу перед глазами только дорогу, каждый камень на ней, каждую выбоину. Глаза заволакивала красная пелена от прилива крови к голове. Сегодня он сидел в седле, и хотя стянутое веревками, избитое при аресте тело ныло, ехать так было легче. Он смотрел по сторонам. Все вокруг знакомо и привычно. Красно-золотые виноградники, взбегающие в гору, печальные свечи темных кипарисов, узловатые пинии, растущие на склонах, узкие тропки, отходящие от дорог. Но определить, куда его везут, он не смог.

Встречные крестьяне, завидев испанский отряд, торопливо сворачивали на обочину. Его ужаснула простая мысль: крестьяне и знать не знают, кого везут мимо них связанным, кто он, чего хотел, почему схвачен. Они слышали об арестах — уже несколько дней людей хватают повсюду. Громогласные глашатаи и испуганные священники уже объяснили им — ловят злодеев, которые сговорились с турками, посулили отдать им Калабрию. Ловят еретиков. Святотатцев ловят. И темные люди, которым он хотел добра, всему верят. Верят, потому что привыкли верить. Но кто в том виноват? Он сам! Кампанелла и его друзья не смогли сделать так, чтобы калабрийские крестьяне знали, чего они добиваются. Ну а если бы объяснили? Если бы кроме проповедей о зле, господствующем в мире, о переменах, которые неизбежно грядут, рассказали бы им о республике правды и справедливости, о белых одеждах добродетели, в которые облекутся борцы за нее, о государстве будущего, начало которому будет положено на горе Стило, поняли бы они эти речи?

У этих мыслей горький вкус поражения. Тяжек путь арестанта по залитой осенним солнцем дороге. Но самое тяжкое в нем не боль в избитом теле, не жажда, иссушившая рот, не затекшие руки. Самое тяжкое — встречи с крестьянами, поспешно уступавшими дорогу отряду и едва решавшимися посмотреть на узника. Кампанелла многое бы отдал за дружеский кивок, за сочувственное восклицание. Многое бы отдал… Это только так говорится! Что мог отдать он, странник, лишившийся своего единственного достояния — книг, бросивший монашеское одеяние, одетый в рубище, никогда за всю свою теперь уже не такую короткую жизнь не имевший ни денег, ни дома, ни вещей? Что мог он отдать? Только жизнь. Последнее, что у него осталось.

В жаркий полдень остановились в селении. Солдаты расседлали коней и перед тем, как повести на водопой,

прохаживали их в тени, давая отдохнуть. С конями они говорили человеческими голосами, без нужды не дергали и не пинали.

Кампанеллу отвязали от седла. Очередной стражник оказался добросердечнее остальных. Он усадил Кампанеллу на перевернутое водопойное корыто подле каменного сарая, в тени, протянул ему флягу с вином, разбавленным водой. Кампанелла благодарно улыбнулся ему запекшимися губами. Вино с водой — самый прекрасный напиток, какой ему случалось пить в жизни! Этот солдат непохож на того, который протянул распятому губку с уксусом. Может быть, не все в конвойном отряде нелюди? А что, если обратиться к сердобольному солдату и попросить о помощи? Пусть разрежет путы на ногах и руках пленника, пусть отвернется на миг. Испанец, служащий в Италии, понимает итальянскую речь. Лицо у него незлое. Рискнуть? Безумие! Куда он скроется? Как, обессиленный, уйдет от погони? Разве есть уверенность, что его не задержат первые встречные? Теперь, когда кругом аресты, ему надо опасаться не только испанцев, но и перепуганных итальянцев, которые поспешат предательством отвести беду от себя. Селение на горной дороге не место для побега. Доброе движение солдата, протянувшего ему флягу с питьем, не основание, чтобы довериться ему. Единственное, что он может сделать во время привала, — передохнуть, собраться с силами и мыслями.

Постоялый двор, около которого отряд остановился на привал, показался ему знакомым. Не здесь ли когда-то он ночевал под открытым небом во время странствия с наставником? Не на этой ли утоптанной площадке плясали парни и девушка, которую он потом часто видел во сне? Как бесконечно давно это было! В другой жизни. Как бесконечно далек измученный пленник от мальчика, отправившегося когда-то вслед за наставником в далекий мир в поисках света истины. Не думал он тогда, что путь к ней проходит через тюрьмы и муки, под стражей и в путах…

И снова оседланы кони, и снова пленник привязан к мулу, и снова перед глазами пыльная каменистая дорога, испуганно сторонящиеся крестьяне. Спустя некоторое время отряд обогнал мрачную процессию. По дороге, спотыкаясь, плелись человек десять в наручниках и кандалах, соединенных общей цепью. Перед ними и за ними ехали конные стражники. По бокам шли пехотинцы.

Начальники конвоев обменялись несколькими словами. И скоро кандальники остались позади. Кампанелла оглянулся. Оборванные, истомленные голодом и жаждой люди, со следами побоев, с замотанными тряпьем ранами. Кто они? Фуорушити, разбитые во время отчаянной вылазки? Крестьяне, обвиненные в

том, что помогают фуорушити? Рыбаки, которые зажгли сигнальные огни на берегу? Слишком краткой была встреча, чтобы он мог разглядеть их лица. Их покрывали синяки и дорожная пыль. Их исказило страдание. Да и слишком многим проповедовал Кампанелла, чтобы узнать всех, кто когда-нибудь слушал его. Знают ли они, кого провезли мимо них? Когда, в какой день, услышав проповедь его или его друзей, решились они принять участие в заговоре? Думают ли о нем? Жалеют? Проклинают? Тяжко бремя того, кто подвигнет других на смелый поступок. Единственное утешение его совести — общая судьба. Ее он разделит с ними до конца.

Конвойный, ехавший рядом с Кампанеллой, подхлестнул мула и пришпорил своего коня.

— Теперь недолго! — весело сказал он и подмигнул узнику. Недолго для него означало — до конца утомительной дороги. Недолго для Кампанеллы означало — до тюрьмы. Сколь различно значение одного и того же слова для двух разных людей! Кампанелла усмехнулся. Несчастная привычка философствовать даже на пороге темницы. Люди приосанились, пришпоренные кони, повинуясь им, ускорили рысь. И вдруг один из конвойных запел прекрасным звучным голосом:

О, услышь меня, сеньора,
И утишь мою ты боль!
Услыхала и сказала:
«Я приду к тебе, изволь!»

Остальные стражники подхватили припев. Вооруженный до зубов конвойный отряд, распевающий песню, полную любовного томления! Недурная гримаса жизни. Кампанелла рассмеялся. И тут же услышал окрик капрала:

— Чего скалишься, собака? Скоро тебя отучат смеяться!

Потянуло ветром. Он нес запах соли, выброшенных на берег водорослей — море рядом. Перед ними выросла темная громада крепостного замка.

Пленника сдали коменданту. Кампанелла посмотрел на сердобольного солдата. Тот не оглянулся на него — и думать о нем забыл! Прохаживал расседланную лошадь, переговаривался с другими конвойными. У него своя жизнь. Он через час и вовсе забудет, что вез пленного бунтовщика и на миг пожалел его.

Кампанеллу бросили в одиночку.

Глава XLV

Стон и плач на земле калабрийской! Испанские солдаты рыщут повсюду, обыскивают жилища, хватают правых и виноватых, старых и молодых, разлучают отцов с детьми, мужей с женами. Большинство схваченных участия в заговоре не принимали, впервые услышали о нем при аресте. Тщетно спрашивают они, за что их уводят, напрасно твердят о своей невиновности. Никто не хочет их слушать. Царю Ироду уподобился начальник карателей Спинелла. Спешит доложить вице-королю, сколько домов обыскано, сколько заподозренных схвачено. Он действует в полном согласии с прокурором Луисом де Ксаравой. Оба стремятся на годы вперед устрашить всю провинцию.

Стон и плач на земле калабрийской! Гибнет непрочное человеческое счастье, разоряются дома, рушатся семьи, льются слезы и кровь, черный страх поселяется в душах, стискивает сердце днем, мешает спать ночью, рождает предателей. Люди прислушиваются к каждому звуку, не прозвучат ли за окном подковы испанских коней, не застучат ли тяжелые солдатские сапоги. Идут? Куда? Неужели к нам? Неужели за нами? За мной? За тобой? И вот уже грохочут кулаки в дверь. Чуть помедли открыть — её вышибут. Летит на пол домашний скарб. Рыдают жены, плачут дети. Уводят, уводят, уводят! Мужей, отцов, братьев, сыновей.

Ты хотел, Кампанелла, принести милой родине прекрасный рассвет — ясный, солнечный, теплый…

Глава XLVI

Итак, он снова в тюрьме.

В первые минуты после того как его грубо втолкнули в камеру, Кампанелла испытал облегчение. Наконец один. На руках разрезали путы, и руки ожили. Не было больше изматывающего качания в седле. Перед воспаленными глазами не тянулась больше дорога. Кампанелла рухнул на набитый соломой мешок, который швырнули в угол камеры, прикрыл глаза и впал в забытье. В ушах все звучало и звучало цоканье подков по камню, голоса конвойных, сладкая любовная песня, которую они пели.

Кампанелла заставил себя открыть глаза. Около двери, окованной толстыми железными полосами, стоял глиняный кувшин. Он поднес его ко рту. Вода была теплой, знакомо и отвратительно отдавала затхлостью. Теперь ему долго придется пить такую воду.

Когда подъезжали к тюремному замку, Кампанелла разглядел его. Сколько в Калабрии маленьких, жалких, полуразвалившихся лачуг и как велики и прочны ее тюрьмы! Камня, из которого сложена эта, хватило бы на целое селение, да не на одно. Не безумен ли мир, не способный накормить голодных, напоить жаждущих, дать кров бездомным, но не жалеющий сил и денег на темницы! Первыми в них попадают именно те, кто догадывается о безумии мира и ищет средств, чтобы переделать его, чтобы дать людям счастье.

Сейчас не время для философствования. Нужно обдумать свое положение. Оно опасно. Оно крайне опасно. Скрывать свое имя и монашеский сан невозможно. Когда за Кампанеллой пришли, люди, ворвавшись в хижину, где он пытался скрыться, назвали его «брат Томмазо, прозываемый Кампанелла».

Крестьянское одеяние и борода, которой он оброс, покуда скитался, не обманули погоню. То, что Кампанелла изменил обличье, дабы не походить на инока, серьезнейшее прегрешение. До суда инквизиции, может быть, и не дойдет. Его схватили испанские власти. Он для них заговорщик, а не еретик. Впрочем, это станет видно на первом же допросе.

Кампанелла, хоть и старался вчера, не мог толком понять, куда его привезли. Крепость на берегу моря. Сооружена не только чтобы служить тюрьмой, но и чтобы отражать нападения пиратов. Это удача! Если… с этого теперь невольно начинается каждая его мысль. Если турки все-таки попытаются напасть на побережье, если это произойдет неподалеку от того места, куда привезли Кампанеллу… Впрочем, столь ли велика такая удача? Начни

турки нападение отсюда, испанцы немедленно увезут того, кого считают главным заговорщиком, или расправятся с ним. Можно только гадать и ничего нельзя сделать. Ужасно!

Кампанеллу долго не вызывали на допрос. Для Кампанеллы в этом ничего нового — заставь себя смотреть на промедление как на передышку.

«Вооружись стойкостью перепоясайся мужеством!» — приказывал он себе то, чему учил своих сторонников. Заставил себя вспомнить непреклонного Пуччи и собственные стихи, написанные на его смерть. Вспомнил другого узника Замка Святого Ангела — мудрого Джордано Бруно. Недолгой была их встреча, но незабываемой. Бруно оказался не только философом, он был еще и поэтом. Сонет Бруно, услышанный на тесном тюремном дворе, прозвучал для Кампанеллы так, словно он написал его сам.

Когда свободно крылья я расправил,
Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной.
Так, дол презрев, я ввысь полет направил.

Дедалов сын себя не обесславил
Паденьем; мчусь я той же вышиной!
Пускай паду, как он: конец иной
Не нужен мне, — не я ль отвагу славил?

Но голос сердца слышу в вышине:
«Куда, безумец, мчимся мы? Дерзанье
Нам принесет в расплату лишь страданье…»

А я: «С небес не страшно падать мне!
Лечу сквозь тучи и умру спокойно,
Раз смертью рок венчает путь достойный…»

И теперь Кампанелла повторял стихи Бруно — напиток из источника мужества.

Узник, если он не первый раз в тюрьме, по многим признакам умеет угадать, что происходит за стенами камеры. Кампанелле скоро стало ясно: в крепость все время привозят новых заключенных. Из-за решеток соседних камер, а иногда и сквозь стены доносились громкие голоса — заключенные пытались дать знать о себе. Выкликали имена, названия своих селений. В коридорах звучали шаги, звяканье кандалов, иногда звук, с каким по полу тащат избитого человека. Сомнений нет, аресты

продолжаются. А ведь это не единственная тюрьма, куда привозят схваченных. Неужто полное поражение?

Скоро выяснилось, почему власти медлили с началом допросов. Ждали прибытия прокурора Луиса де Ксаравы.

Один из самых ненавидимых итальянцами испанских сановников, Ксарава был умен, красив, проницателен, честолюбив. Должность, которую он занимал, давно перестала его радовать — он стремился выше и, хотя был на провинциальной службе, одевался, как гранд. Калабрия — глушь, дыра, забытая богом. Заговор против испанского правления, смертельно напугавший многих высокопоставленных испанцев и пуще того итальянцев, которые им прислуживали, Ксараву обрадовал, хотя он делал вид, что негодует вместе со всеми. Это подарок судьбы! Умело провести следствие, представить заговор смертельно опасным, но вовремя обезвреженным, постараться, чтобы имя прокурора как можно чаще встречалось в бумагах, которые поступят к вице-королю, — вот кратчайший путь к новому высокому посту. Когда процесс кончится, он будет богат, знаменит, необходим при дворе.

Однако уже первое знакомство с результатами допросов обнаружило весьма щекотливое, даже пугающее обстоятельство. Некоторые заговорщики уверяли, что решились выступить против испанцев лишь потому, что папа благословил восстание и обещал свою святейшую поддержку, Подобные показания дали несколько человек. Они находились в разных тюрьмах. Возможность сговора между ними исключалась. Конечно, трудно представить себе, чтобы папа, наместник Христа на земле, вел переговоры с фуорушити или даже со странствующими проповедниками из доминиканского и францисканского орденов, к каким принадлежало, как уже знал Ксарава, большинство подстрекателей. Но с другой стороны, его святейшество Климент VIII — владетельный князь, земли коего за последние десятилетия вследствие нескольких неудачных войн сильно уменьшились. Влияние папы как государя в сложной борьбе, что постоянно идет среди властителей в Италии, ослабло. Разве нельзя себе представить, что папа желает поражения испанцев на юге Италии, может быть, даже их ухода оттуда? Всех поворотов большой политики, в которой сплетаются интересы итальянских государей, Испании, Франции, Германии в это сложное, чреватое неожиданностями время, из калабрийской глуши, увы, не разглядеть. Впрочем, теперь можно надеяться, что Ксарава недолго будет пребывать в этой глуши. Если поведет следствие умело. И осторожно. Очень умело. Очень осторожно. Показания о поддержке папы могут быть величайшей ценностью, добытой в

ходе допросов. Но они могут быть и миной, которая не только взорвет процесс, но погубит тех, кто получил подобные показания. Ксарава привык быть охотником и не собирался стать дичью.

Второй щекотливый пункт: среди схваченных много монахов и священников. Они не подлежат юрисдикции светских властей. Об их злоумышлениях и преступлениях надлежит незамедлительно уведомить генералов доминиканского и францисканского орденов, инквизицию и самого папу. Папу? Вот, где столкнулись оба щекотливых обстоятельства. Значит, придется сообщить папе, что клирики-заговорщики ссылались на обещанную им поддержку. Одно такое упоминание — и их предпишут передать в руки инквизиции. Ксараве придется допрашивать темных крестьян и рыбаков, ну, может быть, нескольких дворян, обещавших прийти на помощь восстанию, но те главари, кто был мозгом и сердцем заговора, уйдут от него к инквизиторам. Процесс станет мелким, никому за провинциальными пределами Калабрии не интересным. Главный зачинщик — Кампанелла. Это Ксараве ясно. Он монах, но взят в одежде простолюдина. Ну что же! Ксарава может до поры до времени принять правила игры, предложенные злоумышленником. Сделаем вид, что не знаем о его сане, будем допрашивать его как мирянина, всячески оттягивая время, когда придется отдать его в руки церковных властей. А пока выпытаем из него все, что можно. Кампанелла не подозревал, с каким волнением вызывает его на допрос Ксарава. Прокурор накануне допроса не спал. Потерял аппетит. У честолюбцев тоже есть свои муки, свои терзания и сомнения. Нужно столько взвесить, столько учесть, о стольком помнить! Ксарава искренне страдал. От опасения, что ему придется уступить многообещающее дело. От страха, что, не уступив его, он ввяжется в конфликт с церковью. От тайны, обладание которой то делало его счастливым, то пугало, — показания, полученные против папы, кого хочешь заставят задуматься.

Когда Кампанеллу привели на допрос, он увидел перед собой сравнительно молодого, очень бледного, холеного, тонкогубого человека, весьма нарядно одетого по испанской моде, в бархат и кружева, со сверкающими перстнями на руках. Ксарава долго внимательно вглядывался в коренастого, заросшего, одетого в рванье узника. Прокурор прикладывал к лицу надушенный платок: от того, кто стоял перед ним, несло потом, затхлостью камеры, запахом гнилой соломы, служившей ему постелью.

«И этого человека называют Мессией?» — искренне изумился Ксарава. И тут же вспомнил, как некогда другой чиновник,

звавшийся, правда, не прокурором, а прокуратором, с не меньшим изумлением взирал на приведенного к нему бедняка, которого тоже называли Мессией. Нет, он не станет уподобляться Пилату, не станет спрашивать у стоящего перед ним: «Что есть истина?», не будет пускаться с ним в философские прения. Этого он не может себе позволить. А жаль. Это было бы интересно. Говорят, грязный оборванец — непревзойденный мастер ученого спора, чудо красноречия, автор примечательных, хотя и весьма подозрительных сочинений. Надо прочитать при случае. Но все это пока придется отложить. Надо выяснить главное.

Зал, куда узника привели на допрос, помещался в верхнем этаже крепостной башни. Через узкие окна было хорошо видно море — бескрайняя темная синева, над которой стремительно летали, то падая к самой воде, то взмывая вверх, бакланы. Рыбачьи лодки под пестрыми парусами казались отсюда совсем маленькими. Кампанелла не мог оторвать взгляда от моря. Если спасение придет, оно придет отсюда. Морской ветер, проникавший сквозь башенные окна, нес запах надежды и свободы.

Первый вопрос Ксаравы он, завороженный морем, почти прослушал. Тот спрашивал, кажется, где Кампанелла был захвачен стражниками, словно сам этого не знал. Однако дальше началось нечто странное. Инквизиторы после неизбежного вопроса о том, известно ли узнику, за что его арестовали, начинали выяснять генеалогию обвиняемого, спрашивать о предках, родителях и родственниках, о знакомых. Ксарава пренебрег всем этим.

Не задавая вопроса о заговоре — само существование заговора для него непреложная данность, — он сразу спросил о помощи, обещанной заговорщиком его святейшеством. «Будто бы обещанной», — осторожно сказал он.

Кампанелла почувствовал: именно это больше всего занимает Ксараву. Неясно лишь, чего больше желает прокурор — подтверждения или отрицания. Однако откуда столь странный слух? Переговоров с папой Кампанелла и его друзья не вели. Дионисий, правда, считал: все, что может убедить как можно больше людей встать на их сторону, — благо. Если найдутся калабрийцы, которые пойдут за ними, лишь узнав, что их дело благословил папа, надо сказать им то, что они так жаждут услышать. Ради великого дела не зазорно пойти на маленькую ложь, рассуждал он. У противников наших, иезуитов, тоже не грех поучиться. Если наши враги будут действовать по правилу «цель оправдывает средства», а мы решим не марать своих белых одежд, нетрудно предсказать, кто победит. Мы будем биты! Кампанелла

не соглашался с Дионисием, но обстоятельства помешали ему довести спор до конца — нельзя было углублять их разномыслие. Сейчас на допросе он понял — Дионисию удалось убедить часть их сторонников, что заговорщики могут надеяться на поддержку папы. Хитрить со своими Кампанелле претило, но ничто не мешает ему лукавить, отвечая испанской ищейке. Не ответив прямо, он дал понять Ксараве, что имеет все основания надеяться на могущественное заступничество. На самое могущественное заступничество, какое только можно себе вообразить. На прочие вопросы отозвался, как человек, искренне недоумевающий, что его арестовали. Он не знает за собой никакой вины, недоразумение скоро выяснится, а клеветники и гонители будут наказаны.

Ксарава привык допрашивать людей, которые неумело лгут, грубо льстят, трусливо лебезят, сулят разные блага, если им есть что посулить, плачут, если у них нет ничего, кроме слез, клянутся в невинности. И виноватые, и оговоренные, и подозреваемые, и уличенные — все казались прокурору утомительно одинаковыми. Он любил пофилософствовать о том, сколь жалок и низок человек. Ксарава легко угадывал, в какой час допроса его подопечные сломаются и перестанут запираться. Рутина допросов, однообразие уловок, к которым прибегают оказавшиеся в его власти, простота собственных приемов, неизменно достигающих цели, наскучили прокурору. Он всегда был невысокого мнения о людях. Прокурорская должность укрепила его презрение к ближним.

Но новый заключенный поразил его угрюмым спокойствием, чувством собственного достоинства, непонятно на что опирающейся внутренней силой. Казалось, он знает нечто, неведомое тому, кто его допрашивает.

О Кампанелле говорят, что он владеет тайнами магии. Прокурор в такие побасенки не слишком верил. А тут призадумался: может, в этом слухе что-то есть? А еще Ксараву неприятно поразило, что узник, отвечая на вопросы, глядит мимо него. За высокой спинкой прокурорского кресла было видно стрельчатое окно, а сквозь него — море. К нему и был прикован взгляд Кампанеллы. Море помогало ему спокойно отвечать, когда он хотел ответить, и спокойно молчать, когда он отвечать не хотел. Ксарава прервал допрос, чувствуя, что не готов к его продолжению. Честолюбивый, способный, проницательный прокурор был недоволен собой. Настроение было испорчено надолго. Ужинал прокурор без удовольствия, размышляя о своей тяжелой профессии. И поделиться не с кем! Кто поймет его чувства?

Скоро Кампанеллу, грубо разбудив в неурочное время, перевезли в другую тюрьму, подальше от берега. Из разговоров стражников, не считавших нужным таиться от человека, которому недолго жить, Кампанелла уловил важнейшую весть: около побережья появились турецкие корабли! Все испанские гарнизоны приведены в готовность. Стражники, конвоирующие Кампанеллу в другую тюрьму, считали, что им повезло: лучше сопровождать безоружного пленного, чем сражаться с турками. А Кампанелла думал, решатся ли турки атаковать испанские корабли, совершат ли нападение на берег.

Тюрьма, куда его доставили, тесна и переполнена. Кампанеллу поместили в общую камеру. Великая отрада встретить единомышленников, узнать от них, что происходит, услышать вести от тех, кто взят позже. Если бы только новости не были столь мрачны! Испанцами захвачено много заговорщиков. Аресты продолжаются. В руки властей попали важные письма. Немало людей, посвященных в заговор, испугались, добровольно явились с повинной, рассказали все, что знали, добавив и то, чего знать не могли. В тюрьмах оказались и непричастные к заговору — жертвы давних распрей и счетов. Нашлось немало мерзавцев, которые воспользовались случаем, чтобы устранить своих личных врагов. Соседи Кампанеллы по камере подавлены, страшатся того, что их ждет. Один заключенный упорно, с дрожью в голосе, заклинает всех, что спасение в признании. Кампанелла заставил его замолчать. Надолго ли?

В переполненной камере, где спорят, плачут, молятся, играют, чтобы убить время, в карты и кости, гадают, чем сегодня будут кормить — гадай не гадай — кормят гнусно, — Кампанелла погрузился в тяжелую задумчивость. Не совершена ли им страшная ошибка? Он размышлял о том, как изменить к лучшему устройство мира, готовил во имя этого восстание. Может быть, надо было думать о том, как изменить самого человека? В мыслях о будущем устройстве государства он не принимал в расчет, как действует на человека давняя зависть, старинная обида, желание отомстить, жажда возвыситься и, главное, страх. Ему казалось, что каждый, кто внимал его словам о благородном воинстве в белых одеждах, которое двинется от подножия горы Стило, чтобы учредить прекраснейшую из республик, достоин и этих сияющих одежд и этих великих планов. Увы, это не так!

Новая тюрьма, как и прежняя, помещалась в крепости. И хотя находилась дальше от побережья, здесь тоже ждали возможной высадки турок. Гарнизон усилили. К пушкам подвезли ядра. У орудий беспрерывно дежурили пушкари. Подвалы крепости пополнялись продовольствием. Во время прогулки Кампанелла

спросил у испанского солдата, что означают эти приготовления, уж не войны ли опасаются, тот со смехом ответил:

— Ты об этом узнаешь первым!

В его голосе звучали злорадство и угроза. Кампанелла догадался, что значат эти слова.

— Как понять сказанное? — все-таки спросил он.

— Чего проще! Если под стенами крепости появятся мусульманские собаки, которых ты, предатель, накликал на нашу землю, всех вас вмиг прикончат!

Испанский солдат называет его предателем, испанский солдат говорит о калабрийской земле, как о своей! Как объяснить этому темному человеку, чья это земля? Испанский солдат не станет его союзником. Ни за что! На это рассчитывать нечего. Не следует тратить душевные силы. Они нужны на другое.

Они действительно скоро понадобились Кампанелле. В тюрьме, куда его перевели, появился Ксарава. На сей раз он занялся другими заговорщиками. С ними он вел себя иначе, чем с Кампанеллой. Хотя пыточный застенок был, по обычаю, устроен в отдаленном подвале, под глубокими сводами и за толстыми стенами, ночью вопли истязуемых, приглушенные отдалением и каменной толщей, все-таки были слышны в камерах, замерших от ужаса, сострадания и напряжения. Кто следующий?

Кампанелла лучше других понимал, что означают ночные вопли, что переносят сейчас пытаемые. Мучают людей, которые последовали его призывам! Думать об этом непереносимо. Имел ли он право подвергать людей такому? Не был ли он обязан не столько рассказывать им, каким станет мир, когда они победят, сколько о том, что ждет каждого в случае поражения? Зачем? Чтобы поколебать их решимость? Нет, чтобы проверить ее. Но многие ли выдержали бы всю правду, по силам ли было им вообразить, что чувствуешь, когда к тебе, связанному, обнаженному, беззащитному, подходят палачи. И некуда бежать. И некого звать на помощь. Нет, безумие запугивать тех, кого хочешь сделать своими последователями. Тот, кто решил до основания переделать погрязший в несправедливости мир и тем спасти ближних, должен постоянно идти на страшный риск, что он их погубит. В одиночку он бессилен. А с того мига, как он поделился своими планами с другими, нашел помощников и союзников, он сделал шаг, который может привести к победе, а может обречь их всех, посвятившего и посвященных, на застенок, отдать в руки палачей. Если бы рядом были Дионисий и Маврициий! Он не во всем, не всегда соглашался с ними, но с друзьями можно посоветоваться, выговориться, облегчить измученную душу. Ужасно, что их нет сейчас здесь. Какое счастье,

что их нет. Они на свободе, значит, еще не все потеряно!

Спустя несколько дней после того как начались ночные допросы с пытками, Кампанелла перенес новое жестокое потрясение. В крепость доставили его отца и брата. Тюремная почта немедленно сообщила ему об этом. Кампанелла бросился к окошку, надеялся разглядеть их в толпе только что пригнанных арестантов. Не увидел. Кампанелла знал — родные не причастны к заговору. Он не хотел посвящать отца в свои планы — тот был стар, слаб, робок. И брат был далек от того, что воодушевляло Кампанеллу. Но теперь отец и брат схвачены и сколько ни станут уверять и божиться, что не слыхивали о заговоре, их не выпустят. В чем их вина?

В том, что один — отец Кампанеллы, другой — его брат. Иной вины не надо. А этой им не простят! Ее достанет, чтобы держать их в тюрьме, допрашивать, пытать. А как там мать, оставшаяся совсем одна, не понимающая, что стряслось с ее близкими?

Плетется сейчас, верно, вслед за колонной арестантов, несет в узелке все, что могла собрать для них дома, будет вместе с другими женщинами с рассвета до заката стоять перед тюремными воротами, молить, чтобы сказали ей о близких, чтобы взяли для них лепешку, горшок бобов. Лавина увлекает за собой жизни, семьи, судьбы, ломает их, увечит. Горькая мысль! Он еще никому, ни ближним, ни дальним, не принес обещанного счастья, но уже многим — беду и горе. Он сердцем своим слышал рыдания не только матери, но всех женщин, у которых увели мужей, плач детей, лишенных кормильцев и защитников. Ему представлялись схваченные, допрашиваемые, пытаемые. Не проклинают ли они дня и часа, когда пошли за ним? Но что он может сделать для них теперь, когда он сам схвачен, стал пророком без внемлющих, вождем без водительствуемых? Ничего. Нет! Очень много: выдержать все, что суждено ему, не сломиться, не дать себя сломить. А потом — начать все сначала — осторожнее, обдуманнее, мудрее — и победить. Дать тем, кто поверил ему, обещанное, отомстить за тех, кто не доживет до часа победы над злом.

Во время прогулки Кампанелла наконец увидел своих. Брат не то обрадовался, не то испугался. Сколько нужно было ему наговорить про злодея Кампанеллу, чтобы он с такой опаской смотрел на него. Наконец, он спросил:

— Что с нами будет, Джованни?

От полузабытого домашнего имени Кампанелла вздрогнул. Услышать его здесь! Но что сказать брату? Отец был в своем кожаном фартуке. Видно, его схватили за работой. И что

удивительнее всего — он латал сапоги. Солдаты приспособили его к делу. Вот когда ему довелось чинить испанскую обувь, правда, не такую, о какой он мечтал.

— Сапожник всегда нужен! — сказал он Кампанелле и похвалился, что его и во двор выпускают почаще, и лишний кусок ему достается. Раздобыть бы кожи, сшить бы сапоги самому коменданту, может, отпустит. Кампанелле показалось, что в спокойствии, с каким отец рассуждает о том, как ему повезло, что он прихватил с собой инструменты, звучит безумие. Слава богу, что у него есть такое утешение.

Кампанелла заставлял себя верить, что все переменится. Но тут начались первые казни заговорщиков. Пока еще не в этой, а в других тюрьмах. Об этом ему на допросе с улыбочкой сообщил Ксарава. Кампанелла почувствовал — прокурор не обманывает, чтобы запугать его. Всей кожей ощутил, что бледнеет, почувствовал: Ксарава упивается его видом. Но бледность — не улика.

— Что же вы молчите, Томмазо, прозываемый Кампанеллой? Хотите, чтобы я рассказал вам, как это было?

Узник презрительно промолчал. Тот, кто однажды видел казнь, не забудет ее до смерти, а он видел. На площади, все равно где — в Никастро, Катанзаро или Стило, появились плотники. Часть жителей укрылась в домах, ставни захлопнули, другие глазеют, как строится эшафот. Пока плотники устанавливают на нем виселицу и плаху, палач и его подручные ужинают в лучшей харчевне. Трактирщик услужливо подает катам самые вкусные блюда, самое дорогое вино. Платит за них город! Заплечных дел мастера пьют, жрут, хохочут, подшучивают над посетителями. Кусок застревает у тех в горле, но уйти боятся. Каты обещают на завтра знатное представление, сулят застольным соседям местечко, откуда все будет и видно, и слышно. И находятся люди, которые поддакивают веселящимся палачам, пьют с ними, заискивают перед ними. А те начинают обстоятельно проверять свои инструменты. Напоказ. Так им велено. На рассвете по городу проходят глашатаи, бьют в барабаны, громко выкрикивают имена осужденных, место и время казни. В назначенный час площадь полна — одни пришли сами, других пригнали. Палач в щегольской красной куртке с разрезами на рукавах, сквозь которые видна тонкая белая рубашка. Рукава закатаны… Довольно! Он не хочет представлять себе этого! Не хочет, не хочет, не хочет!

— Рассказать вам, как это было? — настойчиво повторяет свой вопрос Ксарава. — Что же вы молчите? — Он уже знает характер узника: тот скорее откусит себе язык, чем откликнется

на вопрос, и не для того прокурор задает его, чтобы дождаться ответа. Вестью о казни он хочет поколебать Кампанеллу. Но тот вдруг спрашивает сам:

— И что же они сказали перед смертью?

Теперь молчит Ксарава. Не признаваться же, что, когда приговоренных терзали, терзали так, что с их стонами слился стон толпы, окружавшей эшафот, они продолжали отрицать свою вину, последними словами поносили испанцев и тех, кто им прислуживает, сулили вечные муки и начальнику карательной экспедиции и прокурору.

— Почему же вы молчите, прокурор? — холодно спросил узник. Он не ждал ответа.

Но когда Кампанелла оказался в камере, силы изменили ему. Воображение рисовало эшафоты и плахи, воздвигнутые во всех калабрийских городах, красующихся палачей, терзаемых осужденных, потрясенную толпу. Сколько людей уйдет с места казни, навсегда унося в душе лютый страх, сколько душ впадет в рабское оцепенение после этого зрелища! А почему не подумать об этом иначе: сколько людей унесет с места казни ненависть к палачам и запомнит, какими непреклонными оказались их жертвы? Можно посмотреть на это и так. Но все это размышления, размышления. Ему не с кем поделиться этими мыслями. Самыми страшными для него стали не допросы, а беспрерывные раздумья в одиночестве камеры, мысли, которым не суждено обратиться в дело. Сейчас, когда необходимо действовать, он пойман, заточен, заперт! Кричи — твои друзья тебя не услышат! Бейся головой о стены камеры — ты не пробьешься к ним… Кампанелла с юности верил, что человек, понявший свое предначертание, сильнее обстоятельств. Но толстая дубовая дверь, но каменная кладка стен — тупая, мертвая, косная материя…

Думать о побеге бессмысленно. Кампанеллу в любой тюрьме помещали в камеру, откуда не убежишь. Коменданты знали, что отвечают за него головой. Его охраняла усиленная стража.

Не вырваться… Что за вздор! С тех пор, как существуют темницы, идет постоянное состязание между узниками и тюремщиками. На каждую предосторожность тюремщика находится десять уловок узника, чтобы превозмочь ее. Дедал и Икар бежали даже из лабиринта Минотавра. Даже из Замка Святого Ангела в Риме выбрался Бенвенуто Челлини. Но чтобы бежать, нужны помощники на воле, способ передать им весточку, получить от них ответ. А именно это невозможно. Кампанеллу переводили из одной тюрьмы в другую, нигде подолгу не оставляя, и он, сколько ни размышлял, не мог понять смысла

постоянных перемещений. Кроме одного — помешать ему связаться с волей, затруднить побег.

В пути же из одной тюрьмы в другую он был связан, иногда закован, окружен многочисленным конвоем. Кампанелла пробовал заговаривать с испанскими стражниками. Если бы хоть один из них прислушался к нему, если бы хоть от одного из них удалось добиться крошечного послабления, пустячной услуги — это был бы проблеск надежды. На его попытки они отвечали молчанием, бранью, пинками.

Как извращена человеческая природа! Никто не рождается на свет, чтобы стать палачом или конвойным. У каждого конвойного, у каждого палача была мать. Пела над ним колыбельные песни. Пугалась, когда он болел. Радовалась первому слову, которое он произнес. Учила его ходить. У каждого была любимая, потом жена. Были дети. Было все, что есть у людей. И некоторые из них выглядели как люди. Многие стражники были хороши собой. Молодые, веселые, красивые лица, мужественная стать, звучные голоса. Они умели улыбаться, смеяться, петь. Подшучивали друг над другом. Ласково похлопывали своих коней. Гарцевали в седлах. Что же сделало этих людей не людьми, способными ударить связанного пленника, пнуть его сапогом, плюнуть ему в лицо? Что сделало их такими жестокими к слабому и безоружному, такими покорными и робкими перед теми, кто командовал ими? В будущем прекрасном государстве надо добиться, чтобы жестокие и злые вообще не рождались на свет.

А еще Кампанелла думал о том, сколь страшна кара, какой господь бог покарал людей, когда они вознамерились воздвигнуть Вавилонскую башню — башню до неба. Он лишил их единого языка. Люди перестали понимать друг друга. Началось страшное разобщение. Его проклятие тяготеет над людьми до сих пор. В будущем государстве надо сделать все, чтобы люди понимали друг друга, чтобы разные наречия не вставали между ними препятствием.

Неустанная работа мысли, которая не прекращается даже тогда, когда он, связанный или скованный, совершает путь из темницы в темницу, — мука! Неустанная, непрерывная, то горячечная, то ясная работа мысли, — благо. Без нее он сломался бы. Без нее он погиб бы.

Весть о том, что Кампанелла арестован, дошла и до делла Порты. Знакомый, прежде бывавший в его доме, встретил делла Порту при выходе с торжественного богослужения в соборе святого Януария. Знакомый был из тех, кто чувствует себя несчастным, если не может ошеломить или хотя бы удивить собеседника новостью. Близость к источнику новостей порождала

в нем чувство собственной значительности. Едва спросив о здоровье делла Порты и не дослушав ответа, он сообщил, что монах, ученостью которого делла Порта был так увлечен, этот самый отец Томмазо замешан в Калабрии в страшном преступлении, но вовремя изобличен и обезврежен. При дворе вице-короля чрезвычайно обеспокоены. Все куда серьезнее, чем можно было ожидать. Подумать только, кто скрывался в обличье скромного доминиканца! И знакомый, довольный своей осведомленностью, поспешно оставил делла Порту, чтобы поделиться новостью с другими. А ученый едва дошел до дома. Кампанелла снова в тюрьме! В чем его винят на этот раз? Расспрашивать доброхотного переносчика вестей он не захотел — отвратительной была его радость. Несчастное время! Джордано Бруно томится в заключении уже который год. Некогда восхищавшиеся им теперь забыли даже о самом его существовании. Кампанелла, мудрец, философ, поэт, лишился свободы. Делла Порта вспомнил лекции, которые читал Кампанелла молодежи, свои беседы с ним и в его первый приезд в Неаполь и во второй, недавний. Какое наслаждение общаться с этим человеком! Великий ум, светлая душа… И вдруг его обдала холодом тревога — не пришлось бы теперь расплачиваться за такое наслаждение. Он стал припоминать, о чем они говорили с Томмазо. Любую их беседу при желании можно истолковать как еретическую! Но как прикажете говорить ученым, чтобы их слова ни в чем не вышли за рамки предписанного! Тогда уж лучше вступить в орден молчальников. Положить печать на уста. Запретить руке писать. И голове думать. А еще лучше совсем не становиться ученым. Еще лучше не рождаться совсем. Тот, кто не родился, не может впасть в ересь. О чем они все-таки говорили с Кампанеллой при последней встрече? Кто присутствовал при разговоре? Вспомнить бы. А зачем? Сделать ведь ничего нельзя! Ни ему помочь, ни себя спасти. Несчастное время!

Глава XLVII

Дионисий и Маврикий после нескольких дней, когда они скрывались порознь, встретились и решили не разлучаться. С проводниками-фуорушити по горным дорогам поспешно уходили от преследователей. Круты тропы, холодны ночи, скудна еда, но тяжелее всего — боль неудачи. Дионисий прихрамывал, повредил ногу, тяжело опирался на огромный ясеневый посох. Маврикий был в неистовом напряжении. План их рухнул. Испанский флот опередил турок. Даже самые смелые из фуорушити, узнав, какие силы привел каратель Спинелли, затаились в укрытиях. Маврикий и Дионисий надеялись собрать силы, чтобы освободить Кампанеллу. Заговор, лишенный вождя, не заговор. Но как? Напасть на тюремный замок фуорушити не могут. Эти крепости выдержали и не такие осады. От верных людей стало известно — Кампанеллу переводят из одной тюрьмы в другую. Отбить его? Но власти предвидели и это. Они пригрозили: солдатам отдан приказ прикончить узников, если будет совершено нападение на конвой. Единственное, что оставалось, — скрыться, выиграть время, найти таких, кто еще верен им, подготовиться, начать все сначала. Если можно спасти Кампанеллу, то только так.

Дионисий изменился за дни скитаний. Он давно расстался с монашеским одеянием. В иноческой рясе по горам не покарабкаешься. У него отросла борода. Стало видно, как он немолод. Он не расставался с посохом, грозным, как палица, и оружием, что само по себе страшный грех для человека, принявшего монашеский обет. Живым он в руки преследователям не сдастся. Отринет заповедь «не убий»! Он мало чем отличался теперь от фуорушити. Вместе с ними шел, вместе с ними спал, когда в пещере, когда просто на травяной подстилке у костра, говорил на их наречии, словно создан для такой жизни. Только внимательно вглядевшись, можно было заметить, что его терзает неотступное страдание. Маврикий думал, что товарищ заболел. Но то была не болезнь. Дионисий мучил себя вопросом, не погубил ли он Кампанеллу, когда совлек его с пути ученых занятий. Может быть, друга уже нет в живых? С ним уже расправились в тюремной камере? Маврицию легче. Он человек действия. Сейчас его занимало одно: перехитрить погоню, оторваться от преследователей, уйти. Им и в бегстве владел азарт! Сегодня не сделать новой ошибки, сию минуту не дать себя поймать! На одном из привалов предводитель фуорушити, помявшись, сказал, что дальше они не пойдут. Они и так уже ушли от родных мест слишком далеко. Дальше — все чужое. Даже

покинув родные селения и начав сражаться, фуорушити оставались крестьянами. Оторваться от своих деревень, полей, виноградников они не могли. Дионисий понимает их. Он и сам не в силах расстаться с Калабрией. Что ему делать на чужбине? Он сказал Маврицию, что возвращается вместе с фуорушити. Тот потрясенно пытался его отговорить. Не смог.

— Значит, весь этот тяжкий путь мы прошли напрасно?

— Почему же? Мы скрылись от погони. Никто не ждет, что мы вернемся. А мы вернемся!

Мавриций не согласился с другом. Решил идти дальше. Горьким было их прощание. Свидятся ли они снова?

Глава XLVIII

Все трое свиделись в тюрьме. Дионисия схватили на пути к родным местам. Маврикия — в гавани: он надеялся спастись морем. Их доставили в ту же тюрьму, где был Кампанелла и где к этому времени была собрана большая часть заговорщиков. Ксарава не хотел никого выпускать из своих рук. Он спешил: вице-король торопит со следствием, не хочет, чтобы в процесс вмешалась Святая Служба. Папский нунций в Неаполе уже не раз требовал, чтобы заговорщиков передали в руки инквизиции. «Кесарю — кесарево, богу — богово», — несколько неожиданно процитировал он по этому поводу.

Между тем следствие разрослось, стало жить по своим таинственным законам, как чудовище, постоянно требующее новой пищи. В ней нет недостатка. Испанские канцелярии завалены доносами. И хотя были изветы, шитые белыми нитками, следователи давали им ход. Неповинного человека вызывали на допрос. Он приходил, трепеща. Кругом так много арестов, столько разговоров о пытках, да и первые казни всех потрясли! Ему объявляли, что против него есть неопровержимые улики, но им можно не давать хода, потом отправляли поразмыслить. Размышлять приходилось в камере. Разговоры, которые велись там, многих сразу же делали сговорчивыми. Большие деньги за время следствия перешли из рук в руки. Немало чиновников стали богачами. Дело так распухло от доносов, от показаний мнимовиновных, от велеречивых обоснований того, почему они следствием обеляются, от казуистических доказательств вины тех, кто ни в чем не виноват, но не сумел откупиться, что разобраться в сути дела было нелегко. А чиновники и не собирались никому облегчать эту задачу. Каждый, кто занимался следствием, чувствовал — ему достался кусок жирного пирога, и он не собирался уступать своей доли. Так думал и последний протоколист и сам прокурор Ксарава. Поговаривали, что многим почтенным дворянским семьям, даже епископам пришлось откупиться от Ксаравы. Ведь он был не только прокурором, но и калабрийским фискалом, контролирующим сбор налогов, и хорошо знал, кто чем владеет. Пока шел процесс, Ксарава приценивался к замку, прежний дом казался ему тесен.

Для узников следствие означало великую опасность, лишения, муки, угрозу самой жизни, несчастье их родных и близких. А для тех, кто вел следствие, оно — счастливейшая возможность обогатиться, возвыситься, получить награду, передвинуться на одну, а то и на несколько ступенек выше,

заслужить одобрение двора — неаполитанского, а может быть, и мадридского. Как ни посмотри, редкая удача. А если для этих успехов надо терзать людей, ну что ж! Такая служба, и если не я, найдется другой, может еще суровее. Так уж лучше буду я! Так рассуждали те, кто приказывал отправить подследственных в пыточный подвал и определял, как и сколько времени терзать их. А скорее всего, они вовсе не рассуждали об этом. Пытки — непреложная данность мира, в котором они живут. Только безумец может усомниться в пользе этого установления.

Доставив Дионисия и Маврикия в тюрьму, что в Джераче, их поместили в одиночки. Кампанеллу содержали тоже в одиночке. Но даже самые толстые тюремные стены не могут помешать передаче вестей. Узелки, определенным образом завязанные на нитке, оброненной в коридоре, знак, нацарапанный на стене в отхожем месте, слова, вставленные в песню, прозвучавшую из окна камеры. Сколько веков, постоянно совершенствуясь, существует этот тайный язык? Пользовались им и в тюрьме Джераче.

Спустя некоторое время Кампанелла узнал: два его ближайших друга и помощника схвачены. Тяжелая весть! Дионисий — человек стойкий. Но никогда прежде он в тюрьме не бывал, допросам не подвергался. Сумеет ли он разгадать все ловушки? Самая сильная черта в характере Маврикия — гордость. Гордость, не позволявшая мириться с унижением родного края, сделала его одним из руководителей заговора. Гордость соединялась в нем с горячностью, вспыльчивостью. Порох! Холодный, спокойный, лицемерный Ксарава может сыграть на этих струнах души Маврикия. Выходит, собираясь на склонах Стило, им надо было толковать не только о том, какой будет республика, которую они создадут, но и как вести себя в тюрьме, как отвечать на допросах, если потерпят неудачу. Тот, кто готовит восстание, должен предусмотреть все. О возможности поражения они не думали — это ошибка. Ее Кампанелла не повторит. Но будет ли у него возможность исправить ее?

Как дать друзьям знать, что он в той же тюрьме, предупредить о том, как держаться на допросах?

Смолоду Кампанелла привык неотступно размышлять. О движении небесных светил. О несовершенстве философии Аристотеля. О смелости Телезия, решившегося опровергнуть Стагирита. О законах поэтики. О далеких странах. Но более всего о том, как должен быть устроен мир. Он привык сосредоточивать мысль на одной цели, снова и снова подступаться к ней, пока не вспыхивал ответ. Впрочем, едва возникнув, ответ этот немедленно порождал новые вопросы. И мысль снова начинала биться в

прегpаду: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo — «Капля камень долбит не силой, но частым падением». Эту пословицу любил Бруно. Теперь ее твердит Кампанелла. И вот его пытливой мысли, привыкшей возноситься к тайнам мироздания и проницать секреты поэзии, приходилось биться над тем, как передать записку из одной камеры в другую, как перехитрить тюремщиков и допрашивающих, как приспосабливаться к их мышлению, разгадывать их уловки, опускаться до той логики, которой подчиняется их гнусное ремесло.

Глава XLIX

Внезапно в тюрьме началось волнение. С тюремного двора доносился цокот подков, кавалерийская труба пропела команду, раздалось шарканье ног, звон кандалов. Скоро стало известно: вице-король Ферранте Луис де Кастро граф Лемос повелел заговорщиков незамедлительно доставить в Неаполь. Непростая операция! Звуки, встревожившие тюрьму в Джераче, означали, что конвойные команды из других тюрем доставили заключенных. Теперь собирается одна большая колонна. Она должна прошагать до места, где узников посадят на корабли.

Испанский офицер, начальник конвоя, провел прескверную ночь. Узники, в кандалах, соединенные между собой общей цепью, ослабленные долгим заточением, голодом, тревогой, пытками, быстро шагать не могли. Даже если первыми поставить самых сильных, все равно вся колонна поплетется так, как идут слабейшие. Не волоком же их тащить! Вести заключенных предстояло по дорогам, на которых фуорушити — дома. За один день до назначенного места никак не дойти, а останавливаться с такой колонной на ночлег опасно. Тут не то что двойной, тут и тройной конвой будет нелишним. Было над чем поломать голову. У каждого свои заботы.

Ранним утром заскрипели засовы на камерах, забегали стражники, выгоняя заключенных в тюремный двор, где уже восседали на конях конвойные, злые, как черти, оттого что их разбудили спозаранку, что предстоит утомительный переход. Им долго вдалбливали, сколь опасны люди, которых они конвоируют, и как страшно будет взыскано с них, если они кого-нибудь упустят. Теперь они срывают досаду на пленниках, кого хлестнут поводом, кого толкнут древком пики. Капралы долго пересчитывали заключенных и тех, кто на ногах, и истерзанных, в повозках, путались, сбивались, бранились, начинали считать снова, строили, перестраивали, определяли, кому с кем идти, прежде чем замкнуть цепь, соединяющую все кандалы.

В этой суматохе у Кампанеллы было одно желание — разглядеть Дионисия и Маврикия, подойти к ним, поговорить. Нашлись заключенные, которые помогли ему. Изменились оба друга так, что у него заныло сердце. Он сам выглядит не лучше. В толпе заключенных — ему шепнули об этом — его отец и брат. Когда еще представится возможность повидаться с ними! Да и представится ли? Пользуясь неразберихой сборов, он поспешил разыскать их. Лучше бы не разыскивал! Отец, у которого почему-то отняли его инструменты, вдруг стал со слезами упрекать его:

навлек на семью такой позор, такую беду. Брат молчал. Он в глазах родных лишь причина горестей, обрушившихся на семью, разоривших дом, угрожающих им гибелью. И уже нет времени объяснить, оправдаться…

Звучит ненавистная испанская команда, звенят молотки по кандалам, отворяются высокие тюремные ворота.

Глава L

Не было в жизни Кампанеллы дороги тяжелее этой. Когда колонна, звеня кандалами, бряцая тяжелой цепью, с трудом переступая ногами по каменистой дороге, кашляя от едкой пыли, вытянулась и он оглянулся, ему впервые стало видно, сколько людей, последовавших за ним, лишены свободы, превращены в кандальников, шагают теперь навстречу страшным испытаниям. Многих он не знал в лицо, и они его не знали.

Кампанелла помнил множество историй о великих полководцах. Но ему не случалось читать, что ощущал полководец после проигранного сражения, думая о своих солдатах, когда их угоняли в плен, что думали они о полководце. Мало ему собственных кандалов. Он ощущает вес железа, которое несут на себе другие узники. Его мучает боль тех, кто, не оправившись после пыток, мечется в жару и бреду на повозках. Его терзает их ужас, томит их жажда. Где тот добрый самаритянин, что перевяжет их раны, оботрет их лица, покрытые горячечным потом, напоит прохладной водой?

Они шли по милой его сердцу земле. Здесь все: слоистые скалы, цепкие, низкорослые горные сосны, по-осеннему опустевшие виноградники, широколистные дубы, звонкоголосые родники, пробивающиеся из каменных расщелин, — все свое. Но теперь родная природа оборачивалась к ним недобрым ликом. Ноги в прохудившейся обуви разбиты о камни. Кости ломит от ледяной воды речушек, которые переходили вброд. На редком привале, едва рухнешь на землю, узловатый корень злобно врезается в измученное тело. Терновник рвет одежду, вонзает колючки в кожу. Жаркий ветер палит, холодный вгоняет в дрожь. Все безжалостно к побежденным. А может быть, в нем говорило безмерное разочарование. На каждом переходе, на каждом привале казалось: вдруг откуда-то из-за рощи, из оврага, с гор прозвучат выстрелы, просвищут пули, ринутся на испанцев смельчаки, пришедшие на выручку. Неужели обеднела Калабрия отважными людьми? Путь их подходит к концу. Ждать больше нечего. Никто не пришел им на помощь. Ни добрый самаритянин, ни смелый воин. Когда они проходили через деревни, Кампанелла ловил порой мимолетный сочувственный взгляд, украдкой брошенный. И это хоть что-то. Случалось, рядом с тем местом, где заключенных останавливали на ночлег, появлялись фляги вина, ломти хлеба, миски фасоли. Взрослые не решались приблизиться к страшному биваку, присылали детишек. Стражники иногда гнали их, иногда принимали дары для узников

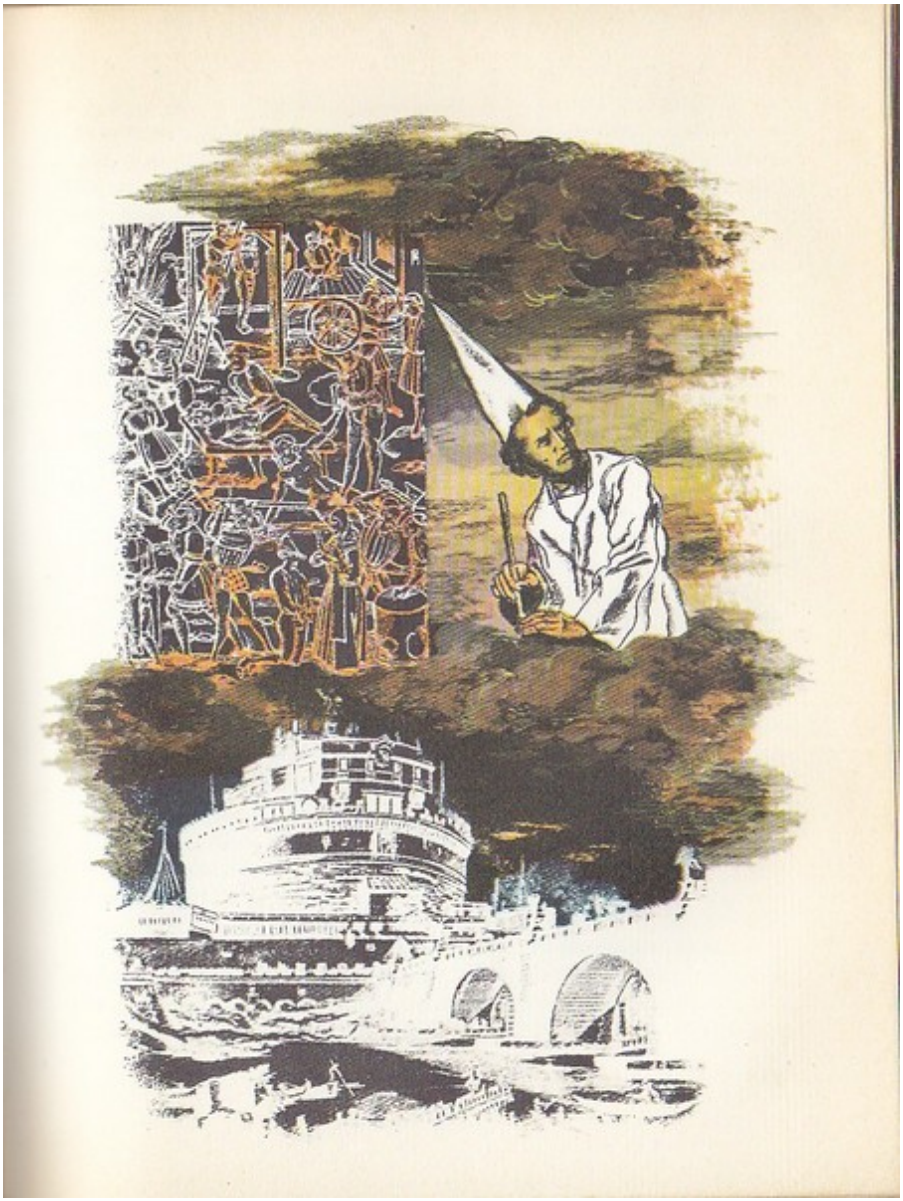
— не угадать заранее, кто из них как поступит.

Но на редкие взгляды сочувствия приходилось куда больше взглядов равнодушных. И всего страшнее — враждебных. Бедные, робкие, темные люди! Народ, который мог бы быть таким сильным, но сил своих не знает и повинуется властителям беспрекословно. Можно ли винить этих людей за то, что они верят всему, что слышат в указах и проповедях? Тем более что там не все неправда. Заговорщики действительно вступили в союз с турками. Турки действительно должны были высадиться на калабрийскую землю. Если он и раньше не мог объяснить каждому, зачем, почему пришлось пойти на этот отчаянный план, как это сделать теперь? Ну ладно. Турки не высадились. Но если бы смутьяны не смутьянничали, тогда не скакали бы сейчас по всем дорогам испанские дозоры и патрули, не хватали бы людей направо и налево, не было бы этой новой беды. Поделом смутьянам! Вот почему родная земля, родные горы, родные леса, родные ручьи кажутся Кампанелле враждебными. Он не ощущает больше живого тока родства между собой и калабрийцами, ни в чьих глазах не читает любви, разве что изредка жалость, чаще — равнодушие и даже злость.

Долог, печален, горек путь на Голгофу.

Глава LI

Неаполь видел многое: угрожающе темный дым над Везувием; столпотворение в соборе святого Януария в день, когда все ожидают, что в сосуде закипит кровь святого; торжественные выезды послов; буйное веселье карнавалов; пышные крестные ходы и процессии паломников; парады испанских войск; побоища голытьбы; покаянные шествия в дни, когда толчок землетрясения вселяет ужас в толпу; чужеземных солдат, заморских купцов, корабли под разными флагами. Неаполь не удивишь! Но зрелище, уготованное городу в этот осенний день, было необычайнейшим из необычных. Оно собрало с утра на берегу толпы. Люди богатые и знатные занимали заранее отведенные им места на возвышениях, наскоро сооруженных подле воды. В домах, выходивших на залив, были заняты все окна. Команды кораблей высыпали на палубы. Ожидалась казнь на воде.



Многие виды казней были известны в ту пору в Европе. Осужденных на смерть вешали. Способ простой, обыденный, пресный. Их четвертовали. Милосердно — вначале отрубали голову, затем отсекали члены, жестоко — вначале отрубали член за членом, потом отсекали голову. Людей сжигали: некоторых вначале милостиво удавливали, а потом разжигали под ними костер, других заставляли гореть заживо. Известны были казни в кипящем масле, распиливание заживо, постепенное утопление. Казни были тщательно продуманы, многократно проверены,

запечатлены на множестве гравюр, картин и рисунков, описаны очевидцами — и хладнокровными, и потрясенными. Даже самым изощренным умам, посвятившим себя этой области деятельности, затруднительно придумать что-нибудь новое.

При дворе вице-короля это удалось. Когда морем доставили в Неаполь заговорщиков, было приказано подвести суда сколь можно близко к берегу, и тех, чье дело уже закончено следствием и кто осужден на казнь еще в Калабрии, казнить на корабельных палубах. Город оповестили о том глашатаи.

Заключенные, измученные вначале долгими переходами в кандалах, затем трюмной духотой и качкой, были выведены на палубы. Замешкавшихся подталкивали, упирающихся тащили. Вид их был страшен. Он подтверждал мнение, высказанное людьми, близкими ко двору: «Истинные чудовища!» Последними вывели приговоренных: четверых предстояло четвертовать, двоих — повесить на корабельных реях. Палачи суетились: прежде им не приходилось устанавливать плах на покачивающихся палубах и укреплять удавки среди путаницы корабельных снастей. Они волновались, боясь осрамиться перед глазами столь многочисленных знатных и понимающих зрителей.

Был прочитан приговор. Ветер относил голос читавшего, и на берегу почти ничего не слышали. Процедура затягивалась. Зрители начали скучать. Когда первого из приговоренных поставили под рею, Кампанелла хотел отвернуться. Но стражник, стоявший подле него, железными пальцами вцепился в его затылок и повернул лицом к виселице. Можно зажмурить глаза. Нельзя! Если другим приходится вынести *это,* он должен *это* увидеть. Навсегда запомнить. Еще будет суд, на котором он станет свидетелем, а может быть, судьей.

Выкрики казнимых, что признание у них вынудили пытками, хрип задыхающихся, стоны четвертуемых, вопли ужаса остальных заключенных, которых заставили глядеть на казнь, громкие команды капитанов, озабоченных тем, чтобы их корабли не сносило в сторону, гул толпы на берегу, ругательства стражников, страшный звук — шлепок, с которым отсекаемые руки и ноги падали на палубу, колокольный звон, прозвучавший с берега, все смешалось в сознании Кампанеллы в отходную людям, которые пошли за ним, а теперь погибают на его глазах.

Вице-король покидал берег во главе своей свиты удовлетворенный. Он знал из уклончиво-витиеватых докладов калабрийского прокурора, что следствие идет с немалыми трудностями. Многое до сих пор неясно — пути, по каким злодеи сносились с турками, условия, на которых они заручились их поддержкой, щекотливый пункт о переговорах с папой и будто бы

полученных от него заверениях…

Казнь на рейде полезна. Она не только устрашила прочих заговорщиков и подсказала им, что следует на допросах быть не столь упрямыми, но и послужила назидательным примером всем неаполитанцам. Вице-король не обольщался относительно чувств, которые питает к нему здешний народ. Если он не может заставить неаполитанцев полюбить его, вице-короля, и испанскую корону, он заставит бояться! Наконец, столь необычайная казнь — хорошая тема для почтительнейшего доклада в Мадрид — их величество любят такое. Аутодафе — малые и большие — приелись, казнь на палубах — новшество. Их величество будут приятно удивлены…

Когда узников снова загнали в тесные, вонючие трюмы, один из них начал истошно вопить, колотиться головой о стенки, хрипеть. Стражники накинулись на него, пытаясь утихомирить, — не смогли. Не выдержал, бедняга — сошел с ума. И всю долгую ночь трюм оглашали его крики, причитания, стоны, хохот. Когда он затихал, становилось слышно, как слабо плещет вода о корпус корабля, как поскрипывают переборки да наверху негромко и печально поет по-испански караульный солдат.

Выгружали их на рассвете. Вода залива в этот ранний час казалась почти белой. На берегу хлопотали рыбаки, собиравшиеся в море. Едва глянули на узников и снова к своим делам — к лодкам, к снастям, в этот час не было ничего для рыбаков важнее, чем улов. Вчера поглядели на казнь, сегодня надо работать — делу время, потехе час!

Глава LII

Итак, новая тюрьма. Кастель Нуово. Хотя замок и называется Новым, он построен в незапамятные времена как крепость, предназначенная для круговой обороны: часть ее башен и бойниц глядит на море, часть на город. Но крепость давно превратилась в тюрьму.

Недалекий путь от пристани до крепости узники, потрясенные вчерашней казнью, измученные бессонной ночью, едва прошли. Когда начальник конвоя стал по счету передавать их коменданту крепости, стало видно — ряды их убыли. Шестерых казнили вчера, несколько человек умерло в дороге. Сколько? Счет не сходился. Пригнанных в тюрьму дергали и пинали. Многие, как только очутились в крепостном дворе, рухнули на его каменные плиты. Не было сил встать. Чудилось, что под ногами все еще тянется дорога, все еще покачивается корабельная палуба. Кампанелла хочет подбодрить обессилевших, тех, кто оказался всего ближе к нему, успокоить отчаявшихся, обнадежить. Нет сил! Собраться с мыслями, найти слова, А он даже говорить не может.

На сей раз одиночка показалась ему благом. Столько дней и ночей подряд быть каждый миг на виду у всех, быть привязанным к другим цепью, чувствовать каждое движение, каждый шаг соседа, знать, что и каждое твое движение, каждый твой шаг отзывается в его теле, совершать все, что монашеское воспитание приучило его делать сколь можно более скрытно, на глазах у всех. Тяжко!

Зазвенели ключи, брякнул замок, отворились двери. В камеру вошел надзиратель и человек с молотком и клещами. Инструменты вошедшего напоминали о застенке. Неужели здесь пытают в камерах? Нет, это не палач, тюремный кузнец. Пришел снять с узника кандалы. Работу свою он делал весело, споро, даже сообщил, подмигнув, что расковывает охотнее, чем заковывает. Надзиратель рассудительно заметил:

— У нас кандалы ни к чему. Отсюда не убежишь!

«Отсюда не убежишь!». Не звон кандалов, падающих на каменный пол, а эти три слова стали для Кампанеллы знаком первого дня в его новой тюрьме. Отсюда не убежишь! Отсюда не убежишь!!

Для узников Кастель Нуово жизненный круг был очерчен крепостными стенами. Стражники и надзиратели — вершители судеб. Оставят ли в одиночке или переведут в общую камеру, разрешат ли прогулку, накормят ли досыта или будут морить

голодом, а главное, вызовут ли на допрос и когда — события первостепенной важности. Немыслимо представить себе, что где-то совсем недалеко живут люди, для которых всего этого не существует. Они каждый день проходят мимо стен Кастель Нуово, видят и не замечают его, как видят и не замечают Везувий. Зачем, чего ради думать о нем? Зачем, чего ради думать об узниках Кастель Нуово? Неаполь, побывав на казни в порту, поговорил о сем событии столько, сколько оно того заслуживало, и позабыл. Другие дела волновали город. Из-за долгой засухи урожай оказался плохим. Только виноград обрел удивительную сладость. Но когда еще придется пить вино нынешнего года, которому и десять лет спустя будут дивиться? Пока что не хватает хлеба, фасоли, овощей. Еще больше бродяг появилось на неаполитанских улицах. Они берутся за любую работу, когда она есть, проводят время в отупляющей праздности, когда ее нет, легко ввязываясь в любую свару и драку. Иногда распоряжения испанских властей выметают их из города. Но, подчинившись приказу сегодня, они нарушают его завтра. Неспокойно в Неаполе. Особенно по ночам. Если, не приведи господь, нужно выйти из дома после захода солнца, препоручи себя всем святым. Надежная стража из двух-трех вооруженных слуг тоже не лишнее. А если слуг у тебя нет, сиди дома. Опасность неаполитанских улиц — одна из любимых тем богатых и знатных горожан. Есть и другие. Семья вице-короля обеспокоена провинциальностью своего двора в Неаполе. До Мадрида далеко. Вести, обычаи, моды запаздывают. О чем толкуют в Мадриде, чем восхищаются там, узнаешь здесь через месяцы. Вице-король Ферранте Луис де Кастро граф Лемос по происхождению, связям, манерам — истый испанский гранд. При своем дворе он ввел этикет, мало чем уступающий мадридскому. И все-таки не мог не чувствовать, в какой он глуши. Когда один из итальянских баронов, принятый при дворе, увлекшись перед визитом во дворец домашним обедом, явился на бал, попахивая чесноком, ему приказали убираться. Но вице-королю еще долго казалось, что от его праздника несет деревней. Настроение было непоправимо испорчено!

Осенние праздники нынешнего 1599 года отпраздновали пышно, чтобы опровергнуть слухи, что в Неаполитанском королевстве, особенно в Калабрии, неспокойно. Известия о разгроме мятежа, даже прибытие кораблей со злоумышленниками, даже казнь шестерых на виду города — все это не заглушило подобных разговоров.

Неурожай, толпы бродяг, заговор, бесконечные запросы, которыми его засыпает Мадрид, сложные отношения с папой, с

Венецианской республикой, с Флоренцией — вице-королю есть от чего потерять голову. Но чем больше забот, тем спокойнее его каменно-надменное лицо. Вот и последняя огорчительная новость внешне никак не отразилась на нем.

Папский нунций снова весьма решительно настаивает, чтобы заключенные из Калабрии были переданы Святой Службе. Главное их преступление — ересь. И тот, кто помешает инквизиции до конца раскрыть это опаснейшее из преступлений, сам берет на себя страшный грех.

Во время многотрудных переговоров, требовавших терпения и дипломатической увертливости, вице-королю подали странную бумагу. Текст был написан по-итальянски и, более того, стихами. Отчетливой скорописью, какой пишут чиновники вице-короля, придерживаясь правил, выработанных в испанских канцеляриях. Чего ради вздумал кто-то из них писать стихи? Вице-король не поклонник поэзии, тем более итальянской.

— Зачем мне показывают это? — недовольно сказал он придворному, не называя его ни по званию, ни по имени, — знак неудовольствия.

— Важная бумага! — почтительно ответил тот.

С каких пор важные бумаги обретают облик сонетов? Не нужно быть знатоком, чтобы понять: четырнадцать строк, переписанных писарским почерком, — сонет. «Сонет о современном положении Италии»? Некто, значит, в четырнадцати строчках берется решить то, из-за чего уже не первый век враждуют столько великих государств? И все это в рифму. Вздор! Но едва вице-король пробежал сонет, он понял, что приближенный не ошибся. В сонете говорилось, что никакого заговора в Калабрии не существовало. Его придумали испанские чиновники. Они решили преуспеть ценой крови того, кого они изображают вождем заговора, и его друзей. Недурно! Дальше и того лучше. Автор сонета угрожает вице-королю божьей карой. Она непременно обрушится на него, если он и дальше позволит обманывать себя и даст погубить пророка и его учеников. Страшной будет его гибель, если прольется кровь праведников. Она поднимет людей и самого бога на кровную месть.

Вице-король не был итальянцем, но знал грозное значение слова вендетта — «кровная месть». Им здесь не шутят, оно хоть кого заставит задуматься. Граф Лемос принудил себя язвительно улыбнуться:

— Хромает размер. Зато есть темперамент. Надобно ли понимать так, что неведомый пророк, угрожающий мне людской и небесной карой, и есть автор стишков?

Придворный подтвердил: проницательность не обманула его

высочество. Сонет написал монах, отец Томмазо Кампанелла, содержащийся по делу о калабрийском заговоре в тюрьме Кастель Нуово. Сонет найден в его камере, отобран, приобщен к делу.

Стараясь разгадать затянувшееся молчание вице-короля, придворный спросил, не наказать ли нерадивых тюремщиков, из-за которых злоумышленник получил возможность писать стихи, и не запретить ли ему под страхом суровой кары подобное сочинительство?

Граф Лемос приходил в хорошее настроение, когда оказывался умнее своих советчиков.

— И тем лишиться возможности прочитать нечто столь же поучительное? Как иначе узнали бы мы, что человек, прозываемый Кампанеллой, воображает себя настолько сильным, что угрожает мне и произносит эти угрозы не только от собственного имени, но и от имени бога? Ну а чтобы утверждать, что мои чиновники постараются извлечь из заговора выгоду, не надо быть пророком. Никакой выгоды они не извлекут, если не дознаются, что дает ему смелость так угрожать…

Да, сонет действительно написал Кампанелла. Вскоре после того, как немного огляделся в Кастель Нуово, раздобыл обрывки пергамента, перо, чернила. Он не прятал сонета и только для вида сокрушался, когда написанное отобрал надзиратель. Начальные строки сонета слово в слово совпадали с тем, что Кампанелла уже говорил на допросах и намерен повторять впредь. Заговора нет и не было! Его придумали испанские чиновники! Если кто-нибудь из заключенных до того, как попал в Кастель Нуово, дал другие показания, они вырваны пыткой. Им не следует верить. Судьи уже слышали это в его ответах, читали в его письменных показаниях, пусть прочитают в стихах, написанных как бы для себя самого. Пусть слова о том, что заговора не было, прозвучат еще раз, подкрепленные стихотворным ритмом и рифмой. Веско и безусловно. Сонет предназначался не только судьям, но и товарищам. Пусть повторяют его, пока не заучат. Пусть вспомнят, когда у них будут вырывать ответ. Не было заговора! Не было заговора! Не было! Написав об отмщении — божественном и человеческом, — тем, кто осмелится пролить кровь праведников, Кампанелла хотел зачеркнуть эти строки — воинственный конец плохо вязался с началом сонета. Зачеркивать? Чего ради? Пусть знают: мы уверены, что невиновны, мы настолько уверены, что считаем и бога и людей своими защитниками, и неизбежной полагаем грозную кару тому, кто прольет нашу кровь. Кампанелла был доволен сонетом. Он напомнит тем, кому нужно напомнить, чего держаться на допросах. Еще раз кратко и сжато повторит формулу

защиты. Подбодрит одних и, как знать, может быть, устрашит других.

Среди однообразно-унылых дней в тюрьме день, когда был написан сонет, Кампанелла мог бы отметить, по обычаю древних, белым камешком — он не пропал впустую в череде других. А вице-король вечером, отходя ко сну, припомнил стихотворение крамольника. «Сонет не слишком совершенен», — подумал он, и в этой мысли было нечто утешительное. Вслед за тем он позвал слугу и сказал, что с завтрашнего дня будет надевать под парадное платье кольчугу толедской работы.

Глава LIII

Даже сам комендант Кастель Нуово не смог бы вычертить плана крепости — так давно ее начали строить, столько времени достраивали и перестраивали. Крепость помнила осады, штурмы, минные подкопы. В ее стенах засели ядра пехотных и корабельных орудий. В Кастель Нуово были глубокие подвалы, действующие и заброшенные подземные ходы, большие и гулкие залы, куда можно набить сотню заключенных сразу, и такие тесные камеры, что в них одному едва повернуться. Ни сам комендант, ни канцелярия крепости сразу бы ни за что не ответили, сколько людей содержится в Кастель Нуово под стражей. Здесь были сомнительные личности, задержанные по случайному подозрению, карманники, пойманные с поличным, контрабандисты, с которыми испанские таможенники вели тщетную борьбу. Содержались в Кастель Нуово наемные убийцы, ожидавшие, что их выручат влиятельные клиенты. Были тут узники, помещенные в крепость по приказу вице-короля, запутавшиеся в сети высокой политики, порой неведомо для самих себя. Содержались здесь подозреваемые в ереси и посему числящиеся за судом папской нунциатуры. И много другого люда. Одни появлялись здесь на короткое время, другие проводили в крепости месяцы, даже годы. Обвинение, выдвинутое против одного испанского дворянина, относилось к временам, когда он служил в испанских колониях за океаном. Туда и послали запрос. Галеас, доставлявший почту вице-королевства, до Испании доплыл благополучно, но каравелла, плывшая в Новый Свет, затонула. Прошли годы, прежде чем неаполитанские судьи спохватились — в деле нет ответа на запрос. Послали новый. Узник успел состариться, неизменно выслушивая: «Терпение! Суд наводит справки». Со времен блаженной памяти короля Филиппа II испанские канцелярии чтут переписку долгую, обстоятельную, подробную, такую подробную, что порой в ней невозможно разобраться. Это стало еще заметнее, когда в Кастель Нуово прибыли узники из Калабрии. Калабрийские чиновники были раздосадованы тем, что им приходится выпускать из своих рук такое многообещающее дело. Они не стали облегчать задачу своим коллегам в Неаполе и вносить ясность в бумаги, отправленные вместе с обвиняемыми бунтовщиками, кое-что придержали, кое-что перепутали. Пусть увидят важные господа, гордые своей близостью ко дворцу вице-короля, легко ли обойтись без скромных калабрийских чиновников.

Едва заключенные были доставлены в Кастель Нуово, возник

важнейший вопрос — сколько из них лиц светских, а сколько духовных? Вопрос немаловажный, первейшей важности вопрос. И те, и другие совершили crimen fori mixtum — преступление смешанного характера. Первым угрожает приговор по делу об измене и, может быть, дополнительно о ереси. Но это отдельно и потом. Во всяком случае, их делом может и должен заниматься светский суд. Вторым также грозит приговор по делу об измене и непременно по делу о ереси. Ими должен заниматься духовный суд. Надлежит прежде всего отделить овец от козлов.

Задача, казалось бы, несложная. Но из заговорщиков, доставленных в крепость, многие на разных допросах по-разному называли свои имена и звания, некоторые были захвачены в чужом платье.

Само число — сто пятьдесят — тоже представлялось сомнительным. Списки, находившиеся у начальников конвойных команд, ненадежны — у одних они поименные, у других — общим счетом. Шестерых человек казнили, сколько-то умерло в пути — сколько? Несколько дней бились канцеляристы Кастель Нуово, чтобы свести концы с концами. И не преуспели. Донести о том начальникам не решились. Пусть остается, как есть. А то, пожалуй, скажут — эдак у вас кто-нибудь убежит, а вы и не хватитесь! Если обнаружится недостача в калабрийских узниках, придется причислить к ним кого-нибудь, находящегося в Кастель Нуово по другому делу. Станет говорить, что он к заговору не имеет отношения? Пусть говорит. Все твердят то же самое.

Долгая переписка о подсудности между судебными инстанциями вице-королевства и Римом продолжалась. Вице-королю о столь деликатном деле приходилось постоянно уведомлять Мадрид. Документы, переписанные каллиграфическим почерком, с наложенными на них восковыми печатями, а иногда даже с металлическими, вислыми, проделывали долгий путь сушей и водой. Стороны все еще были весьма далеки от согласия. Хитроумные заключения юристов ясности в дело не внесли. Оно обросло дипломатическими и личными амбициями, дворцовыми и судейскими интригами.

Узник Кастель Нуово брат Томмазо, прозываемый Кампанеллой, всего этого знать не мог. Он только чувствовал, что стремительные и довольно бестолковые допросы в калабрийских тюрьмах, где в каждой следующей то продолжали следствие, начатое в предыдущей, то принимались дознаваться обо всем с самого начала, сменились непонятной проволочкой. Первое, что приходило на ум: его хотят измотать, ищут новых свидетелей, готовят лжесвидетелей, списываются со всеми монастырями, где он когда-либо жил, запрашивают о нем канцелярии провинциалов

и генерала доминиканского ордена, нунциатуры разных городов, инквизиторов и цензоров, занимавшихся в прошлом его деяниями и сочинениями. Тогда на допросе перед судьями будет лежать не несколько исписанных листов бумаги, а целый том — вся его жизнь, записанная теми, кто тайно за ним следил, тайно о нем осведомлялся. Надо быть готовым ко всему! Первый допрос все покажет. Надо собраться с силами. Укрепить мужество товарищей по делу, братьев по судьбе. А для того связаться с ними. Если их всех что-нибудь спасет, то только неколебимая стойкость.

Утро в Кастель Нуово начинали горластые петухи. Их клич, напоминавший деревенское детство, в крепостных стенах ошеломлял. Дивиться нечему. Стражники и надзиратели, родом из крестьян, жили в крепости с семьями, обзаводились хозяйством. На внутренних дворах возделывали огороды, держали коз. Виноградные лозы карабкались по стенам тюрьмы. В крепости появлялись торговцы рыбой, пекари привозили хлеб, пастухи пригоняли коз и продавали тут же надоенное молоко. Въезжали повозки с провиантом для солдат и заключенных. Жены стражников и надзирателей сновали по крепости, громко перекрикивались, дети носились стаями по дворам, играли. Подражая родителям, они нередко вели кого-нибудь под конвоем в место, обозначавшее в их игре тюрьму. Каменщика чинили старые, местами обваливающиеся стены. Черными тенями проходили по крепостному двору, опустив глаза, молчаливые инквизиторы, поспешали протоколисты-нотарии, скакали на прекрасных конях, распугивая всех, надменные испанские курьеры. Поспав после обеда, выходили посидеть перед своими уютными домиками на осеннем солнце утомленные ночными трудами палачи — основательные, коренастые, жилистые люди. Переругивались с женами, переговаривались с соседями. Толковали между собой о житейском и о делах. Побаливают суставы — много времени приходится проводить в подземельях, а там сыро. Трудиться заставляют бессовестно много. И все, кому не лень, учат. А чего учить людей, которые на этом ремесле собаку съели! Так нет же! Взяли моду по книге, по картинкам указывать, как на дыбе растягивать, как воду через мехи в глотку наливать, будто они и без книги не знают, как это делается. Этого бы ученого, кто ее сочинил, в застенок, дать ему обвиняемого, да инструменты, поглядим еще, как управится! Писать-то легко!.. А ты попробуй все, что надо, выудить, да за один раз, да чтобы тот, у кого выпытываешь, раньше времени не помер. С кем промашки не бывает, а за нее по головке не гладят! За ночь так намотаешься, от криков оглохнешь, руки себе отобьешь, весь перемажешься, врагу своему такой работы не пожелаешь.

Так судачат на дворе Кастель Нуово обитающие здесь заплечных дел мастера — основательные, жилистые, коренастые мужчины. Впрочем, толкуют не только об этом. О картах, в которые не прочь перекинуться. О том, какой славный нынче уродился виноград. Каков улов. Каковы цены на рынке. О мастере, который шил им фартуки для работы и схитрил — поставил вместо новой кожи — старую. Совести у людей не стало! О дураках, которые верят, что веревка повешенного или обуглившаяся косточка сожженного приносят счастье, и готовы платить за них большие деньги — кабы так на самом деле, были бы они, палачи Кастель Нуово, самыми счастливыми людьми на свете. О прекраснейшей проповеди — слушали ее в крепостной церкви со слезами умиления. О хворостях жен толкуют. О приданом для дочек. О том, пускать ли сыновей по своей части или обучить другому ремеслу. Отдыхают мастера своего дела, осенним солнышком наслаждаются, винцо попивают, беседуют о ремесле и житейском.

Случилось им увидеть Кампанеллу — его переводили из камеры в камеру. Поглядели на него с интересом, слышали, что он из калабрийских злодеев главный, к тому же смолоду знается с нечистой силой. А шагает будто не в тюрьме, голову высоко поднял, по сторонам смотрит, поглядел — словно кинжалом полоснул. Как тут было удержаться, не пошутить: «До скорой встречи!» С ним быстро не сладишь — сразу видно.

Кампанелла увидел компанию, отдыхающую на осеннем солнышке, их лица увидел, руки разглядел, услышал веселый голос шутника, суливший близкое знакомство. Он еще ничего не знал о них, но тело напряглось от их взглядов, как от отвратительного прикосновения.

Передышка его между тем продолжалась. Все эти дни он был занят тем, что сочинял стихи. Он сочинял стихи всегда. С детства. Но никогда так много, так упорно и бурно-вдохновенно. Напряжение, владевшее его душой, находило выход в писании стихов. Была возможность достать кусок пергамента или бумаги — писал на нем. Не было — запоминал. И написанное на бумаге и сочиненное в голове торопился заучить. Написанное, скорее всего, отберут, сколько раз уже отбирали! Но еще не придумали способа заглянуть под черепную коробку, переворошить в поисках запретного мозг. Когда-нибудь придумают, пока еще, слава богу, не сумели. Странно, Кампанелла сочинял в эту пору почти исключительно сонеты. Труднейшая форма! Она требует, чтобы мысль была без остатка уложена в четырнадцать строк. Сложные правила влекли Кампанеллу своей трудностью. Кампанелла понимал, что его сонетам, увы, далеко до сонетов Кавальканти,

Данте, Петрарки. Вряд ли ему отпущено столько таланта, а главное, отмерено столько жизни, чтобы научиться писать сонеты так, как мечтается. Слог его порой грешит против совершенного итальянского наречия — благородного тосканского, отдает порой мужицким калабрийским. Что за беда! Несовершенные сонеты помогают ему дышать. Они нужны тем, кто ему доверился. Их веру в него, в его пророчества, в общее дело он должен поддержать. Во что бы то ни стало!

Кампанелла написал сонет, обращенный ко всем заключенным по «некоему делу». Он писал его, зная, что многих узников — в отличие от него — уже допрашивают. Они уже претерпевают муки. О том, что допросы калабрийцев начались, обмолвился стражник. Кампанелле ненавистны взгляды Макиавелли: люди не стоят того, чтобы из-за них терпеть невзгоды; люди не стоят того, чтобы задумываться об их участи, когда они терпят несчастье. Он, Кампанелла, пришел в мир, чтобы спасти людей, всех вместе и каждого страждущего, вывести их в обетованную землю свободы и справедливости. Как же не помочь тем, кто поверил ему, кто последовал за ним? Он не может утолить терзающего их в тюрьме голода, он не может исцелить их кровоточащих ран, он не может вывести их на волю. Но он может поддержать их. Своим примером. Своим словом.

Кампанелла не стал жалеть тех, кому приходится сейчас так тяжко. Он хотел помочь им, внушая гордость. Если злые силы, огонь, острые крюки и зубчатые пилы разорвут наши тела, писал он в сонете, обращенном к узникам, а дух наш остается неколебимым, тогда милосердие дарует нам благородную смерть.

Он не мог думать только о допросах и судьях. Чтобы отвлечься, размышлял о происхождении поэзии. Кампанелле казалось, что она родилась вместе с первым человеком, она так же естественна для человека, как потребность есть, спать, трудиться. А до того, как на свет появился первый человек, поэзия жила в пении птиц. Думать так радостно. От этих мыслей тюремные стены не так давят. Тюремщики однажды отняли у Кампанеллы бумагу, в которой судьи с удивлением прочитали: «Я убежден, что стихотворный ритм возник вместе с человеческим родом». Чем только занята голова этого человека?

Глава LIV

Кампанеллу тревожил Мавриций. Пугала его гордая горячность. Она не укроется от судей, и уж они найдут способ воспользоваться ею. Среди надзирателей были разные люди: одни тянули служебную лямку лениво и равнодушно, некоторые — их было мало — относились к узникам по-человечески: соглашались на маленькие послабления. Были корыстные, которых можно подкупить. Но были служаки, честолюбцы, знавшие — за рвение не взыщут, а повысить могут. Их и сослуживцы побаивались. При них в разговоры с заключенными не вступали, прикидывались такими же цепными собаками. Одного из самых ревностных стражей, итальянца, выдававшего себя за испанца, приставили к Маврицию. Внушили, что тот опаснейший злоумышленник. За бдительный надзор — награда, упустишь самую малость — взыск. Надзиратель старался изо всех сил. Почти не отходил от камеры, то глядел на узника через глазок, то внезапно отворял дверь, врывался к Маврицию, грубо обыскивал его, рылся в тюфяке, шарил в скудном скарбе. Маврицию был непереносим чужой взгляд, отвратительны грубые руки, обшаривающие его, мерзок запах чужого дыхания на лице. Он понимал: приставленный к нему мерзавец нарочно вызывает его на вспышку. Но чего ему стоило сдерживаться! А старательный надзиратель с удивлением доносил начальству, что, когда ни поглядишь на Маврикия, когда ни войдешь в камеру, тот молится.

Мавриций действительно много и истово молился. Молился Святой деве и всем святым, особенно своему патрону, чтобы они защитили его в беде, помогли ему перенести то, что ждет его, а если он погибнет, были предстателями за него перед Господом. Молился за свою семью, которой причинил столько горя. Молился за свою маленькую дочь. Молился, чтобы родные и близкие хоть однажды привиделись ему во сне. Молился за друзей, оказавшихся вместе с ним в этих стенах. Но иногда — этого не знал надзиратель, — когда губы Маврикия беззвучно произносили слова, это были не слова молитвы. Это был сонет Кампанеллы. Его Мавриций услышал от других арестантов в день, когда его последний раз выводили на прогулку. Грешно, но Мавриций считал, что и этот сонет — молитва. Он повторял его с таким же чувством. И клялся, что заслужит благородную смерть, которую, как написал его друг, милосердие дарует тому, кто неколебим духом. Мавриций не знал — эта решимость понадобится ему очень скоро. Допросы заговорщиков продолжались, но особых результатов не давали. Судьи решили:

пока вопрос о том, кому заниматься заговорщиками из духовных лиц, не решен, допросить главного из бунтовщиков-мирян. Им и был Маврициий.

С тех пор как существуют тюрьмы и тюремщики, с тех пор как существуют решетки на окнах, запоры, засовы, замки, с тех пор как существуют стражники, надзиратели, наушники, доносчики, мысль узников бьется над тем, как сквозь стены, решетки, запоры, засовы, замки, обманывая доносчиков и наушников, минуя стражников и надзирателей или заручившись их содействием, передавать друг другу вести. История этих изобретений началась в подземных темницах Древнего Египта, в тюрьмах-лабиринтах, выстроенных по приказу восточных деспотов, и не прерывалась никогда. Сотни, тысячи умов — и каких умов! — внесли в нее свой вклад. Тайная тюремная почта создавалась веками, а крепость Кастель Нуово — одна из самых старых и многонаселенных тюрем Италии, — в этом смысле могла считаться Академией! Комок глины, оброненный в условном месте при проходе по тюремному двору, мог быть сигналом сам по себе или таить внутри лоскут с написанным на нем известием. Ветка, сломанная определенным образом на кусте боярышника, который рос подле тюремной стены, — знак. Песня, пропетая около окна, — а в окнах здесь не было стекол, только решетки — хитроумно включала слова, понятные посвященным. Солнечный зайчик от обломка зеркальца, нитка, прицепленная к дереву, птичье перо, определенным образом ощипанное, а если повезет, то и с бумажкой, вставленной в сердцевину, — не перечесть безмолвных почтальонов, которые служили узникам Кастель Нуово. Да и среди надзирателей калабрийцы нашли земляков. Звук родного наречия, поговорка, напоминающая деревню, откуда родом стражник, случалось, творили чудеса, и калабриец-надзиратель соглашался помочь калабрийцу-узнику. Некоторые из схваченных по делу о заговоре были богаты. Многих родственники выкупили еще в Калабрии. Тех из них, кто оказался под особенно сильным подозрением, выкупить не смогли. Родные узников, если то были люди с деньгами и влиянием, примчались в Неаполь. Обивали пороги всевозможных канцелярий, искали протекции и, зная, сколь многое зависит от мелкой сошки в суде и тюрьмах, доискивались, какие пути ведут к этим людям, памятуя, что даром дается только смерть, находили такие пути, через мелких и мельчайших слуг закона передавали своим близким записочки, получали от них ответы. Так постепенно между Кастель Нуово и волей, между камерами установились тайные связи. Многолюдство и неразбериха в крепости тому способствовали.

Вести иногда были важными. Вдруг Кампанелле передали, что один из заговорщиков, священник Петроло, который в Калабрии первым не устоял на допросе, как будто бы раскаивается и решил отречься от своих показаний. Если это правда, из рук обвинителей будет выбит важнейший козырь. Порой тюремная почта приносила слухи не слишком значительные. Вдруг сообщали, что вице-король недоволен ходом следствия, потому что им недовольны в Мадриде. А иногда вестовщики удивляли и вовсе несуразным. Папа-де потребовал прекратить процесс, а арестованных выпустить. Кампанелла понимал — его товарищи, измученные заключением, утешаются химерой. Сказать им, что они верят этому слуху напрасно и тем глубоко опечалить? Укрепить их веру? Тяжко тому, на кого даже сквозь каменные стены с надеждой взирает столько глаз, каждое слово которого жаждут услышать, каждому слову которого верят. Тяжко бремя, которое он возложил на себя.

Опасность, грозившая Кампанелле, неизмеримо больше той, что нависла над ним после первых арестов. Но о предстоящих муках и унижениях, — а унижения страшили его больше, чем муки, — даже о вполне вероятной смертной казни он думал мало. Все силы уходили на тех, кому он обязан служить опорой. Нелегко чувствовать себя отцом огромной семьи, когда она в беде и ждет от тебя совета, поддержки, защиты. Тюремная почта — словами, переданными из уст в уста, запиской, спрятанной в горбушке, строками, подчеркнутыми в молитвеннике, — повторяла и повторяла, твердила и твердила заклинание Кампанеллы: «Держитесь! Мужайтесь! Надейтесь! Даже небесные светила за нас! О том говорят явные знамения! Надейтесь! Мужайтесь! Держитесь!» Когда нужно помочь стольким страждущим и страшащимся, забываешь о собственных страданиях и страхах.

Глава LV

Вдруг Кампанеллу вывели на прогулку вместе с Маврицием и Дионисием. И надзиратели — что за чудо — смотрят спокойно на их встречу и даже — невероятно! — не мешают им говорить друг с другом. Миг ошеломительный! Первое, что замечает каждый, — как страшно изменились его друзья. Кожа окрасилась свинцовой серостью, щеки впали, лихорадочно блестят глаза. На Дионисии и Кампанелле рубища вместо доминиканских одеяний. На Маврикии — он всегда носил щегольские камзолы, обтягивающие панталоны, короткие плащи, широкополые шляпы — отрепья. Но все равно видно — он красив и молод. Присмотрелись друг к другу, улыбнулись, обняться не решились, чтобы их не растащили в стороны. Главное, поговорить. Говорить трудно. Среди толпы заключенных, одновременно выпущенных во двор, они знают не всех. Здесь, рядом, могут быть доносчики. Как узнаешь, что эта встреча, неожиданно выпавшая им на долю, — недосмотр или умысел? Сколько раз толковали они, когда готовили заговор: нужна осторожность! И какими неосторожными были! Дорого заплачено за эти уроки.

Первым заговорил Кампанелла. Он произнес громко, уверенным голосом оратора и проповедника:

— В Неаполе мудрые и опытные судьи! В Неаполе справедливейший вице-король. И судьям и его высочеству уже ясно — никакого заговора не было! Не было никакого заговора! Его придумали в Калабрии мелкие чиновники, нерадивые слуги славной испанской короны, которым нужно доказать свое рвение. Но истина восторжествует! Она всегда торжествует там, где владычествует Испания!

Дионисий согласно кивал головой и повторял вслед за Кампанеллой столь же внушительно и торжественно, что заговора не было, неаполитанские судьи мудры, вице-король справедлив, а Испания — родная мать своим итальянским подданным.

Мавриций выдавил те же слова сквозь челюсти, словно сведенные оскоминой, голосом надтреснутым и глухим. Кампанелла встревожился, уж не болен ли он. Потом почувствовал: младшего из них томит особенно сильная тревога. На лице Маврикия — лице смельчака, воина, любовника, рубаки — печать обреченности. Такими ему случалось видеть умирающих, которых он исповедовал. Что его так терзает? Спросить? Если это страх, он ни за что не признается в том — молодой, гордый, с юных лет мечтавший походить на славных рыцарей прошлых веков. А если это болезнь, как помочь ему?

Шепотом, чуть двигая белыми губами, Маврициий проговорил:

— Ксараву заменили другим…

Важная новость! Но почему она так испугала Маврициа? Неужели найдется следователь более мерзкий, чем калабрийский прокурор, которого Кампанелла в своих стихах назвал «помесью свиньи и барана», хотя правильнее было бы назвать его «помесью свиньи и лисицы»?

— Что тебя в этом страшит? — мягко спросил Кампанелла. Маврициий устало пожал плечами. Конечно, Кампанелла — главный из заговорщиков и самый мудрый из людей. Он умеет предсказывать судьбу по звездам, а если иногда ошибается, как ошибся, предсказав успех заговора, так ведь всякий может ошибиться, кроме Господа бога. Кампанелла умеет читать в глазах — вот и сейчас по глазам Маврициа увидел, что тот в великой тревоге, но все-таки он сын сапожника, монах. Что он видел, кроме отцовской мастерской и монастырских келий! Есть много тонкостей в мирских делах, которые ему неизвестны. Например, отношения, что связывают и разъединяют старинные роды калабрийских дворян, притяжение и отталкивание, существующее между ними и испанскими властями. Любой калабрийский дворянин сразу поймет, что означает для Маврициа де Ринальдиса назначение в трибунал Санчеса де Луны.

Для Ксаравы Маврициий был одним из подсудимых, преступником важным, бунтовщиком опасным, но и только. Их жизненные пути прежде не пересекались. А для Санчеса де Луны он был членом рода, с которым давно враждовал его род. Для нового судьи дело Маврициа обретало оттенок кровной мести. Нельзя быть мельником и не перемазаться в муке. Нельзя быть судьей, проливать кровь по закону и не перемазаться в крови, пролитой по собственному почину. У каждой должности своя корысть. Так повелось! Не нами заведено, не на нас кончится…

Глава LVI

Узники Кастель Нуово жили не только ожиданием допросов и пыток. Такое немыслимо. Кампанелла утешался писанием стихов. В общих камерах рассказывали бесконечные истории из прошлой жизни, похвалялись охотничьими, рыбачьими, любовными подвигами, резались в самодельные карты, играли в кости, ссорились и мирились. Многие заговорщики страдали оттого, что в некоторых камерах верх взяли обыкновенные бандиты и воры. Они чувствовали себя в тюрьме как дома, захватывали лучшие места, отнимали у других арестантов еду, слабых и робких превращали в своих слуг. На прогулке калабрийцы пожаловались Кампанелле, что от бандитов житья нет, чуть что — бьют, грозят прирезать. Надзиратели не обращают на это внимания. Видно, таков приказ. Если человек боится не только судей, но и сокамерников, дело плохо. Двойного напряжения долго не выдержать. Кампанелла сказал Маврицию, что надо заступиться за тех, кто сам не может постоять за себя. Мавриций обещал все сделать. Хорошо, когда можно думать не только о себе.

На прогулке несколько калабрийцев вдруг затеяли драку. Надзиратели бросились разнимать их. Один из бандитов кинулся посмотреть, что происходит. Ему подставили ногу, он упал, хотел встать, его толкнули снова и заслонили от взглядов надзирателей. Пока те разнимали дерущихся, бандита избили так, как он бил в камере слабых, — резкими и острыми ударами под вздох, потом поводили у него перед глазами калабрийским ножом, чтобы все забыл, что видел, и провели ножом за ушами, чтобы все забыл, что слышал. Вернувшись с прогулки, бандит забарабанил в дверь, требуя, чтобы его перевели в другую камеру: здесь его убьют. Пока надзиратель ходил докладывать коменданту о происшествии, жалобщика снова изрядно поколотили, а главное, велели передать всем дружкам, что с сегодняшнего дня Мавриций де Ринальдис приказывает бандитам быть тише воды, ниже травы, иначе — смерть! Бандиты притихли. Маленькая, но победа.

Однако опасения Маврикия оправдались. Вызванный после перерыва на допрос, он увидел перед собой новых судей. Санчес де Луна — он сидел в середине стола, — не глядя на узника, опустив глаза в бумаги, тихим, почти ласковым голосом призвал Маврикия не длить бессмысленного упорства, одуматься и признаться в своих преступлениях. «Иначе тебя будут пытать!» — помолчав, сказал он. Протоколист привычно записал, что к обвиняемому была применена угроза — territio, — и добавил, как

полагалось: verbalis — «словесная».

Будто бы ему прежде не угрожали? Еще как! С криками, с бранью, с грохотом кулаков по столу. В калабрийских тюрьмах его били без предупреждений и записей в протокол — побои не считались пыткой, но все это не так напугало Маврикия, как тихий, почти ласковый голос нового судьи, отчетливо выговоривший словесную угрозу: она прозвучала вступлением в некий еще неведомый узнику страшный церемониал. Дрожь пошла по телу Маврикия, волосы на затылке стянуло невидимой рукой, сердце оборвалось. Великого усилия стоило ему отрицательно покачать головой и проговорить, в какой уж раз:

— Мне не в чем сознаваться!

За этим последовало нечто неожиданное. Не настаивая, не гневясь, судья спокойно приказал увести узника в камеру, и Маврикий весь оставшийся долгий день и всю бессонную ночь размышлял о том, что означает поспешность, с какой был прерван допрос.

На следующий день о нем словно забыли. За ним пришли вечером, после того как торжественно и печально отзвонили колокола неаполитанских церквей. Над головой было осеннее темное небо с крупными звездами в разрывах темных облаков. С моря дул ветер. Поодаль от дорожки, по которой его вели, в домах стражи и тюремных служителей смеялись и пели. Мирным и сонным казался вечер. В зале суда горели, оплывая, свечи в тяжелых шандалах, бросая на стол и стены домашний трепетный свет. Дальше все было так же, как накануне. Тот же тихий, почти ласковый голос призвал Маврикия одуматься. И добавил многозначительно:

— Сие увещевание второе!

После почти двух дней, проведенных в тревожном ожидании, после бессонной ночи, после прохода по вечернему двору, казавшемуся таким обычным, не тюремным, Маврикию было еще труднее на вопрос, не одумался ли он, снова чуть слышно проговорить, что ему не в чем сознаваться. Ему было бы легче, будь рядом друзья, способные оценить его мужество, друзья, для которых оно было бы примером. Но он был один перед лицом судей и врагов. Он может вести себя здесь как угодно, может ни в чем не сознаваться, а его судьям ничего не стоит оболгать его перед друзьями, сказать им, что Маврикий все рассказал, отнять у него последнее достояние — честь и доброе имя.

Судья — за столом их восседало несколько, но Маврикий видел лишь одного Санчеса де Луну — подал знак протоколисту. Протоколист записал, что подсудимый выслушал вторую угрозу, сделав рядом с этим словом пометку: «вещественную». По-латыни

это называлось territio realis. Новый судья был человеком формы. Знаток уголовного, канонического и цивильного права, специалист по ведению следствия, он выждал, пока протоколист записал все, что полагается, педантично проверил запись, скрепил ее своей подписью, подождал, пока она будет посыпана песком и чернила высохнут, не то изучающим, не то сожалеющим взглядом посмотрел на Маврикия и коротко хлопнул в ладоши. Из-под темного свода появились два человека в плащах с глухими капюшонами, где были прорезаны отверстия для глаз, ловко и сильно заломили руки Маврицию за спину и повлекли за собой. Третий служитель шел впереди, четвертый сзади. В таких случаях узник иногда так вырывался, что двух стражников было недостаточно, чтобы удержать его. Насколько легче быть храбрым на опасном турнире и даже в кровопролитном бою! Там твою смелость все видят. В руках у тебя оружие. Нет чувства униженности и бессилия.

Помощники палачей медленно и долго вели его по внутренним переходам, по тюремным дворам. Куда? Несмотря на поздний час, тюремный замок еще не спал, и скоро по камерам, где содержались калабрийцы, разнеслась весть: Маврикия повели в застенок!

Его стащили вниз по крутым ступеням, втолкнули в зал с низкими сводчатыми потолками, где пахло дымными факелами, сырой плесенью, кисловато-пресно — кровью. Весь бесконечный путь Маврикий готовился к пытке, то шепотом молился, то, как молитву, мысленно повторял сонет Кампанеллы. Осторожно придерживаясь за перила лестницы, подбирая рукой длинный плащ, в зале появился один из судейских. С ним вместе пришел протоколист.

— Гляди! — приказал главный из тех, кто привел его сюда.

Второй ухватил Маврикия сильной рукой за затылок и держал так, чтобы он не мог отвести глаз от того, что ему показывают. Он увидел прямо перед собой нечто, сколоченное из толстых дубовых балок. Две стояли стоймя, третья служила верхней перекладиной. Между балками на оси — ворот, на который поворотами колеса должен накручиваться канат, проходящий через блок, укрепленный в потолке. На конце каната болтался крюк. Помощник палача короткими словами и выразительными жестами объяснил, что крюк цепляют за веревку, которой связаны руки, заведенные за спину допрашиваемого. Накручивая канат на вал ворота, поднимают человека вверх. Вроде того, как тащат ведро из колодца. Собственный зад тянет тело книзу, а канат — кверху. Руки выворачиваются в суставах. Помощник палача сказал деловито-дружелюбно:

— Как снимем, так вправим. Лучше лекаря. Такое у нас обхождение.

Рядом с дыбой на полу валялись большие гири — такими взвешивают грузы на городских весах, что подле рынка. «Зачем же гири?» — подумал Маврикий и с ужасающей ясностью понял: гири подвешивают к ногам.

— Нагляделся? — весело спросил помощник палача, и Маврикия повлекли дальше. Ему показали очаги, мехи для раздувания углей, чем-то звякали, чем-то помахивали перед глазами. На совесть показывали. Ничего не пропустили. Потом ушли. Ушли, а его оставили в зале, освещенном дымными факелами, наедине с палаческими снастями. Чтобы разглядел все получше, чтобы подумал подольше. С ним остались надзиратели — приглядывать, чтобы узник, не дай бог, не попробовал раньше времени наложить на себя руки.

Иные после «вещественной угрозы» делались не в себе. Утром из застенка выводили заговаривающихся, окаменевших людей с неподвижным взглядом и застывшими лицами. Другие буйствовали, вопили, кидались на землю. И на тот и на другой случай у тюремных врачей были испытанные средства. С Маврицием такого не произошло. Он всю ночь думал об одном и том же. Он хотел лишь одного — добра согражданам, блага и свободы милой родине, из которой пьют кровь испанские пиявки. Счастья хотел ближним и дальним. Свободы хотел, справедливости. И это грех? И это преступление? И за эти мечты — такое?

Утром его снова повели переходами, коридорами, дворами к судьям. И когда он вновь тихо, но твердо сказал, что ему не в чем сознаваться, тот же судья устало, сожалеюще развел руками и приказал что-то протоколисту.

В бумагах по делу Маврикия появилось слово, написанное по-латыни — пытка, tortura. И добавление: «легкая». О предстоящей пытке ему объявили. О добавлении не сказали.

Маврикия вернули в камеру. Судьи тем временем посовещались, обсудили дальнейшее, дружно согласились, что Маврикий орешек твердый, однако раскусывали и не такие, и разошлись по домам пообедать, поспать, набраться сил к ночи. Предстояла нелегкая работа. Чего доброго, за одну ночь не управишься! Нужно вернуться в судилище отдохнувшими, выспавшимися, бодрыми, с ясными головами. Молодой, но закоренелый крамольник потребует от них терпения, опыта, сил, выдержки, хитрости.

Глава LVII

День был — как все другие. К берегу Неаполя подплывали парусники и галеры из Генуи и Венеции. На рассвете в море уходили рыбачьи лодки, поздние ноябрьские дни — дни большого улова. Неаполитанская голытьба старалась промыслить себе пропитание. В церквах звучали слова о небесной благодати и господнем милосердии, шла торговля кусочками мощей, святой водой, раскрашенными гипсовыми и вырезанными из дерева изображениями младенца Христа и мадонны. Во дворце вице-короля готовились к приему иностранных гостей, в честь которых назначен ужин и большой бал. Приглашенные делали вид, что эта честь их не волнует, не получившие приглашения сходили с ума от зависти и злословили о приглашенных. В мастерских плотников и столяров, кузнецов и сетевязальщиков, сапожников и ткачей шла работа. К постоялым дворам подъезжали почтовые повозки: усталые путешественники вылезали из них, разминались, оглядывались: «Вот он Неаполь, о котором сказано: „Увидеть Неаполь — и умереть!“ Поглядим, стоил ли он своей славы!» Неаполитанцы и приезжие работали, бездельничали, ели, пили, пели, спорили, любили, говорили о важном и о пустяках, грешили, молились, каялись, принимали гостей, ходили в гости, читали книги, обделывали дела, болели, лечились — жили обычной жизнью весь этот день — один из дней поздней осени 1599 года. И весь этот день Маврициий оставался в застенке. Санчес де Луна не ограничился «легкой» пыткой. С того мига, как Маврициа притащили сюда, уже не раз сменялись судьи и протоколисты. Выходили во двор перевести дух палачи. Потом их пришлось сменить свежими.

Неаполь засыпал. Последние прохожие спешили по домам, чтобы ночь, не дай бог, не застала их на улице. Проплыли окруженные слугами с факелами носилки важных господ, возвращавшихся с приема во дворце. Промаршировали отряды городской стражи. Замер город, уснул. Уснули и обитатели Кастель Нуово — одни спокойным, другие тревожным сном. А Маврициий оставался в застенке.

День, другой, третий…

Возобновлять пытку по правилам инквизиции не дозволялось. Но без перерывов ни судьям, ни палачам, ни протоколистам не выдержать. Пытку прерывали, а потом начинали снова, записывая в протокол, где отмечалось каждое действие палачей и каждое слово пытаемого, что это не новая пытка, а продолжение прежней.

«Можно продолжать!» — эти два слова звучали припевом бесконечных дней, которые Маврикий провел в застенке. Маврикия продержали в застенке шесть дней и шесть ночей подряд. Седьмой день самим Господом предназначен для отдыха от трудов праведных. В воскресенья судьи отдыхали и давали отдохнуть палачам, как и подобает добрым христианам.

Неделю назад Маврикий, несмотря на все, что выпало на его долю, еще был молодым, сильным человеком. Через неделю в одиночную камеру из застенка волокли старика. Когда его тащили мимо группы калабрийцев, оказавшихся во дворе, они его не сразу узнали. И вдруг на черном, в кровоподтеках и шрамах, лице показавшегося им незнакомым человека появилась тень улыбки и чуть слышный голос произнес:

— Мне сознаваться не в чем…

Скоро Кампанелла узнал — Маврикий ничего и никого не выдал. Но он ужасно истерзан. Надзиратели были поражены: Кампанелла — главный из злодеев, рыдает в своей камере. Он рыдал от сострадания к другу.

Все эти бесконечные дни и ночи он думал о Маврикии. Тот должен, должен, должен почувствовать, с какой силой Кампанелла молится за него. Он думал — Маврикий не выдержит, он не может выдержать, нет человека, который может выдержать такое. Но тогда обречены все! Если признается Маврикий, отказ Петролы от показаний их не спасет. Тогда конец всем! И все-таки, посылая Маврикию через стены мысленный приказ — молчать, мысленную мольбу — молчать, мысленное заклинание — молчать, Кампанелла с тоской в сердце думал, что требует от друга того, что выше человеческих сил, ибо с ним творят нечеловеческое. Умереть легче… И теперь, когда оказалось, что Маврикий выдержал то, что выдержать невозможно, Кампанелла перестал владеть собой — слишком велико было напряжение, слишком долго длилось оно. И тут же душу заполнила тревога: «А ты сам? Теперь они примутся за тебя. Сможешь ты это выдержать?»

Тюремному лекарю было велено оказать Маврикию всяческую помощь, чтобы тот не умер раньше времени. Осмотрев Маврикия, лекарь только головой покачал: такого он еще не видывал! Медик считал, что ему повезло. Должность в Кастель Нуово давала ему возможности, о каких его коллеги и мечтать не могли. Нет таких ран, ушибов, переломов, вывихов, ожогов, кровопотерь, с какими ему не пришлось бы иметь дела. Бесценный опыт! Больные на воле — люди состоятельные — носятся со своими запорами, подаграми, головными болями, пустячными нарывами, привередничают, настаивают на

консилиумах, требуют небывалых лекарств, ожидая немедленного улучшения, а пациенты Кастель Нуово, у которых все тело изранено, благодарны за малейшую помощь. Они прощают ему, тюремному медику, что он дает заключение о возможности продолжать пытку, — что поделаешь, такая должность. Не он, так другой. Но пусть не думают коллеги, что он — лишь костоправ. В век науки хочется быть ученым. Особенно когда материал сам плывет в руки. Чего только, например, не узнаешь от палачей! Среди них попадаются любознательные и наблюдательные парни. Заметили, например, что сравнительно слабое усилие, приложенное к некоторым точкам тела, дает сильнейший результат, что есть особи, у которых в застенке вдруг наступает полная потеря чувствительности, такого пытай, не пытай, он как каменный. Молодой, образованный, честолюбивый медик всерьез подумывал о трактате, посвященном человеческой восприимчивости к боли. Грех пропадать тому, что он узнал здесь.

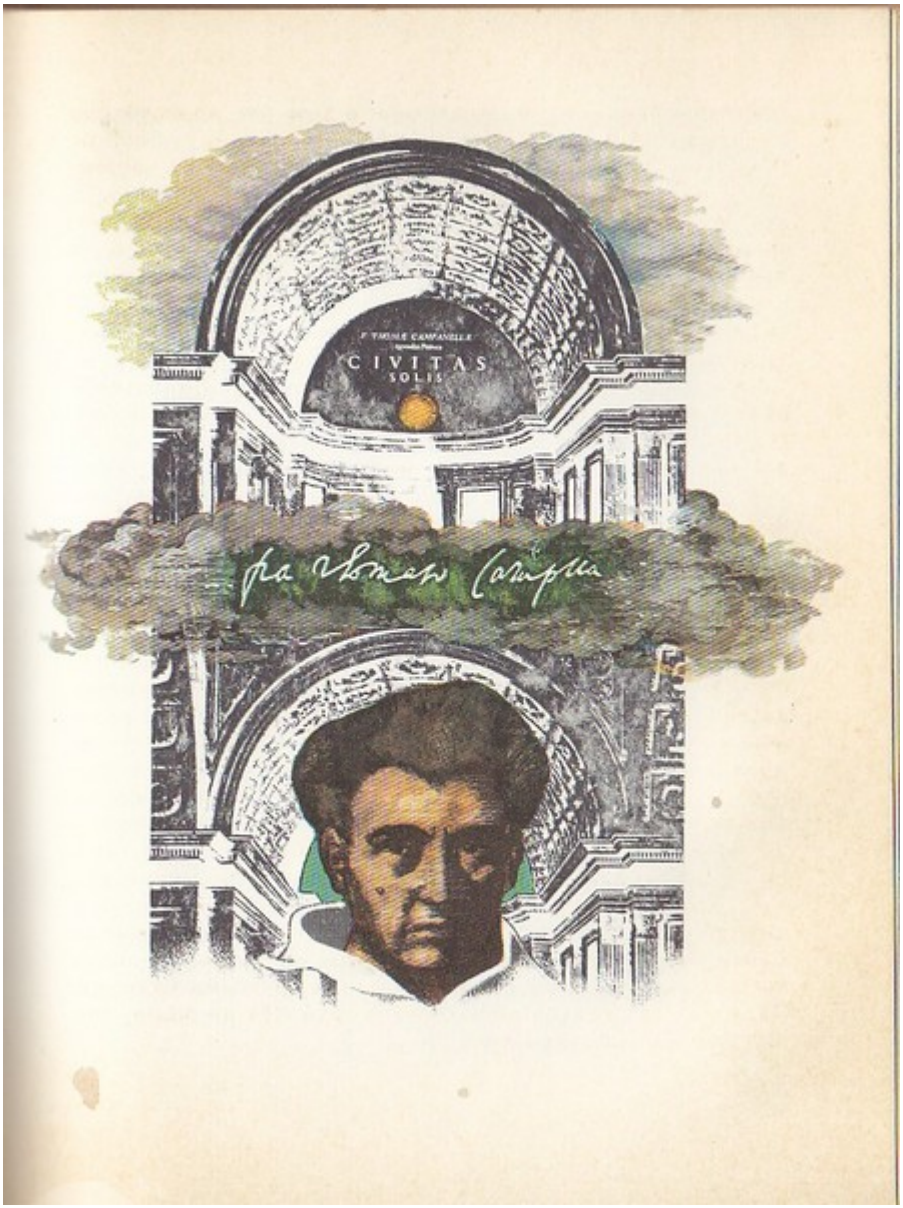
Замыслы одолевали его, и он при случае даже поделился ими с Кампанеллой: слава ученого сопутствовала этому узнику в Кастель Нуово. Великого усилия стоило Кампанелле не сказать этому человеку, медику, прислуживающему палачам, что он о нем думает. Но разговор с ним о том, что перенес Маврициий — медик не устоял и выболтал, — побудил Кампанеллу написать стихи. И если не останется в живых ни Маврициа, ни Кампанеллы, эти четырнадцать строк станут единственным — кроме судейского протокола — свидетельством о том, что происходило с понедельника по субботу в одну из недель года 1599 от Рождества Христова в одном из неаполитанских застенков. Кампанелла написал в сонете о муках, что длились шесть дней, шесть ночей подряд, о мужестве узника, посрамившего судей, о примере, который дал Маврициий всем друзьям. Кампанелла вместил всю любовь к другу в эти строки, все восхищение им, всю боль за него. Он спешил скорее написать сонет, скорее переправить его товарищам, сделать так, чтобы он дошел до Маврициа.

…Пройдут века. Историки литературы станут изучать стихи Кампанеллы, написанные им в Кастель Нуово. И придут к заключению, что стихи эти грешат неправильностью, их слог груб и шероховат, они не лишены общих мест. Читаешь стихи, читаешь эти разборы… Да, знатоки правы. И все-таки, и все-таки, и все-таки…

В воображении возникает камера в Кастель Нуово. Человек, заключенный в ней. Высокая мечта его погибла. Родные его и друзья его схвачены. Некоторые замучены или убиты. Других

терзают. Сам он живет под угрозой жестоких мук и более чем вероятной казни. Все, что осталось ему, — помнить, что он сильнейший, поддерживать друзей. Лучше всего это удается ему в стихах. Их легче запомнить, их легче передать. Да, стихи эти грешат неправильностью. Да, их слог неотделан, груб. Да, в них есть общие места. Но когда Кампанелла говорит: «жестокие судьи» — это не общее место. Его судьи действительно неумолимо жестоки. Когда Кампанелла говорит: «великое мужество» — это действительно великое мужество. В его стихах каждое слово значит именно то, что оно значит. Оно обеспечено всей его кровью, самой его жизнью. Само писание стихов таит для него смертельную опасность. Стихи в любой миг могут стать судебными уликами. Да, слог этих стихов шероховат и груб. Но не более, чем кладка стен Кастель Нуово…

Это несовершенные стихи. Это великие стихи. Той бесконечной искренностью, которую признают за ними самые строгие историки поэзии.


F. THOMAE CAMPANELLAE
CIVITAS
SOLIS
Fra Thomaso Campanella

Глава LVIII

Наступил декабрь. Близилось Рождество. До конца года оставались считанные недели. Церкви заранее украшались к рождественским праздникам. Сочинялись торжественные и назидательные рождественские проповеди. Поэты писали новогодние стихи. 1600 год приближается! Столь круглая дата вызывала в людях надежды и тревоги. Уже много веков подряд с завершением одного столетия и началом нового ждали одни — наступления счастливых времен, другие — их было гораздо больше — страшных бедствий. На дорогах появились процессии кающихся: мужчины, женщины, дети шли босиком, сбивая в кровь ноги, от одной церкви к другой, оглашали воздух горестными восклицаниями о своих прегрешениях, давали зароки и обеты, бичевали себя до крови. В лавках можно было купить игрушечные ясли с младенцем Христом и прочие рождественские украшения. Мясники загодя резали свиней, коптили окорока и колбасы. Виноторговцы разливали вино из бочек по флягам и бутылям. Модники обновляли зимнее платье — под Новый год в Неаполе дул холодный ветер. Кто мог, одевался потеплее. Бедняки зябли, пытаясь согреться стаканчиком виноградной водки или теплом уличных жаровень, на которых жарили каштаны. Словом, декабрь…

Калабрийские узники считали, что Маврициий, выдержавший то, что он выдержал, будет если и не обелен полностью, то во всяком случае избежит тяжкого наказания. И вдруг…

В середине декабря узникам Кастель Нуово было объявлено: заговорщик Маврициий де Ринальдис приговорен к четвертованию. Ему оказывается снисхождение: перед тем, как четвертовать, его повесят, четвертован будет лишь его труп, снятый с виселицы. Пусть благодарит за это милостивый суд. Вместе с ним будет казнен еще один заговорщик — Чезаре Пизано.

Эта весть мгновенно дошла до Кампанеллы. В ней все ужасно — и жестокость приговора Маврицию, и то, что суд не остановился перед казнью Пизано. Тот был духовным лицом и не подсуден, как считал Кампанелла до сих пор, судьям, которые вынесли приговор. Значит, в невидимой глубине процесса произошли изменения. К худшему.

Приговоренных к казни строго охраняли. У Кампанеллы не было возможности ни передать записку Маврицию, ни подбодрить его, ни утешить. Он не знал, увидит ли он когда-нибудь друга. Он его увидел.

Глава LIX

Время, когда жил Кампанелла, по праву гордилось далекими плаваниями, которые совершали мореходы, прекрасными сооружениями, которые строили зодчие, книгами, которые сочиняли писатели и издавали искусные печатники, картинами, которые писали прославленные художники, мудрыми законниками, пламенными ораторами, смелыми полководцами, очаровательными женщинами, изысканными нарядами, всяческими триумфами и неслыханными прежде свершениями. Время почитало себя просвещенным. Недаром оно зарождалось под приветственный возглас одного из тех, кто создал славу этой эпохи: «О век науки! Это счастье жить!» Однако среди любимых времяпрепровождений просвещенной эпохи были казни. У них были свои режиссеры, декораторы, церемониймейстеры, портные. Теми, кому надлежало этим ведать, заранее обсуждалось устройство мест для зрителей и их распределение. Сталкивались самолюбия, плелись интриги. Попасть на балкон, с которого хорошо виден эшафот, было делом престижа. Утверждался порядок выезда конного и пешего караула в парадной форме. Одеяние палачей и их помощников. Трубные и барабанные сигналы. Высота помоста и материал для его драпировки. Церемониал удаления трупов после того, как все будет закончено. Отпускались деньги.

Несколько площадей Неаполя претендовали на то, чтобы стать сценой этого спектакля. Власти, поразмыслив, решили остановиться на Кастель Нуово. Часть арестантов выгонят во двор, другие пусть глядят из окон камер. Им весьма полезно увидеть, чем заканчивается бессмысленное запирательство.

Между оглашением приговора и казнью было несколько дней. Все это время к Маврицию часто приходил тюремный медик. Было приказано подлечить узника, чтобы он смог дойти до эшафота на собственных ногах. Нелегкая задача!

Медика сменял священник. Его искренне ужасали не столько те муки, которые уже перенес Мавриций, не столько позорная казнь, его ожидавшая, сколько гибель души несчастного, повинного в том, что он восстал на земную власть, установленную от бога, и вечные мучения, ожидающие его на том свете. Он положил все силы на то, чтобы убедить Мавриция покаяться в грехах, получить отпущение, возложить надежду на безграничное милосердие господне, дарующее раскаявшемуся грешнику вечное спасение. Мавриций наконец увидел человека, который не грозил ему, не приказывал его мучить, говорил с ним

терпеливо, кротко, ласково. Услышал от него слова, привычные с детства, о блаженстве в ином мире. О бесконечной милости Господа бога нашего Иисуса Христа. О том, что Господь соединит покаявшегося на небесах с родными и близкими. Что Божья Матерь будет предстательствовать за него перед Богом и молить о его спасении. Священник говорил о вечных муках, ожидающих того, кто здесь, на земле, не получит отпущения грехов, о котлах кипящей смолы, об огненном пламени, в котором горят и не сгорают грешники. Мавриций с детства верил в загробные мучения. Но раньше он не мог представить себе этих мук. Теперь он знал, каковы они. Он испытал их здесь, на земле. Он выдержал их неделю, но мысль, что их придется терпеть вечно, непереносима. Картины ада, которые рисовал священник, слились с тем, что он только что перенес. От плохо заживавших ран его лихорадило. Освежительное питье, которое давал ему лекарь, не помогало. Мысли его мешались. Иногда ему казалось, что он уже умер, уже побывал в аду и теперь не испытывает такой страшной боли лишь потому, что спасен чьим-то милостивым предстательством. Священник представлялся ему ангелом-благовестителем. И вдруг ему казалось, что он снова возвращен. Куда? В застенок? В ад? Этого он уже не понимал. Застенок представлялся адом, ад — застенком. Его казнят, и с казнью его мучения не кончатся, и слуги сатаны в таких же кожаных передниках, как палачи Кастель Нуово, будут бесконечно терзать его, а главный среди них будет бесконечно твердить:

— Можно продолжать! Говори! Говори! Говори! Сознавайся!

Мавриций метался на тюфяке, порой тихо отвечал священнику, порой не мог промолвить ни слова, иногда говорил разумно, чаще бредил. Но когда бы он ни открыл глаза, рядом с ним был терпеливый священник, искренне веривший в то, что он говорит, желавший спасти душу Маврикия, поскольку спасти его самого невозможно.

Тюремный лекарь по долгу службы доложил начальству, что узник плох, но до дня казни доживет, за это он ручается, вряд ли только сам дойдет до эшафота.

Церемониал казни предусматривал торжественную процессию через весь город. Если просто вывести осужденных из камер в Кастель Нуово, провести через несколько дворов к эшафоту, дорога получится короткой и не так уж много зрителей увидят процессию. Посему, согласно обычаю, осужденных — главных действующих лиц предстоящего церемониала — накануне увозили в отдаленную тюрьму, чтобы на следующий день они прошли под стражей весь город. Так и было поступлено на этот раз. Только Маврикия пришлось везти.

В толпе зрителей, собравшихся вокруг эшафота, были знатоки. Они узнавали в лицо палачей, называли их имена, вспоминали, кого и когда те уже казнили. Счастливчики сообщали, что заручились у палача обещанием продать кусочек веревки. Многие сетовали, что главного преступника вначале повесят, а лишь потом четвертуют. Новомодные выдумки! Какой смысл четвертовать того, кто этого не почувствует? Большая часть толпы не знала, да и не хотела знать, за что казнят Маврикия де Ринальдиса и Чезаре Пизано. Без вины не повесят! Нас же не вешают… Были в толпе и такие, кто жалел осужденных, а некоторые даже знали, за что они осуждены. Хотели освободить родную землю от испанской саранчи. Благороднейший замысел! Прискорбно, что он не удался. Но вслух подобного не высказывали…

Однако того, что случилось, когда осужденных вели на эшафот, долгая история казней, происходивших в Неаполе, не упомнит. Толпа, караул, заключенные, с ужасом смотревшие на происходящее сквозь решетки камер, ничего не поняли. На шею Маврикия уже накинули петлю. Он что-то тихо проговорил. Что именно, стоявшие поодаль не слышали. Распоряжавшийся казнью переспросил его, а потом поспешно подошел к судьям. И вдруг вместо знака, которого ждал палач, ему приказали снять петлю с шеи Маврикия. Тот остался стоять на скамье под петлей. Его поддерживали, чтобы он не упал. Что это значит? Неожиданное помилование? Но где гонец, который принес его, как о том повествуется в трогательных рассказах? Божественное знамение, остановившее палача? Никто не видел гонца, никто не видел знамения…

Маврикия де Ринальдиса и Чезаре Пизано свели с эшафота. Казнь отменяется! На глазах недоумевающей и недовольной толпы их увели в тюрьму. Без трубных сигналов, без барабанного боя ушел караул. Зрители, постояв еще немного, посудачив, пожалев, что даром провели время, разошлись, так и не зная, что случилось. А священник, столько сил потративший на спасение души Маврикия, поспешил в церковь вознести благодарственную молитву. То, чего он так пылко желал, свершилось. Маврикий согласился покаяться.

Глава LX

Мавриций не хотел предавать друзей, он хотел спасти свою душу. Он вынес невообразимые муки на земле, но боялся умереть, не примирившись с церковью, не получив отпущения грехов, он боялся нести за то вечные муки. А разве не был он грешен, когда не говорил правды на допросах, скрывал свое участие в заговоре, умалчивал на исповеди о том, о чем должен был говорить?

Едва Мавриций, стоя на эшафоте, сказал, что хочет покаяться, судьи поняли: свершилось! Безнадежно завязший процесс придет в движение, упорствующим придется развязать языки. Если они будут по-прежнему молчать, их уличит признание Маврикия. Конечно, нужна решимость, чтобы отменить казнь, о которой столько дней говорил весь Неаполь, казнь, утвержденную вице-королем, казнь, о которой уже доложено в Мадрид. Но главный судья был человеком решительным. Он знал, чем рискует, если Мавриций, снятый с эшафота живым, вдруг передумает. Но тот, кто не рискует, тот не выигрывает. Он рискнул. Было тут же приказано — Маврикия де Ринальдиса, а заодно и Чезаре Пизано вернуть в камеры. К Маврикию снова послать лекаря — пусть заботится о нем пуще прежнего. И того священника, которому удалось словами божественных истин вызвать раскаяние в душе крамольника. Засим продолжить, нет не допросы Маврикия, а заслушивание его добровольного покаяния… Назовем это так.

Когда Кампанелла узнал, что Маврикия не казнили, он испытал великое облегчение — муки друга и его гибель ложились на душу свинцовой тяжестью. Но тут тюремная почта принесла известие — Маврикия не казнили потому, что он обещал рассказать все.

Кампанелле было неизвестно, какие речи выслушивал его друг в течение недели перед казнью, не знал, какой ужас перед вечными муками жил в его душе, путаясь с воспоминаниями о том, что он действительно перенес. Ему представилось, что Мавриций купил свою жизнь предательством. Горшего разочарования не испытывал он за всю свою жизнь! Он был горд, что у него есть такой друг. Мавриций, которому он доверял, как самому себе, Мавриций — воплощение чести, Мавриций — предатель! Скольких людей погубит он обещанием, данным на эшафоте! И ничего нельзя поделать. Нельзя заставить его молчать. Теперь его будут оберегать, как сокровище. Кампанелла вспомнил первые встречи с ним, когда Мавриций излучал бодрость, надежду, веру, казался воплощением бесстрашного рыцарства, прямым и надежным, как клинок собственной шпаги.

Мавриций — предатель! Ужасно дожить до такого часа.

Мавриций не хотел губить друзей. Он хотел покаяться лишь в собственных винах. О других пытался молчать. Ему говорили: неполное покаяние — не покаяние. Сказано в Писании — нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Сделав шаг на пути примирения с церковью, нельзя останавливаться на полпути. Признаваясь, он спасет не только свою душу, но и души других нераскаявшихся грешников. Его пример укажет им путь к спасению. Говорили люди, изощренные в богословских словопрениях. Умудренные. Опытные. Красноречивые. Обращали свои речи к человеку молодому. Прошедшему через долгое заключение. Через бесконечно долгую пытку. Он уже прошел однажды путь к эшафоту. Всходил на его ступени. Ощутил на своей шее петлю. К человеку верующему. В ушах которого много дней кряду звучал голос увещевавшего его священника. И Мавриций стал отвечать, теряя представление о том, где граница, которую он вначале не хотел переступать. Да, заговор был. Да, в нем принимали участие фуорушити. Да, заговорщики вели переговоры с турками. Нет, об обещании папы содействовать заговорщикам он не знает ничего определенного, но, кажется, такое было. Да, заговор направлен против Испании. Да, многие города обещали поддержку. Да, в некоторые он ездил сам, чтобы найти там сторонников. Да, он вел переговоры с турками. Нет, он ничего не скрывает больше. Он хочет, чтобы его совесть была чиста перед богом. С ним беседовали много часов подряд. Протокола не вели. Точнее, он не видел протоколистов. Протоколистов-нотариев посадили за занавесом, чтобы беседы с Маврицием не слишком походили на допрос. А потом, когда он уже многое сказал, все стало выглядеть, как всегда. Его уже не уговаривали. От него требовали имен, адресов, чисел. Протоколисты записывали ответы. Отступления не было.

Прочие подследственные немедленно почувствовали — в процессе произошла роковая перемена. Напрасно старались они вести себя так, как их учил Кампанелла, напрасно твердили, что оклеветаны, что заговора не было. Им в ответ читали выдержки из ответов Маврикия. Многие поколебались.

Воздвигнутая Кампанеллой твердыня защиты рушилась. А о нем словно забыли. Его все не вызывали и не вызывали на допрос. Чувства бессилия и тоски терзали душу. Он ничего не мог сделать, чтобы заставить Маврикия замолчать. Ничего. В эти дни Кампанелла написал еще одно стихотворение. Об отступнике и предателе. Он назвал его «Мадригалом»! «Мадригал» был обращен к тому, чье мужество он еще недавно славил, — к Маврицию. В неистовых словах он называл его презренным

погубителем друзей, сравнивал с предателями, о которых пишется в книгах древних, предрекал ему позорнейшую смерть и вечные муки. От них не откупишься покаянием. Стихи клокотали яростью. Они призывали позор на голову Маврикия, но ничего изменить не могли — и Кампанелла знал это. Их даже не удается передать Маврицию! А если бы и удалось? Но если бы он не написал этого мадригала, гнев разорвал бы его сердце. Как знать, может быть, эти страшные строки остановят кого-нибудь из заговорщиков, кто колеблется, не пойти ли по пути Маврикия?

Разговоры о несостоявшейся казни в Неаполе скоро затихли. Город праздновал Рождество и не вспоминал о тех, кто томится в Кастель Нуово. Мало ли тюрем, мало ли арестантов в них? Обо всех думать — голова развалится.

После Рождества процесс пошел стремительно. Тому были две причины: показания Маврикия и наконец достигнутое соглашение между папой и вице-королем. Климент VIII соизволил согласиться на то, чтобы трибунал в Неаполе занимался делами духовных лиц, замешанных в заговоре. В его сложных отношениях с испанской короной нужны взаимные уступки. Было дано понять, что любые утверждения бунтовщиков о будто бы обещанной им поддержке Ватикана следует, с одной стороны, отметать как ложь, с другой — рассматривать как преступную клевету на папский престол. В состав суда были введены представители папы — апостолические комиссарии. Они должны были возглавить следствие против заговорщиков из духовенства и вынести окончательный приговор по их делу. А приговор был предрешен. Апостолические комиссарии получили от папы негласное предписание, чтобы все духовные лица, покушавшиеся на власть испанского монарха над итальянскими землями, независимо от того, признаются ли они в злом умысле или будут изобличены показаниями других, были переданы в руки светских властей. Церковь от них отступится, умоет руки…

Папский нунций, назначенный апостолическим комиссарием, Якопо Альдобрандини гордился своей принадлежностью к Святой Службе. Разве не был создателем инквизиции основатель ордена, к которому он принадлежал, — святой Доминик? Впрочем, существуют авторитеты, полагающие, что первым инквизитором был Господь бог. Он судил Адама и Еву за их грех, судил втайне, почему отныне все инквизиционные процессы также ведутся тайно.

Так в Неаполе составился необычный трибунал: из светских судей, которые вели процесс с самого начала, и из представителей церкви, включенных в него позднее. Поговаривали, что Альдобрандини представлял интересы

Ватикана, а Пьетро де Вера, хоть и утвержденный тоже его святейшеством, был тайным ставленником вице-короля. С того момента, как в процесс были официально включены дела заговорщиков из духовенства, он сразу стал процессом не только об измене, но и о ереси, трибунал — наполовину светским судом, наполовину судом инквизиционным. Юристы следили за ходом процесса с великим интересом: здесь все, от подсудности до возможного приговора, давало повод для разномыслия. Что для одних — страдание, кровь, горе, для других — служба, путь к чинам и наградам, для третьих — материал для изучения…

Судьи необычного трибунала не расходились в представлениях о своих правах, основанных на особенностях самого совершенного в их глазах процесса — процесса инквизиционного. В таком процессе обвинитель выступал одновременно и судьей. И следователем. Кто посмеет поставить под сомнение мудрость такого порядка?

Инквизитор — лицо духовное, потому беспристрастное. А коль это так, его нельзя стеснять никакими правилами. Допрашивая и вынося приговор, он заботится единственно об установлении истины и о спасении души грешника. Он борется не против него, а за него, за его вечное благо! Поскольку инквизитор ведет суд в интересах веры, он может не предоставлять обвиняемому слова в собственную защиту, не давать ему права на апелляцию и отсрочку. Члены трибунала смотрели на обвиняемых как на виновных. На подобном предположении строились любой инквизиционный и подражающие ему светские процессы. Пока речь шла лишь о заговоре, возможны различия в отношении разных лиц. С той минуты, как высказано обвинение в ереси, все ясно. Апостолические комиссарии помнили и ценили мудрое суждение одного из инквизиторов прошлого. Он сказал, что обвиненного в ереси никоим образом нельзя выпускать на свободу. Если кто-либо сознается, что он еретик, но не раскается, его надо препоручить светской власти, чтобы та предала его смерти. Если он будет упорствовать, отрицая свою вину, его следует изобличить свидетельскими показаниями, а затем передать светской власти для казни. Если же он не станет упорствовать и раскается в своей ереси, его надо подвергнуть пожизненному тюремному заключению за вину, которую он сам признал.

Авторитеты Святой Службы выработали наставления, которые подробно указывали тем, кто впервые вступил на славную и многотрудную должность инквизиционного судьи, как вести следствие. Наставления до мелочей предусматривали словесные ухищрения, какими легко сбить с толку обвиняемого.

Они советовали, сообразуясь с особенностями человеческой природы, поочередно запугивать и обнадеживать и, если это нужно для блага святого дела, обманывать обвиняемого. Следователю рекомендовалось считать то, что предстояло доказать, доказанным. Не спрашивать, например, обвиняемого, еретик ли он, он может ответить: «Нет!», а сразу ошеломить его вопросом, сколько раз он высказывал свои еретические взгляды. Не спрашивать, знаком ли он с еретиками, а задавать вопрос: где и когда он встречался с еретиками. В качестве полезного приема советовалось во время допроса перелистывать дело, даже если в нем нет записей, касающихся допрашиваемого, а затем резко и неожиданно сказать, что он лжет: то, как все обстояло в действительности, здесь записано черным по белому. Тяжек труд инквизиторов, и не обойтись в нем без указаний мудрых предшественников. А они советуют во время допроса иной раз просто взять в руки чистый лист бумаги и делать вид, что читаешь по нему все, что, как дословно писалось в одном из таких наставлений, «может ввести обвиняемого в обман», будто о его вине уже все известно.

Авторитеты весьма рекомендовали пользоваться тюремными надзирателями. В интересах следствия им позволялось оказывать заключенным небольшие услуги. Когда заключенный проникнется доверием к стражу, тот должен убедить его скорее сознаться и тем завоевать снисхождение судей, известных своей справедливостью. Надзиратель может пообещать узнику, что передаст на волю записку и принесет ответ с воли. Такие записки, доставленные в трибунал, приносят великую пользу. Уличенный в запретных сношениях с близкими, понимая, какую опасность он навлек на них, узник становится податливее, готов на все, чтобы спасти близких. Наставления опытных инквизиторов предусматривали, как быть с заключенными, слишком осторожными. К таким в камеру рекомендовалось подсаживать наушников. Лучше всего для этой цели подходят недавно обращенные еретики, которые помнят, что они перенесли на допросах с пристрастием, и при покаянии обязались впредь помогать Святой Службе. Наставления подробно описывали, как должен действовать такой человек. Оказавшись в камере, новый сосед должен, но никоим образом не сразу, сказать, что отрекся притворно, обманув судей, затем проявить участие к узнику, расспрашивая, в чем его обвиняют, и давая советы. Если ему удалось втянуть обвиняемого в доверительный разговор, каждое слово такой беседы становилось известно судьям. Они посылали нотариев, которые записывали разговор, сидя за дверью камеры или в соседней, у скрытых слуховых отверстий. Наставления

исходили из того, что, умеючи, к каждому человеку можно подобрать ключ. Одному надо внезапно разрешить свидание с женой и детьми, чтобы те умолили его сознаться. Другого стоит временно перевести из тесной камеры в просторную и светлую, позволить ему вымыться, переменить платье, накормить досыта. Потрясенный этими благами, он, может быть, перестанет упорствовать. Прекрасно действуют проволочки. Если обвиняемый не признавался, если от него хотели получить более полное признание чем то, которое он уже дал, его надолго отправляли поразмыслить в одиночку. Предпочтительно совершенно темную, где он терял счет часам, дням, иногда неделям. Действенное средство. Если и его недостаточно, очередь за палачами.

Судьи хорошо знали все подобные способы. Но они успели узнать и Кампанеллу. К нему ни один из этих ключей не подойдет. Несколько допросов, которым он был подвергнут трибуналом в новом составе, ничего не дали. Он стоял на своем: заговор — вымысел, обвинения против него — клевета, если на следствии в Калабрии он что-то и сказал, что противоречит этим его словам, его к таким показаниям бесчестно вынудили. И он от всего отрекается. Назначили очную ставку с Маврицием.

Когда Кампанелла очутился лицом к лицу с тем, кому так верил, кого так любил, так воспел, а потом так проклял, он почувствовал боль в сердце. Не ту, о которой пишут поэты, а самую настоящую. Острую боль, которая не дает сделать вздоха, разливается по груди, отдает в руку. Мавриций был бледен — не оправился от истязаний и от того, что перенес в день отложенной казни. Он был бледен и странно спокоен. В нем ощущалась окаменелость человека переступившего черту.

Он уже знал «Мадригал» Кампанеллы, клеймивший его. Ему прокричали его в окно камеры. «Мадригал» подействовал на него, как пощечина. Кровь гордого рыцаря бросилась Маврицию в голову. За оскорбление в стократ меньшее он раньше заставил бы обидчика заплатить жизнью! Потом это чувство отхлынуло. И гордость, и обида, и месть — все это принадлежало жизни, которой он уже не принадлежал. А то, что он сделал, признаваясь в совершенном, сделано не ради этой проигранной, конченой, изжитой жизни, а ради жизни вечной. Что по сравнению с ней земные обиды! Мудрец, монах, некогда давший божественные обеты, Кампанелла должен понять его: нет ничего выше и важнее спасения души. И Мавриций смотрел на Кампанеллу прямо, не отводя глаз в сторону. Никто не может потребовать от него, чтобы он губил свою душу!

Взгляд этот потряс Кампанеллу. Он видел перед собой

человека, которого, как ему казалось, хорошо знал, — смельчака, наездника, легко справлявшегося с норовистым конем, меткого стрелка, отважного фехтовальщика, красавца, весельчака, сорвиголову, опытного воина, хитроумного дипломата, человека, созданного для подвигов, борьбы и любви. И вот он стоит перед ним. Маврикий постарел, все они постарели в заключении. В его волосах пробивается седина — многие из них совсем поседели. Маврикий прихрамывает и плохо владеет руками — еще бы, после таких истязаний. Все это неудивительно. Каждый из них переменился не меньше. Но в глазах Маврикия, прежде смелых, ясных, веселых, горит тусклый фанатичный огонь. Кампанелла — монах, исповедник, философ — знает, как выглядит это опасное пламя и что оно значит. Вот человек, природу которого сумели извратить. Теперь он помнит лишь одно — надо спасти свою бессмертную душу. Не думает, что губит других людей, губит их здесь, сейчас, на земле, ввергая в тот ад, который прошел сам, посылает их на эшафот, с которого свели его. Какими же ловкими софизмами действовали те, кто убедил его, что беды и боль этих других людей здесь, на земле, ничто по сравнению с гибелью его бессмертной души, по сравнению с вечными муками в аду? Сказать ему: да есть ли они, эти вечные муки? Никто не пришел оттуда, чтобы подтвердить это. Неужто ты мог поверить, что милосердный бог создал сам или позволил дьяволу построить ад, снабдить его котлами с кипящей смолой, раскаленными сковородами, серным пламенем, что у бога такая палаческая фантазия? Ничего такого сказать при судьях нельзя, чтобы не навлечь на себя нового обвинения в еще одной опасной ереси — неверии в адские муки. Приходится, стиснув зубы, стараясь, чтобы на лице ничего не отражалось, выслушивать то, что говорит Маврикий. А он говорит правду. Обо всем, в чем принимал участие, готовя заговор, и о чем знал все.

Маврикий говорит правду. Но у Кампанеллы нет сомнений в том, как отвечать на эту правду. Он должен твердо сказать, она — ложь. Когда власть становится тиранической, она освобождает народ от обязанности повиноваться ей, бунт перестает быть бунтом, заговор — заговором. Он не станет приводить судьям слова, сказанные на сей счет Фомой Аквинатом. Но и без его авторитета он для себя давно решил — и как философ, и как руководитель заговора: неправедным судьям, прислужникам чужеземцев, насильников и лихоимцев, он не обязан отвечать правду. У него есть высший долг. Перед калабрийцами. И перед теми, кто схвачен, и перед теми, кто на свободе. Перед людьми, поверившими его призывам. У него есть долг перед республикой — великой, мудрой, свободной, справедливой. Во имя тех, кто

пошел за ним, чтобы освободить родную землю, чтобы начать от подножия горы Стило поход, цель которого — эта республика, он в сотый раз скажет: «Нет!»

Спокойно посмотрев на Маврикия, Кампанелла громко, отчетливо, ясно сказал:

— Нет! Ничего этого не было!

Очная ставка ничего не дала судьям.

Глава LXI

Когда председатель трибунала доложил вице-королю о результатах очной ставки, ему пришлось выслушать немало язвительных упреков. Не суметь заставить сознаться преступника, против которого есть неопровержимые показания! Уж не хочет ли почтенный судья, чтобы с ближайшей почтой из Мадрида прибыл не только новый, который уже по счету, запрос о ходе процесса, но и приказ о назначении других судей? Он не потерпит, чтобы правосудие в вице-королевстве превращалось в посмешище! Прикажете самому заняться вашими делами?

Очную ставку решили не повторять. После встречи с Кампанеллой Маврициий выглядел потрясенным. Откажется, чего доброго, от своих показаний.

Откуда у проклятого бунтовщика такая сила в обращении с людьми? Из Кастель Нуово поступают донесения, что Кампанелла ухитряется связываться с волей. Пришлось несколько раз менять надзирателей. Он умеет уговорить, упросить, убедить этих служак, и они начинают выполнять его поручения. А о скольких случаях комендант не докладывал, чтобы не навлечь на себя упреков в нерадивости, одному богу известно! А еще в городе ходят сонеты, написанные Кампанеллой. Только этого не хватало…

Кампанелле решили доказать, сколь напрасно его упорство. Последовали одна за другой очные ставки с теми, кто не устоял, не выдержал пытки или страха, сломался, когда на плацу Кастель Нуово воздвигали эшафот для Маврициия. Смотреть на сдавшихся и слушать их показания нестерпимо. Некоторых Кампанелла знал по прежним дням. Некоторые были ему незнакомы. Но все согласившиеся давать показания казались ему на одно лицо. Они спешили с ответом, не дожидаясь, покуда вопрос будет задан. В их голосах слышалась беспокойная неуверенность — они старались угадать, чего от них ждут. Некоторые ответы звучали заученно, гладко. Они говорят не то, что сами видели и слышали, а то, что их вынудили однажды сказать, и теперь больше всего боятся сбиться. Сломленные люди! Даже если они выпросят, вымолят, выслужат себе прощение, они до самой смерти будут всего страшиться. Праведной мести других заговорщиков. Новой немилости Святой Службы, которая, даже если и освободит, не спустит с них глаз, будет требовать новых услуг, а не угодят — снова схватит за действительные или мнимые грехи. Кампанелла понимал — они заслуживают презрения и гнева. Со спокойной совестью называл он их показания ложью, а их клеветниками. И

все-таки ему жаль этих людей, у которых не осталось той единственной отрады, которая остается у человека в положении безвыходном: погибая сам, он никого не предал. И все-таки они были разными. У одних сильнее всего чувствуется страх, у других — некое спокойствие, даже важность. Эти и одеты получше прочих узников, и вид у них не такой изможденный. Все ясно: их взяли на крючок не одним только страхом, но и подачками. Тридцать сребреников иногда обретают вид ломтя хлеба, миски каши, стакана вина, мягкой подстилки, целого одеяла. Мерзко!.. Эти оправившиеся, подкормившиеся, подлеченные, возможно, уже заслужили право называться «родственниками» инквизиции.

Кампанелла решил ничего не менять в своих показаниях. Возвращаясь в камеру, он думал не столько о том, с каким свидетелем обвинения сведут его завтра, сколько о том, как сделать, чтобы в той прекрасной и справедливой республике, ради которой начато все это, с людьми не могло происходить ничего подобного. Будущее государство, о котором мечтает узник Томмазо Кампанелла, станет великой семьей. Все сверстники в нем будут называть друг друга братьями, а тех, кто старше их на двадцать два года, — отцами, тех же, кто на двадцать два года моложе, — сыновьями, как в огромной дружной семье. И не только называть, чувствовать себя родными. Господь с тобой, Кампанелла, о чем ты думаешь в тюрьме! Да не все ли равно, как станут обращаться друг к другу люди в будущем государстве, которого нет нигде, кроме твоего воображения? Нет, мысленно отвечал он рассудительно-язвительному голосу, прозвучавшему в его душе, нет! Это важно. Он должен представить себе каждый камень, каждую опору, каждую скрепу будущего, а дружество и братство — важнейшие среди них.

Когда он проповедовал на склоне горы Стило — как давно это было, словно в другой жизни! — ему хотелось, чтобы все участники заговора ощутили себя братьями, членами единой семьи, чтобы ничто не могло поколебать их преданность и верность. Увы, он этого не добился, не успел. Не успел! Когда он начнет все сначала… Не вернее ли будет сказать не «когда он начнет», а «если он начнет»?

Бессмысленно думать об этом. Но если гнать такие мысли от себя, черная тоска охватит душу. Он не может дышать, если у него нет цели. Пока он жив, он будет думать о справедливом и разумном устройстве жизни. Он спросил себя: «Итак, на чем же мы остановились?» Спросил, будто мыслью о суровой действительности прерван не поток его мыслей, а лекция с университетской кафедры. Увы! Нет в Италии такого университета, где ему позволили бы читать лекции.

А может быть, когда-нибудь, как знать… Надо представить себе, в чем проявится великое дружество людей будущего государства. Прежде всего в помощи, оказываемой друг другу на войне, если их свободная родина подвергнется нападению. Дружество укрепит их ряды. Если один из них заболеет или окажется в беде, ему помогут все. Они станут соревноваться в науках, помогая друг другу, взаимно и щедро делясь знаниями. Дружество будет в приветливых словах, которыми каждый с радостью одарит другого. Они станут охотно одалживать друг другу необходимое, а пуще всего — обоюдно помогать в исполнении обязанностей, которые налагает на каждого жизнь. Как назвать их, людей, о которых он мечтает? «Соляриями» — «солнечными людьми» — жителями Города Солнца. Среди соляриев не будет ни разбоя, ни коварных убийств, ни насилий. Они станут осуждать и преследовать неблагодарность, злобу и гнев, небрежение и неуважение друг к другу, надменность, лень и пуще всего — клевету. Ложь будет для них ненавистнее чумы. Вот что мечтал он создать, когда поднимал в Калабрии людей на восстание…

Как непохожа его мечта на окружающую жизнь с ее завистью, своекорыстием, наушничеством, предательством! Чем так испорчен род человеческий? В чем корень зла? Чтобы выкорчевать его, надо разгадать эту печальную тайну, а потом объяснить другим. Когда… Нет, не когда, а если…

Кампанелла ищет ответа. И ему начинает казаться — нашел. Неравенство! Вот причина всех зол. Во всем мире существует великая несправедливость: одни очень бедны, другие чрезвычайно богаты. Так было всегда. Лишь равенством устранится хищничество, надменная гордость, изнеженность, ненависть. О том, что мир разделен на бедных и богатых, писали еще древние мудрецы. Но о том же пелось в калабрийских песнях. Когда появляется на свет богач, говорится в них, у него уже есть богатые родители. Бедняк, родившись, вступает на дорогу бед и лишений. Богача зовут к богатому столу, бедняк никогда не ест досыта. Если богач наделает долгов, ему дают отсрочку. А бедняка заставляют отдать последнее добро или бросают в тюрьму. Когда умирает богатый, ему ставят золотой крест, а бедному — крест деревянный.

Что вызывало восстания в Древнем Риме, а в недавние годы — восстания крестьян в Германии? Неравенство! Худшее из зол. Оно порождает все беды и пороки.

Кампанелла много раз повторяет про себя ход своих мыслей, чтобы все запомнить, а потом, когда представится возможность, записать. Записывая, нужно привести всем понятные примеры,

рассказать о том, что каждый видит вокруг себя, не задумываясь над злом, а покорно примиряясь с ним. Почему один человек имеет сто тысяч скуди ренты, а тысяча человек не имеет и трех скуди на каждого? Тот, кто имеет сотню тысяч, тратит их на собак, лошадей, шутов, раззолоченную сбрую, продажных женщин. Если бедняк судится с богатым, он не дождется справедливости: его непременно отправят в изгнание или засадят в тюрьму. Богатый же угнетает любого, кого только вздумает. Почему? Судья зависит от богача. Назначен по знакомству с богачом или за большую мзду.

Бароны являются в Неаполь ко двору, расточают там все, что имеют, а вернувшись домой с пустыми руками, начинают сызнова грабить всяческими способами тех, кто беден и подвластен им. Здесь уже нужно спрашивать не «почему?», а «доколе?».

Корень всех зол — неравенство. Но как устранить его? Вот мысль, к которой постоянно возвращается Кампанелла. Долгими днями и бессонными ночами. Он еще не нашел ответа. Ответ возникает перед его умственным взором, как блуждающий огонек во тьме. Возникает и манит, чтобы снова исчезнуть во мгле.

Глава LXII

На очные ставки с теми, кто сломался и начал давать показания, вызывали и Дионисия. Тот, верный клятве, которую они дали друг другу, упорно все отрицал. Дионисий в жалких тюремных отрепьях еще больше сходствовал с апостолом древних времен. Говорил медленно, спокойно, уверенно. Только огромные руки комкали край одежды. Кампанелла догадывался, что Дионисий ни в чем не признается. Вместе их на допрос не вызывали ни разу. Зачем судьям очная ставка двух заговорщиков, которые все отрицают? Крамольники только укрепятся в упорстве, вдохновляя друг друга своим примером.

Однако тут произошли важные события. Доменико Петроло, который в Калабрии первым сознался, что принимал участие в заговоре и рассказал все, что знал, теперь понял, какую беду навлек на друзей, терзался муками раскаяния, рыдал, говорил, что наложит на себя руки. Дионисий убедил его, что если он хочет исправить содеянное им зло, то не самоубийством, а отказом от прежних показаний. Кампанелла, ни единым словом не укоряя его за прежнее, обращался к нему в стихах как к другу, говорил, что верит его мужеству. И слабый сломленный человек вдруг объявил трибуналу, что все сказанное им в Калабрии — ложь. Его показания вырваны у него обманом, посулами, угрозами. Узники, видевшие его в тот день, когда он отрекся от прежних показаний, едва узнали Петроло: скорбная складка, прорезавшая его лоб, исчезла, он улыбался! Кампанелла передал, чтобы никто не вздумал попрекнуть Петроло прошлым: все забыто, все прощено, он снова вошел в их чистое братство.

Однако судьи услышали в голосе Петроло, когда он отказывался от показаний, чуть заметную трещину. Он говорил громко и напористо, словно сам себя подхлестывал. Не было в его голосе непоколебимого спокойствия, которое приводило судей в исступление, когда они допрашивали Кампанеллу и Дионисия. Они знали — тот, кто так отрицает их обвинения, часто пытается заглушить свой собственный страх. Пытать? Успеется. Пока что Петроло отправили в карцер.

Карцер находился под землей. Здесь было нестерпимо холодно. Каменный пол заливала ледяная вода, в которой плавали нечистоты. По стенам ползали мокрицы. Петроло оставили в исподнем, приковали к стене короткой цепью, так что он мог сделать только несколько шагов, и заперли. Спать можно было только на осклизлых ступенях, опершись головой о стену. В карцере темно. Ему казалось, если он сделает шаг, он куда-то

провалится, повиснув на цепях. Петроло боялся двигаться и не мог оставаться неподвижным — все тело затекало. Скоро он потерял ощущение времени. Пробовал молиться. Помогут ли молитвы? Там, наверху, на тюремном дворе, светило солнце, там его встречали изумленные взгляды тех, кто сдался, дружеские улыбки тех, кто твердо стоит на своем. Там легко чувствовать себя гордым и честным. Но как заставить себя испытывать это чувство, когда ты унизительно полунаг, прикован цепью к стене, окружен вонючей тьмой, когда твои босые ноги стоят в холодной жиже, когда до тебя не доносится ни одного звука, кроме собственного загнанного дыхания и тяжелого звона цепей. Тюремщик, который оборудовал в Кастель Нуово этот карцер, человек изобретательный и забавник, назвал его «ямой для крокодилов». Название он объяснял так: «Тут даже крокодил либо заговорит, либо сдохнет!»

Судьи подобрали ключ к Петроло. Бесценная вещь опыт! Петроло мог быть смелым, когда рядом друзья. Он не умел оставаться смелым наедине с самим собой. У его мужества было короткое дыхание. Когда не с кем было поделиться своими страхами, не от кого получить поддержку, он сдавался. Темнота и одиночество ввергли его в ужас.

Спустя некоторое время Кампанелла и Дионисий узнали — Петроло отрекся от своего отречения и подтверждает прежние показания. Если бы только это! Петроло не просто вернулся к тому, в чем недавно горько каялся, но обвинил Дионисия и Кампанеллу, что они заставили его отказаться от показаний, данных прежде, они предписали ему, как вводить трибунал в заблуждение. Дионисий недоумевал и негодовал. Своими руками убил бы труса и негодяя! Кампанелла не удивлялся. Он знал — тот, кто делает одну уступку судьям, превращается в каплю воды на крутой крыше — не может удержаться, катится по наклону дальше и дальше, пока не разобьется в последнем падении.

Глава LXIII

Вслед за Маврицием де Ринальдисом и Петроло стал давать показания Чезаре Пизано. Его должны были казнить вместе с Маврицием и вместе с ним увели живым с эшафота. Переживший предсмертный ужас, он теперь покорно отвечал на все вопросы судей. Вся тактика защиты, которой придерживался Кампанелла и которую он советовал друзьям, рушилась. Кампанелла отчаянно старался вдохнуть мужество в тех немногих, кто еще не сдался. Он написал стихи о муках, выпавших на их долю, как о великом благе. Муки эти, утверждал он, превращают их в пророков и подтверждают святость их дела. Тот, кто хочет улучшить жизнь человеческую, должен быть готов погибнуть, его гибель — цена за освобождение человечества. Ради счастья рода людского стоит заплатить такую цену! Надо внушить им, да и себе самому, презрение к телесным страданиям. Пусть исчезнут наши тела, пишет Кампанелла, зато наши души сольются и станут подножием нового креста. Так будьте же благословенны, виселица, костер, крюки и пилы палачей!

Но утешатся ли его друзья тем, что их мучительная гибель — залог освобождения мира? Ведь и его самого терзают сомнения. Он не прошел и половины земного пути, отмеренного ему, если верить древним и Данте. Ему еще нет тридцати пяти. Он пишет еще одно стихотворение, и в нем прорывается тревожный вопрос, который уже не раз задавали до него и будут задавать себе мятежники, восставшие против несправедливого строя: может ли утешить человека посмертная слава, торжество его дела в будущем, или ей стоит предпочесть мирное счастье в земной жизни?

Среди этих раздумий за Кампанеллой пришли стражники. Обычно на прежние допросы его вели. И стражники нередко по дороге переговаривались с ним. Он научился отличать вопросы, таящие в себе крючок, от безобидной болтовни людей, которых занимает человек, непохожий на других узников. На вопросы-крючки он отмалчивался или даже отшучивался, на другие отвечал. Добрые отношения с некоторыми из стражников для него бесценны. Но на сей раз стражники не вели его, а тащили, грубо заломив руки за спину, шагали молча, мрачно, заставляя его почти бежать. Кампанелла спросил:

— Куда вы меня ведете?

Ему не ответили.

Мелькали лица заключенных, которые гуляли во дворе, надзирателей, карауливших их, прочего люда, которого хватало в

Кастель Нуово. Он ловил на себе взгляды испуганные, любопытствующие, встревоженные. Решился крикнуть, в надежде, что его слова передадут Дионисию:

— Меня уводят!

Но куда? Этого он не знал. И все-таки крикнул. Один из стражников резко заткнул ему рот грязной потной ладонью.

Кампанелла пришел в себя от холода. Тело ныло. То ли его избили, то ли он упал. Где он? Смутно он вспомнил крутую лестницу, наверху которой его остановили. Видно, его с нее столкнули. Вокруг черная темнота, сырость, пронизывающий холод. Вонючая жижа покрывала каменный пол, доходя до щиколоток. Он бос и полураздет. Ноги закованы в кандалы. От них цепь к стене. Они позволяют сделать лишь несколько шагов.

«Яма для крокодилов»! Вот где он. Там, где сломался Петроло. Сколько времени? Что происходило до этого? Кампанелла не мог вспомнить. Может быть, сюда донесется колокольный звон, по которому можно определить время? Нет, колоколов не слышно. Ничего не слышно, кроме капель, размеренно падающих с потолка. Сказали ли ему — надолго ли он брошен сюда? Скорее всего, не сказали. Это не в обычаях тех, кто придумал «яму для крокодилов», чтобы укрощать в ней людей. Они могут продержать его здесь несколько часов. Сутки. Неделю. А могут вообще забыть здесь. Нужно быть готовым ко всему. Нужно быть готовым к худшему. В Неаполе, да и во всей Италии много подземных темниц. Пребывание в них называется — «в мире». Злобная насмешка, подлое лицемерие!

Непроглядная тьма. Холод. Сырость. Боль во всем теле. Зловоние. Не на что лечь. Не на что сесть. Кандалы натирают ноги. Невидимый потолок сейчас обрушится на голову. Голод. Тьма. Холод. Они все сильнее и сильнее. Сырость въедается в кожу. Тело бьет озноб. Голова кружится. Сердце сжимает острая боль. Заполняет грудь. Мешает сделать вздох. Отдает в руку. Мысли путаются. Нечем дышать. Увидеть бы хоть что-нибудь. Согреться бы хоть чуть-чуть. Прилечь бы. Хотя бы присесть. Передохнуть. Разве можно так мучить человека? Разве можно?..

Постепенно сквозь ужас, который, как знали судьи, внушает людям непроницаемая тьма, сквозь холод, боль, голод стали пробиваться другие мысли. Привычные для Кампанеллы. Последнее время занимавшие его все больше и больше.

Невероятным напряжением воли он заставил себя вспомнить изречение: Audentes fortuna juvat! — «Смелым судьба помогает!» Он повторял его, как заклинание. Смелым судьба помогает! Смелым судьба помогает! Человек сильнее обстоятельств, даже самых страшных. Да, оказаться полуголым, брошенным в грязную

жижу, быть прикованным к стене, не знать, когда принесут питье и еду и принесут ли вообще, — страшное унижение. Но и в кромешной тьме, и на цепи можно остаться самим собой, все превозмочь силой духа, как превозмог свои муки Прометей, прикованный к скале, терзаемый орлом. Превозмог, зная, что страдает во имя людей, превозмог, потому что любил людей и презирал своих мучителей, покорных тирании олимпийцев.

Молодым попав в тюремную камеру, впервые, ощущая тоску и страх, Кампанелла повторял слова псалмов, преисполненные веры в божественное заступничество. Теперь ему больше псалмов помогали собственные стихи. Когда он выйдет отсюда, если он выйдет отсюда, он напишет стихи о Прометее. Он докажет… Кому? Кому он должен что-то доказать? Кому? Себе! Им давно задумано философское сочинение о способности человека вопреки страданиям не отрекаться от себя. Воля человека свободна. Он сам — в труднейших условиях — определяет свою судьбу. Судьи предоставили ему возможность проверить этот тезис на себе.

Минуты просветленной мысли, — а может быть, то были часы, — сменялись минутами, — а может быть, часами, — когда он не ощущал ничего, кроме холода, голода, боли, страха от давящей темноты. Так должен чувствовать себя заживо погребенный, очнувшись в могиле. Несколько раз он терял сознание и приходил в себя, лежа в грязной жиже, покрывающей пол. Наверху светит солнце, зимнее, но все-таки солнце. Там можно набрать полную грудь воздуха. В камере сухой тюфяк, одеяло. Там есть книги. Молитвенник, который ему разрешили держать при себе. Там люди, с которыми можно говорить. Там слышен бой колоколов, там известно, сколько прошло времени. Что отделяет его от всего этого? Железная цепь. Ее немедленно снимут. Каменные ступени. По ним тут же разрешат подняться. Тяжелая дверь. Ее поспешно отворят. Если он, когда здесь появится надзиратель, произнесет четыре кратких слова: «Я хочу сделать признание!»

И помчится, сломя голову, надзиратель сообщить судьям важную новость: Кампанелла хочет сделать признание! И судьи прервут другие допросы: Кампанелла хочет сделать признание! И разнесется по Кастель Нуово весть: Кампанелла хочет сделать признание! Эти слова станут ключом к кандалам и запорам. И его уже не потащат, а поведут в камеру. Ему дадут вымыться, чтобы судьям не дышать смрадом. Ему дадут одеться. Его досыта накормят. На него не будут кричать. Его будут слушать. Пообещают смягчить его участь и, как знать, может быть даже выполнят обещание. Но в камерах, где сидят те калабрийцы, что

еще держатся на допросах, и в камере, где сидит его верный друг — Дионисий, померкнет свет в глазах людей, и черная тоска овладеет их душами: Кампанелла решил сделать признание. Значит, мы все погибли и все погибло!

Так нет же, господа апостолические комиссарии, так нет же, господа представители Святой Службы, так нет же, королевские судьи, так нет же, старательные протоколисты, так нет же, воняющие луком и потом надзиратели, так нет же, главные палачи и помощники палачей, так нет же, доносчики и наушники! Вам еще придется подождать! Рано радуетесь! Рано радуетесь, враги! Рано печалитесь, друзья! Кампанелла решил не делать признаний. Он готов заживо сгнить в этой яме, на которую судьи возлагают такие надежды, но он не доставит им удовольствия услышать его признание.

Кампанелла вспомнил калабрийскую песню узника, которую он слышал давно-давно в монастыре, когда крестьяне привезли на монастырский двор припасы. Так камень падает на морское дно, как я попал в темницу. Такими бывают могилы, но я жив, почему же я в могиле? Всюду свежий воздух, им дышат все. И все вокруг свободны! Как прекрасна свобода! Почему я лишился ее? Мои друзья меня предали! Почему? Не думал он, когда услышал эту песню, что она станет для него пророческой. Ему приходят на ум самые страшные ругательства, какие он слышал во время своих скитаний по дорогам и жизни в трущобах. Он осыпает ими вице-короля и придворных прихвостней, мерзавца библиотекаря, который донес на него, а заодно всех доносчиков, наушников и предателей, начиная от Иуды, до тех, кто служит трибуналу, заседающему в Кастель Нуово. Он осыпает проклятиями жалкого писаку Марту, осмелившегося нападать на Телезия, и венецианца Мочениго, предавшего Джордано Бруно, и снова Иуду, и снова вице-короля. На душе становится легче. Ругательства иногда помогают больше, чем молитвы. А потом снова головокружение, обморочная слабость, боль, непереносимая боль в сердце. Сколько это длится? Сколько это еще может длиться?

Прошло несколько дней. Трибунал продолжал свои труды. В начале каждого заседания судьи осведомлялись: «Что Кампанелла?» И слышали в ответ: «Все то же!» В конце каждого заседания они справлялись вновь: «Что Кампанелла?» Ответ не менялся. Они уходили, уезжали верхом или в каретах, их уносили в носилках домой. Они переодевались, ужинали, пили вино, шутили с близкими, обсуждали новости, интриговали друг против друга, спали в мягких постелях, но не могли отделаться от вопроса: «Что Кампанелла?» Надзиратели докладывали судьям, что Кампанелла уже не встает, но так и не могли доложить, что

он намерен признаться.

Что делать дальше со строптивцем? Часть судей полагала: оставить в «яме для крокодилов». Так рассуждали те, кто вступил в дело недавно и плохо знал Кампанеллу. Другие доказывали: это бессмысленно. Еще два-три дня — и из карцера будет извлечен труп. А суду не нужен труп, суду нужно признание! Спросили у коменданта, сколько времени выдерживали в «яме для крокодилов» другие заключенные. Столько, сколько в ней уже находится Кампанелла, не выдерживал никто. Было решено вернуть Кампанеллу в камеру, записав в протокол, что он продолжает упорствовать в отрицании своей вины.

Санчесу де Луна в день, когда он подписал это решение, кусок не лез в горло. Он представил себе, что услышит от вице-короля при очередном докладе, и не ждал от этого никаких радостей.

Глава LXIV

В феврале в Неаполе чувствуется весна. Там, где дворы Кастель Нуово не замощены, из земли полезла молодая трава. Пробивается зелень и между каменными плитами. Жены тюремщиков начали возиться на огородах. Дети играют на весеннем солнце. Пролетают в небе птицы. Они зимовали в Сицилии и в Италии, а теперь держат путь на север. Вот-вот зацветет миндаль.

Кампанеллу выводят на прогулки. Он приходит в себя после «ямы для крокодилов». Очень медленно. Он сильно кашляет. От каждого толчка кашля в боку возникает царапающая боль. Он читал когда-то об этом заболевании. Как оно называется? Не помнит! Попить бы домашних травяных настоев и отваров, погреться бы на калабрийском солнце, все бы прошло. У Кампанеллы распухли суставы. Он страшно исхудал, и походка его стала неверной. Все, что говорит о наступающей весне: теплый луч солнца, щекотно скользящий по лицу, пролет птиц над головой, запах набухающих почек — волнует его, как никогда. Тюремный двор, где растет несколько пиний и пробивается трава, кажется прекрасным. Согретая солнцем, озаренная светом блаженная передышка! Надолго ли?

Вокруг эшафота, сооруженного во дворе, когда собирались казнить Маврикия, снова появились мастеровые. Дотошно проверяли, прочно ли стоит столб виселицы, снова громоздили на эшафот плаху. Все это делалось медленно, обстоятельно, на совесть. Пизано уже казнили: не помогли ему признания.

Виселица и плаха теперь для Маврикия. Напрасно священник, который уговорил Маврикия спасти душу признанием, пытался смягчить его участь. Трибунал не стал его слушать: никто не обещал бунтовщику снисхождения в этой жизни, ему было сказано, что он может признанием освободить себя от вечных мук. Надо полагать, что святой отец в этой награде не сомневается? Ибо подобное сомнение — ересь… Больше никто за Маврикия не заступался. На этот раз его казнь обставили без всякой торжественности. Второй раз неаполитанцев на одно и то же зрелище не заманишь. Зрителями были лишь заключенные Кастель Нуово, выгнанные по этому случаю во двор, стражники и солдаты крепостного гарнизона. Стоя на скамье с петлей, надетой на шею, Маврикий обвел глазами толпу, кого-то искал взглядом, а когда нашел, начал было говорить, но палач выбил скамейку из-под его ног. Потом тело вынули из петли. Помощники палача взвалили его на плаху. Палач взмахнул тяжелым двуручным

мечом. Он гордился, что отрубает одним ударом — руку ли, ногу, голову ли. Надо быть мастером своего дела! Сейчас у него случай поупражняться для следующего раза, когда придется четвертовать не удавленника, а живого.

Кампанелла отринул Маврикия от своего сердца. Но все-таки после казни думал о том, как подло поступили с Маврицием. То, что он сделал, он сделал ради спасения души. А его предали позорному четвертованию, после которого не похоронят в священной земле, а зароют на свалке, как собаку. Кампанелла не верит, что для души человека имеет значение, где и с какими обрядами будет похоронено тело. Но бедный Маврикий свято верил в силу обрядов, заупокойных молитв, освященной земли, посмертных месс. Если бы он знал, что его лишат всего этого, может быть, он не пошел бы на признание. Тогда все могло бы повернуться иначе. Бессмысленно теперь ломать себе над этим голову.

Путешественник, приехавший в Неаполь из Рима, принес экземпляр газеты «Аввизи» в дом делла Порты. Там прочитали статью, неведомый автор которой негодовал, что сожжение известного и нераскаявшегося еретика Джордано Бруно не состоялось в день, когда его ожидали римляне, собравшиеся по этому случаю на площади Цветов. Читавшие этот листок изумились безмерной подлости писаки, который высказал разочарование по такому поводу. Жив ли Бруно? Увы! Спустя несколько дней из Рима пришли письма с известием, что отложенное аутодафе состоялось. Друзья не знали, говорить ли Кампанелле об этом. Со времени встречи в Замке Святого Ангела он глубоко чтит Бруно. Не будет ли такое известие непосильным потрясением для человека, которому и без того тяжело? С другой стороны — не нужно ли Кампанелле знать, как велика опасность, ожидающего его, если он… Если что? Что может он сделать, чтобы отвратить опасность? Поколебавшись, ему передали горькую весть.

Воистину, кого господь хочет покарать, того он лишает разума! Кампанелле представились все эти инквизиторы и цензоры-квалификаторы, для которых день, когда славнейший из славных — Бруно взошел на костер, был доказательством, что едят они свой хлеб не даром. Никогда, ни за что не поверит он, что Конгрегация Святой Службы и Конгрегация Индекса запрещенных книг существуют по велению божьему. И то и другое — пагубные и вредоносные измышления низких душ. Их страшит свободная человеческая мысль, им ненавистен разум, они хотели бы все и навсегда заковать в оковы, всем надеть на глаза повязки, всем заткнуть рты.

В вестях, дошедших до Рима, были некоторые разногласия. Говорили, что Бруно, уже привязанный к столбу, поцеловал распятие и произнес слова покаяния. Нет, утверждали другие, этого он сделать не мог. Когда Бруно вели к месту казни, губы его были зажаты тисками, дабы он не смущал толпу еретическими речами. На костре ему поднесли распятие, Бруно гневно оттолкнул его. Тогда палач стукнул его сзади по затылку — это видели только те, кто стоял особенно близко к костру — Бруно ткнулся лицом в распятие, так что в толпе показалось будто он целует его.

Несколько дней и ночей Кампанеллы были заполнены мыслями о Бруно. То наяву, то во сне видел он себя на его месте. Ему казалось, что языки пламени лижут его кожу, дым ест глаза. Он задыхался. Силился вообразить, что испытывает человек, когда его сжигают заживо, гнал от себя эти мучительные представления и снова вызывал их в себе. Я должен быть готов и к этому!

Тяжкой, очень тяжкой порой в жизни Кампанеллы оказался февраль 1600 года.

В феврале он провел несколько страшных дней в «яме для крокодилов», в феврале он узнал о том, что Бруно сожгли на костре, в феврале трибунал, заседавший в Кастель Нуово, получил из Рима разрешение пытать Кампанеллу. Он знал, рано или поздно этот день или эта ночь настанет, и будут они страшнее тех, что выпали на его долю в Замке Святого Ангела. Один из тюремщиков, то ли сочувствуя ему, то ли действуя по указке судей, сказал Кампанелле, что для него велено привести в порядок особое устройство, и лучше бы Кампанелле обойтись без знакомства с ним.

Кампанеллу лихорадило, он был очень слаб после «ямы для крокодилов». Как вести себя дальше? После показаний, которые судьи хитростью и коварством получили у Маврикия, Петроло, Пизано, просто отрицать все бессмысленно. Надо менять тактику. Пусть Петроло и Пизано показали даже то, чего на самом деле не было; суд не примет этого во внимание. Для инквизиционного суда имеет вес только показание, которое отягощает вину обвиняемого. Если же Маврикий, сознаваясь, и пытался сказать что-то в оправдание Кампанеллы, с этими показаниями никто считаться не будет. Ибо сказано в наставлении для инквизиторов: «Показания еретика в пользу обвиняемого могут быть вызваны ненавистью к церкви и желанием помешать наказанию преступлений, совершенных против веры. Подобные предположения не могут возникнуть, если еретик дает показания против обвиняемого».

Мавриций в глазах суда еретик, ибо восстал на земную власть, а она от бога. Это и определяет отношение трибунала к его словам: все, что можно использовать против Кампанеллы, будет использовано; все, что говорит в пользу Кампанеллы, будет отброшено. Не следует заблуждаться. Судьи знают уже очень много. Если по-прежнему отрицать все, с ним поступят как с нераскаявшимся еретиком.

Тюремная почта в феврале разнесла по камерам весть: Кампанелла под пыткой начал давать показания. Его допрашивали несколько раз и несколько раз пытали. Он перестал отрицать все то, что ставилось ему в вину и о чем уже говорили другие, но пытался истолковать свои действия как направленные на благо Испании. До такой дерзости договорился, что стал утверждать, будто калабрийский заговор имел в виду помочь возвышению Испании. А еще Кампанелла твердил, что во всех своих словах и делах оставался верен святой церкви. Он ссылался на людей, которые могли бы подтвердить его показания, если бы были живы, цитировал богословские тексты, говорил о предзнаменованиях, утверждал, что, поскольку он все это повторяет под пыткой, слова эти — сама истина. Порукой в том страдания, которые он переносит.

Поймут ли друзья, что означают его полупризнания? Найдет ли он способ объяснить им, что силился под пыткой оттянуть время, придумать новый способ защиты, запутать судей своими рассуждениями? Ведь он не сказал ничего, что не было уже известно судьям. Имена? Он назвал лишь тех, кого уже не было в живых, кому ничто уже не могло повредить. Он не сдался и не сдастся.

История военного искусства — одно из его увлечений — научила Кампанеллу: если прорван один рубеж обороны, надо отходить на другой. Твердить «я ни в чем неповинен» легче, чем придумывать уклончивые многословные ответы. Неужели друзья не поймут, что у него нет иного выхода? Если его признают нераскаявшимся, его казнят. Мертвый, он ничем и никому помочь не сможет. Живой, он еще попытается бороться.

И все-таки, когда он возвращается в свою камеру с допросов, после которых в протоколах появляются длинные записи его ответов, где рассуждения о всемирной республике, ни в чем не покушающейся на права испанской монархии и римского папы, а, напротив, служащей их вящей славе и могуществу, чередуются с длинными ссылками на Святое писание, с астрологическими пророчествами, предвещающими неизбежность великих и благих перемен, у него на душе нехорошо. Отвратительно у него на душе. Горькая оскомина остается на губах, вынужденных отвечать

судьям так, как отвечает сейчас он.

Всю крепость взволновал слух: «Кампанелла стал признаваться!» Он не может его опровергнуть. Он действительно стал признаваться. Надо объяснить друзьям, почему он говорит то, что он говорит, и как им, зная об этом, вести себя на допросах. Как это сделать? Надзирателей, которые иногда помогали ему передать калабрийцам если не записку, то хоть условный сигнал, тайную весточку, больше нет подле его камеры. Все время появляются новые. Один из них очень жалел Кампанеллу, которому пришлось — слыханное ли это дело! — столько времени провести в «яме для крокодилов», а потом перенести пытку, давал понять, что сочувствует ему, вызывался помочь, Кампанелла отказался. Может быть, он еще пожалеет об этом. Но суетливая готовность нового тюремщика насторожила его. Тяжко было у него на душе. Тяжко и смутно. И мрачными стали его сонеты. Такими они не были никогда прежде.

Он сетовал в них, сколь слепа и безумна Италия, мудрость которой спит беспробудным сном. Он хотел ей лишь добра, он не причинил ей никакого зла. Почему она так жестока к нему? Бог уснул на небе, если дозволяет презренным лжецам, вырядившимся в одежды благочестия, торговать обманом и предавать истинную веру. Он написал сонет, в котором говорил о своей слабости, и другой, в котором восхвалял непоколебимое мужество Дионисия. Он говорил, что препоручает ему их общее дело и по первому слову друга готов покончить с собой. Был написан такой сонет, возникала такая мысль, и этого не вычеркнешь.

Одно утешение даровано ему в эти тягостные дни вынужденного отступления. У Дионисия был брат — священник Пьетро Понцио. С первого дня знакомства он восхищался поэтическим даром Кампанеллы. Пьетро Понцио был тоже схвачен, тоже совершил страшный переход и плавание из Калабрии в Неаполь. Теперь, в тюрьме, он собирает все, сочиненное Кампанеллой. Никогда впоследствии никому не удалось узнать, как именно делал он это, только Пьетро Понцио не просто старательно хранил переписанные стихи Кампанеллы, но даже, идя на отчаянный риск, передавал их на волю.

И хотя знать, что твой голос слышат на воле, немалое утешение, Кампанелла устал. Все болезни, которыми он когда-нибудь прежде болел, дали себя знать. Старая лихорадка, которая чуть не свела его в детстве в могилу, ушибы и вывихи, вынесенные им из застенков, простуда, которую он получил в «яме для крокодилов», ломота в костях, боль в боку, кашель. Опухали десны, шатались зубы, слезились глаза. А сколько сил

нужно на каждом допросе! Особенно когда допрос превращается вдруг в богословский диспут. Вызванный в помещение трибунала Кампанелла вдруг видит однажды перед собой не только судей, каждого из которых давно знает в лицо, а ученых мужей — доминиканцев и францисканцев, знаменитых теологов. Он без подготовки должен говорить перед ними о том, как толкует пророчества Священного писания.

О ученнейшие мужи! О многомудрые и начитаннейшие оппоненты! Любопытно, сумели бы вы вести диспут, если бы ему вместо дней в библиотеке предшествовали карцер и пытки, а завершат его снова карцер и пытки! Этого Кампанелла, разумеется, не говорит. Спокойно, осмотрительно приводит он свои доводы, подкрепляя каждый из них ссылками на Священное писание. Разве не предсказывает Откровение Иоанна установление нового царства божьего на земле? Разве не сказано там, что сему надлежит быть вскоре? Сказанное там лишь подтверждает реченное в других местах Ветхого и Нового заветов. Назвать главы и стихи? Он не ограничивается ссылкой, цитирует на память. Благодарение богу, он еще помнит все пророчества! Мало Библии? Он охотно приведет слова отцов церкви и других высоких авторитетов.

Странное зрелище являет собой высокий трибунал. Светские судьи вскоре потеряли нить сложнейших богословских рассуждений Кампанеллы, томятся, зевают. Апостолические комиссарии, которым ход рассуждений понятен, нетерпеливо ждут, как оценят их призванные ими советники-богословы. А те, вместо того чтобы сразу сказать: «Это ересь!» — больше от них ничего не требовалось, дали вовлечь себя в бесконечный и, похоже, безнадежный спор. Изможденный человек в лохмотьях стоит несколько часов подряд перед сидящими и хриплым голосом, иногда прерываемым кашлем, спорит с ними. Он — какая наглость! — получает удовольствие от того, что может держать долгую речь, что нотарии-протоколисты — едва успевают записывать его слова, а оппоненты не сразу находятся, как опровергнуть их. Какая память у этого человека! Дьявольская… Вот-вот, его память сама по себе — доказательство, что с ним дело нечисто.

Долгие прения завершились ничем. Кампанелла завел спор в такую чащу текстов, ссылок, дефиниций, что дотошные и добросовестные богословы, приглашенные трибуналом, признали, не вмешиваясь в оценку поступков подсудимого — это не по их части, — что его толкование пророчеств Святого писания, на которых он основывал эти поступки, требует особого и внимательного изучения. Устного диспута недостаточно. Взгляды

Кампанеллы должны быть изложены в письменном виде. Но не написаны им самим, а продиктованы, решают судьи. Ну что же! В письменном так в письменном. Куда приятнее, чем сидеть в карцере, не говоря уже о допросах в застенке, обдумывать выражения, проверять свою память, находить слова и обороты, диктовать писцам, снова чувствовать себя и лектором и оратором.

Кампанелла диктует целое сочинение, в котором излагает свое понимание библейских пророчеств, приводит на память длиннейшие тексты, прибегает к многословным, запутанным формулировкам, порой повторяется, Но ни в чем себе не противоречит. Еще недавно ему нужны были телесные силы, еще недавно все решалось тем, какие муки и как долго выдержит слабая плоть. Теперь нужны все силы ума, все запасы памяти. Затянуть время! Прийти в себя после мучений. Собраться с силами. Может быть, что-нибудь изменится. В Неаполе. В Риме. В мире. Что-то случится. Кто-нибудь придет на помощь. Меня поддерживает бог, пишет Кампанелла в новом сонете себе в утешение, хотя все чаще сомневается в этой поддержке. Небесный меч работает на меня, пишет он в другом, и даже в своем отчаянном положении радуется, что нашел такое слово. Небесный меч *работает!* Хорошо сказано. Скорее бы он нанес удар его врагам. Больше нет сил ждать.

Глава LXV

Передышка резко оборвалась. За стенами Кастель Нуово что-то произошло. Богословские прения вдруг перестали всех интересовать. В трибунале одержали верх судьи, которые упорно требовали скорейшего завершения процесса. Суд считает свою миссию законченной — и признавшиеся, и изобличенные будут казнены. Дело за последними формальностями. Кампанелле объявили об этом. Он почувствовал — на сей раз это не простая угроза. Решение уже принято, и принято не в суде. Судьи еще могут делать вид, что они обдумывают приговор. Они уже знают его. Им осталось облечь его в слова. Сколько времени понадобится на это? Верно, немного.

Значит, все. Выхода нет. Выбор невелик — виселица, плаха или костер.

Всю ночь Кампанелла не мог уснуть. Едва закрывал глаза и впадал в дремоту, перед ним начинали проноситься видения казней. В памяти возникал Маврициий. Каким он был, и в какого его превратили. Он делал усилие, прогонял наваждение, открывал глаза — вокруг него привычные стены камеры, снова одиночной. Тускло горел светильник. Светильник оставляли в камере, чтобы надзирателям был виден узник. На стену падала неясная тень, и ему вдруг показалось: кто-то огромный и опасный тянет к нему руки. В ужасе он резко вскакивал, страшная тень вскакивала вместе с ним, карабкалась на потолок, и он, задыхаясь, с тяжко бьющимся сердцем, понимал: «Это тень!» Всего лишь тень. Надо спать. Пока можно, надо спать. В застенке минутами сильнее боли было желание спать. Ему казалось, если ему позволят проспать час, он обретет новые силы. Но палачи понимали это не хуже, чем он. Пить и есть в застенке ему изредка давали, но не спать. И вот теперь у него это благо — возможность спать. До рассвета далеко. А он не может спать. Он страшится уснуть. Едва он засыпает, на него наваливаются сны один страшнее другого. Он вырывается из кошмаров одного сна, ему кажется, он проснулся, он видит другой, еще страшнее, и понимает, что пробудился не до конца. Голова горит, в глазах, которые он раскрывает усилием воли, едва они слипнутся, словно насыпан песок.

Кампанелла прислоняется к холодной стене. Он будет биться о нее головой, только бы не уснуть, только бы не видеть снов. Все, что он делал, кажется сплошной ошибкой. Все, что ему предстоит, представляется ужасным. Нет времени ничего изменить, ничего исправить… Какая тоска! Может быть, если разорвать на себе

одежду, станет легче? «Уж не схожу ли я с ума?» Мысль эта холодно, ясно, отчетливо пронзила Кампанеллу. И так же холодно, ясно, отчетливо он подумал: «Вполне вероятно».

Разве не встречал он в Кастель Нуово бедных заключенных, которые от страха и мучений потеряли рассудок? Один узник на прогулке через каждые несколько шагов вдруг сгибался и долго стоял так. Его толкали и тянули, он не двигался с места, а потом начинал снова ходить, изредка жалобно выкликая: «Больно! Больно! Больно! Микеле больно!» Скоро его посадили на цепь, как принято с умалишенными. Другой, упорно молчавший на допросах, после пытки стал говорить не умолкая. Говорил громким, высоким голосом, кого-то вспоминал, с кем-то спорил, на что-то жаловался. И вдруг, остановившись среди этого потока слов, совсем другим, тихим голосом спрашивал: «Тронуть можно?» И указывал пальцем на того, до кого собирался дотронуться. «Тронуть можно?» — спросил он, когда его последний раз привели в трибунал, указывая на блестящую пряжку, скреплявшую плащ Санчеса де Луна. И тот так растерялся, что приказал немедля увести его. Теперь и этот бедняга тоже на цепи.

Что удивительного! Если с людьми делать то, что делали с ними в Кастель Нуово, понятно, что слабые сходят с ума. Но он не слабый! И не сошел с ума. Это ему померещилось. Ночью, особенно, когда знаешь, что эта ночь одна из последних твоих ночей, чего только не привидится. Нет, благодарение богу, он не сошел с ума.

Постой-ка, Кампанелла! Кажется, тебе пришла в голову спасительная мысль. Ты не сошел с ума. Ты не сойдешь с ума. Ты не из тех, кто сходит с ума. Но это знаешь только ты. Твои судьи этого не знают. Почему бы не внушить им мысль, что ты потерял рассудок? Сразу они не поверят. С тех пор, как существуют суды, существуют и люди, которые, попав под суд, прикидываются безумными. И опытные законники, что сидят в трибунале, прекрасно это знают. Им ведомы уловки, при помощи которых можно обнаружить такой обман. Но вряд ли их познания в этой области глубоки. Судьи не кажутся ему мудрецами. Кампанелла усмехнулся. Надо рискнуть. Можно рискнуть. Что это даст? Отсрочку. Каждый выигранный день — благо. За этот день, может быть, что-то изменится в его судьбе. А может быть, ему удастся придумать, как изменить ее. За лишний день можно сложить в уме еще одно стихотворение, обдумать еще одну страницу трактата. Каждый выигранный день — благо. Еще один день дышать. Еще один день смотреть на небо. Еще один день жить.

На свободе Кампанелла встречал людей, жаловавшихся на

скуку. Они не знали, как убить время. Слепцы! Презренные расточители! Убить время! Каждая частица его бесценна. Ее не оплатить никакими сокровищами. В его жизни было много всякого — ему бывало радостно, грустно, страшно, одиноко, но ему никогда не бывало скучно. Никогда не возникало чувство, что время тянется слишком медленно, что есть пустые минуты и лишние часы. Однако он отвлекся. Ночью трудно удержать мысль, чтобы она не плутала… Надо заставить себя додумать до конца — как сделать, чтобы судьи поверили, что он сошел с ума?

Среди многих тайн природы, которые он обсуждал на свободе со своими учеными друзьями, было и безумие. Делла Порта как-то рассказывал ему о римских врачах, которые оставили описания двух видов душевной болезни — сильного возбуждения и печальной угнетенности — меланхолии. Судя по описанию в Ветхом завете, царь Саул болел именно меланхолией. Говорили о примерах, когда люди, коих окружающие считали безумцами, возглашали великие истины и совершали поразительные открытия. Это высокое безумие надо отличать от безумия низкого, именуемого «сущеглупостью», одержимые которым несут сущий вздор. Вспоминали в этих поучительных беседах, что римские юристы насчитывали пять видов безумия, которые должны различать судьи. Вот это очень важно, это надо припомнить во всех подробностях. Толковали о лечении огнем и чемерицей. Кампанелла снова усмехнулся. Насчет чемерицы он не знает, а уж огнем полечить его попробуют! Ему не нужно, чтобы судьи сочли его безумие высоким, пусть признают за «сущеглупого». Пусть поверят, что он от перенесенного сошел с ума и не припишут его поведения тому, что он одержим дьяволом. Это тоже опасно, угодишь, чего доброго, на костер. Какое же безумие изображать ему? Буйствовать, рвать на себе одежду, выкатывать глаза, биться об пол головой, вопить? Так изображают безумие ярмарочные лицедеи и самые простодушные притворщики. Такое легко разоблачить. Он не знает, сколько времени придется ему изображать помешанного — дни, недели, месяцы. А буйствовать можно несколько часов, день, два подряд. На большее сил не хватит. Кампанелла проснулся окончательно. Стал спокойно и трезво обдумывать свою последнюю ставку в опасной игре.

Глава LXVI

Утром надзиратель принес Кампанелле еду — глиняную кружку кислого, как уксус, вина, разбавленного водой, миску бобов, сбрызнутых прогорклым оливковым маслом, ломоть хлеба, грубовато-добродушно спросил: «Жив?» Кампанелла не ответил. Сидел, вытянувшись в струну, смотрел сквозь надзирателя неподвижным, немигающим взглядом. Взгляд его был так странен, что надзиратель, вспомнив все слышанное о Кампанелле, выставил вперед большой и указательный палец, как рожки — верное средство от дурного глаза. Узник не обратил никакого внимания на этот жест. Надзиратель сунул ему в руки кружку. Кампанелла не потянулся за ней поспешно, как делали все заключенные, она упала и разбилась. Надзиратель, озлившись, сильно дернул арестанта за плечо. Тот качнулся вперед, как деревянный, но едва надзирательская рука была снята с его плеча, вернулся в прежнюю застылую позу.

«Отвечать не желаешь? Питьем брезгуешь?» — распаляя себя, закричал надзиратель и, поставив миску на пол, начал трясти Кампанеллу. Голова узника моталась из стороны в сторону, но застывшее лицо не меняло выражения. Широко раскрытые глаза по-прежнему смотрели сквозь надзирателя. Тот хотел ударить Кампанеллу, чтобы привести его в чувство, но ему стало не по себе. Пнув ногой черепки разбитой кружки, надзиратель вышел из камеры и, разыскав ближайшего начальника, доложил, что проклятый монах того… Грубый его ум не находил объяснения жуткому чувству, испытанному в камере Кампанеллы, язык не знал слов, чтобы выразить виденное, но напуган он был до полусмерти.

Старший надзиратель, оторванный от увлекательной партии в кости, обругал явившегося с докладом. Но Кампанелла был своего рода достопримечательностью, даже гордостью тюрьмы. О нем и в городе постоянно расспрашивали. Позволить ему спятить? Нельзя!

Старший надзиратель долго простоял, разглядывая застывшего в полной неподвижности арестанта. «Ешь!» — приказал он и поднес ложку с бобами ко рту узника. Тот ее не заметил. Кампанеллу толкали, он поддавался толчку, но тут же возвращался в прежнюю позу. Дергали за руку, отпущенная, она падала вниз, как отмершая. Глаза оставались неподвижными, широко раскрытыми, немигающими. Старший надзиратель за время службы в тюрьмах нагляделся всякого. Его не удивишь. А Кампанелла удивил. Позвали тюремного лекаря.

Заключенные, случалось, сходили с ума. Но этот был непохож на других тюремных безумцев. Человек не в себе, но что с ним? Словно уснул сидя и с открытыми глазами. Лекарь сказал, чтобы принесли зажженный факел, и, когда его принесли, резко приблизил его к лицу Кампанеллы. Зрачки узника сузились, но лицо оставалось неподвижным, а сам Кампанелла не шелохнулся. Лекарь пожал плечами. Чтобы человек, которого не держат и не привязали, не отшатнулся от огня, такого он еще не видывал.

К исходу дня новость узнал комендант. Только этого не хватало! Мало ему неприятностей из-за Кампанеллы. Теперь, когда не сегодня-завтра он освободится, наконец, от этой заботы и Кампанелла из рук тюремщиков перейдет в руки палачей, упрямец, изволите видеть, сошел с ума!

Решительные способы, которые применил комендант, успеха не возымели. Все та же неподвижность, те же широко раскрытые глаза, тот же взгляд сквозь людей. Иногда Кампанелла что-то говорил — быстро, тихо, неразборчиво. Уловить смысл его речей было невозможно. Пришлось докладывать трибуналу.

Судьи вначале отнеслись к неожиданному известию спокойно. Понял, что проиграл, решил прикинуться безумцем. Такой простой уловки они от него, признаться, не ожидали. Вывести его на чистую воду! Без промедлений. Не хотел говорить? Заговорит. Прикидывается сошедшим с ума? Справимся и с этим! И как можно скорее. В Неаполь в ближайшие дни должно прибыть из Рима важное духовное лицо — епископ Термоли, известный богослов, один из столпов Святой Службы. Он должен окончательно уличить Кампанеллу в ереси. Для апостолических комиссариев прибытие высокого собрата неприятно. Выходит, сами не смогли закончить дело так, как требовалось — преступления Кампанеллы против испанской короны доказаны, Кампанелла-еретик разоблачен не до конца.

Кампанелла не предвидел, как трудно долго притворяться безумным, вести себя одинаково и тогда, когда в его камеру входят, и тогда, когда он остается один. За ним могут подсматривать. Он изо всех сил старался сохранять неизменную позу. Но человек не может не спать. Он падал на ложе резко, как подрубленный, падал, словно сон сразил его внезапно. Человек не может долго не есть и лишь совсем недолго может не пить. Но сам он не брал в руки ни миску с едой, ни кружку с питьем. Если их ему подносили ко рту, давал накормить и напоить себя, не позволяя себе проявить ни жажды, ни голода. Если кружку и миску отнимали ото рта, прежде чем он успевал напиться или проглотить несколько глотков варева, он не тянулся за ними, сохраняя на лице маску безразличия. Спустя некоторое время

надзор за ним стал слабее. Старший надзиратель больше не приходил к нему, да и тюремный лекарь не появлялся. Ночью за дверью не было слышно шагов. А вскоре его перевели в другую камеру. Именно сейчас, когда его, казалось бы, оставили в покое, было особенно трудно не выбиться из принятой роли.

Опасная игра продолжалась не день, не два — недели и месяцы. Чтобы на самом деле не сойти с ума, Кампанелла сочинял стихи: сонеты, мадригалы, октавы. Это были стихи о любви. Они обращены к разным женщинам. Каждая из них прекрасна, и все воспеты традиционными словами подражателей Петрарки. Поэт умоляет даму любить его, благодарит за доброту, восхваляет природу за то, что она создала такую красоту, сравнивает ее зубы с жемчугом, губы с душистыми розами, именует возлюбленную сладостным ядом, любовь уподобляет то сражению, то плаванию по бурному морю.

…Напрасно гадать о той или тех, к кому обращены эти стихотворения. Может быть, в них отзвуки пережитого на воле. Но вернее всего, возлюбленная — поэтическая условность…

Кампанелла сочинял эти стихи, чтобы занять ум. Думал он и о товарищах по заключению. Многие, когда у них еще была возможность видеться и говорить с Кампанеллой, просили его сочинить стихи для любимых. Как знать! Может, ему еще доведется увидеть друзей. Надежда слабая, но Кампанелла, верный данному обещанию, сочиняет для них любовные стихи впрок.

В стихах, соблюдающих все традиции любовной поэзии, он глухо упоминает о своей судьбе. Время суда и пыток называет бурей, порой вздохов, дорогой страданий, сравнивает себя с утлым кораблем, который швыряют могучие волны. Пережитое кровоточит, как свежая незажившая рана, а слова, которыми он говорит об этом, странно холодны. Но вдруг они начинают звучать совсем по-другому. Кампанелла слагает сонет о безумном мудреце и мудром безумце. Я свободен, и я же связан, говорит он, я иду один, но за мной следуют другие, я воплю и молчу, сбивая с толку жестокосердную толпу, мертвым глазам этого презренного мира я кажусь безумцем, в глазах божественной мудрости я мудрец, крылья мои пригвождены к земле, но я взлетаю в небо, тело мое истерзано, но душа моя спокойна, и если тяжкий груз порой пригибает меня к земле, мои крылья возносят меня над нею. Нет ничего легче, чем груз, который несешь добровольно. Образ любимой запечатлен на моем челе. Я уверен, что когда-нибудь встречу ее, встречу там, где меня поймут без слов. Возлюбленная этого сонета — и вожделенная женщина и вожделенная свобода.

Смысл сонета слишком сложен, чтобы его могли понять его соглядатаи, даже если бы услышали, что упорно бормочет узник. Записать бы сонет, самому увидеть глазами, сохранить. Однажды Кампанелла услышал из соседней камеры знакомый голос, окликавший его. Он вслушался. Новым соседом оказался Пьетро Понцио, верный друг, восторженный поклонник поэзии Кампанеллы. Кампанелла не удержался. Когда Пьетро спросил его о здоровье, ответил: «Благодарение богу!» Ему бы остановиться на этом, но Пьетро спросил, пишет ли он еще стихи, и Кампанелла пылко ответил, что пишет и будет писать.

В камере, куда поместили Кампанеллу, было приспособление, известное с седой древности. Если в стену вделать полую трубку, голос, звучащий в одном помещении, куда незаметно выведен один конец трубки, прекрасно слышен в другом помещении, даже отдаленном. Издавна на этом строились фокусы, которыми удивляли простаков. Тем же способом пользовались, чтобы выведывать чужие тайны. Каждое слово его разговора с Пьетро было записано протоколистами.

Птицы ловчие перехитрили птицу певчую. Через несколько дней был записан еще один разговор Кампанеллы с другом, и снова его речи не походили на речи безумца: Кампанелла диктовал Пьетро новые стихи. Итак, притворщик уличен. Дело за малым — его нужно заставить самого признаться в обмане. Не захочет — заставим!

Глава LXVII

Перерыв в заседаниях трибунала все еще не кончился. Ждали епископа Термоли, который должен был дать заключение о еретических взглядах Кампанеллы. А тот тем временем продолжал изображать безумие. Все время сохранять безучастную неподвижность даже для его воли — задача непосильная. Он решил, что изменит свое поведение. Теперь он вдруг начинал стремительно бегать по камере, то от стенки к стенке, то по диагонали, то описывая восьмерки, и уже не бормотать, а громко выкрикивать невнятные слова. Порывистая беготня и бессмысленные восклицания, которые внезапно переходят в неподвижность и молчание, казалось ему, похожи на поведение безумца. А для него сама возможность пометаться по камере, покричать давала передышку. Однажды, когда он метался по камере особенно сильно, кричал особенно пронзительно, он вдруг почувствовал — его захлестывает опасная волна. Сможет ли он остановиться?

В трибунале столкнулись два стремления: судьи, назначенные вице-королем, стремились закончить дело поскорее. Заговор доказан. Чего тянуть? Судьи, представлявшие церковь, спешить не хотели. Не в обычаях инквизиции торопиться. Главное — так изобличить еретиков, чтобы они не только сами понесли заслуженную кару, но чтобы их изобличение и наказание было суровым уроком всем, кто идет по их стопам.

Епископ Термоли, бывший генеральный комиссарий римской инквизиции, присланный в Неаполь с большими полномочиями, не скрыл от здешних коллег, что находит множество упущений в процессе, и принялся оправдывать пословицу «новая метла чисто метет». Начались бесконечные повторные допросы калабрийцев. Многие из них признались во всем, когда следствие вел еще Ксарава. Уговоры товарищей, муки совести заставили некоторых отказаться от этих показаний. Новые допросы, увещевания и угрозы, «яма для крокодилов» снова развязали слабым языки. Повторные признания для судьбы руководителей заговора были опаснее первых. Стремясь облегчить свою участь, слабодушные говорили, что были запуганы Кампанеллой и Дионисием. Дальше признавшиеся вновь вели себя по-разному: одни, стремясь угодить трибуналу, выдумывали новые подробности. Другие то признавались, то отрекались, запутываясь все сильнее и сильнее. Длинные протоколы заполнились противоречивыми показаниями. Во всем надо было разобраться. Епископ Термоли засадил писарей делать извлечения из протоколов, составлять сводки

показаний, данных в разное время одним и тем же лицом, приказал особо выписать все, что говорили обвиняемые о Кампанелле и что говорил тот сам.

Долгой была эта проволочка. Кампанелла начал играть роль безумца весной, а на решающий допрос его повели лишь в середине лета. Кампанелла шел разутый. Нагретые июльским солнцем каменные плиты тюремного двора обжигали босые подошвы. Это еще не ожог! — подумал Кампанелла. Он был почти уверен, что ждет его на этом допросе. Как вести себя под пыткой человеку, который играет роль безумца?

Допрос начался с потрясения. В новом члене трибунала — епископе Термоли — Кампанелла узнал Альберто Трагальоло, бывшего генерального комиссария римской Святой Службы, самого опасного из тех судей, которые занимались его делом в Риме.

Не узнавать! Никоим образом не выдать себя! Увещевание? Пропустить мимо ушей, ничем не показав, что слышишь эти слова епископа — великого мастера угрожающих увещеваний и увещевательных угроз. Но что это? У Кампанеллы упало сердце. Отступив от обычного правила не предъявлять подсудимому улик, а лишь намекать на них, Кампанелле прочли запись его разговоров с Пьетро Понцио. Тяжкий удар! Как он мог так себя выдать! Но отступления нет. Кампанелла выслушал все, что сказали судьи об этой улике, с блуждающей улыбкой на лице. Его спросили, понял ли он, что последует за этим. Кампанелла ничего не ответил.

Альберто Трагальоло, ныне епископу Термоли, он прекрасно помнил Кампанеллу по Риму, — вдруг показалось, что узник не обманывает их, он действительно сошел с ума. Он еще не встречал человека, даже среди самых закоренелых еретиков, который мог бы выслушать то, что выслушал этот узник, с таким отрешенным лицом. Епископ Термоли не может позволить сомнениям поколебать себя. Он знает свой долг перед богом, перед церковью, перед ее Святой Службой. Не подействовало увещевание, не вразумила угроза — пытать! Пытка была долгой, Но ничего не дала суду. На дыбе Кампанелла стонал и кричал. Но любой безумец, если он не из камня, будет кричать на дыбе. Как бы ни повредился человек в рассудке, он ощущает боль. Эти вопли ничего не доказывают. А среди криков, стонов, обрывков молитв, невнятных стихов, проклятий, зубовного скрипа не было того, чего ждали, требовали, что выпытывали судьи. Кампанелла не признался в том, что безумие его притворно.

— В него вселился дьявол! — с раздражением сказал епископ Термоли. Но это тоже надобно доказать! Зачем? Не одержимость

Кампанеллы дьяволом должен он установить, а то, что тот притворным безумием пытается уйти от ответа как еретик. Впервые бывший комиссарий инквизиции, епископ, надеявшийся вскоре получить кардинальскую шляпу, растерялся.

Кампанеллу опять оставили в покое. Первые дни он пребывал в немыслимом напряжении. Казалось, сейчас его снова поведут на допрос, снова будут терзать. Он ждал весь день, за ним не приходили. Ночью не мог уснуть — снова ждал, за ним не приходили. Лекарю приказали подлечить Кампанеллу. Он очень старался, но тот ему не доверял. Ведь он присутствовал — по долгу службы, — когда пытали Маврикия и когда пытали Кампанеллу. Пусть не уверяет, что не может отказаться от своей гнусной службы. Если одни могут вынести пытку, другие должны быть в состоянии отвергнуть должность, превращающую костоправа в собрата костолома.

Постепенно изувеченные руки заживали, утихала боль в вывихнутых и грубо вправленных палачами суставах. А за ним все не приходили. Если он будет думать только о тех допросах, которые уже были, и о тех, которые предстоят ему, он действительно сойдет с ума. Но жить в бездействии он не может. А в роль безумца так вошел, что она почти не требует от него усилий. Он должен продолжить свои труды.

Глава LXVIII

У него и прежде никогда не было своего дома — только монастырские кельи. Он никогда не был богат. Теперь у него не было ничего. Совсем ничего, кроме грубой и рваной одежды. Изредка его кормили досыта. Чаще держали впроголодь, то ли потому, что так кто-то велел, то ли потому, что в тюрьме воровали то больше, то меньше. Он привык к подобным превратностям и не вникал в их причины. Чего ему не хватало — это книг. Мысль о книгах, которые он мог когда-то читать сколько хотел, о тех, что хотел прочитать, но не успел, мучила его сильнее голода. Он бредил книгами, как голодающий едой. Ему представлялись тяжелые фолианты — сколько их осталось в монастырских библиотеках, где он бывал когда-то, и о скольких думал — это я еще успею прочитать! Теперь уже не успеет. Ни рукописных, ни печатных, со страниц которых с ним говорили древние, забытые, а потом вновь открытые мудрецы, историки, философы, поэты. Он вспоминал, как пахнут пергаментные и как бумажные книги, воспоминание об их запахе щемило душу.

Но что горевать! Ведь и прочитал он немало. И то, что прочитал однажды, запомнил навсегда. Этого у него никто не отнимет. Это останется с ним до конца. Этого он не забудет. А может быть, уже забыл? О стольком нужно каждый день помнить, столько взвешивать, столького остерегаться! Не вытеснили ли мысли о том, как отвечать, что сказать, как промолчать, память о книгах? Тогда он погиб. Тогда он действительно лишился разума. Тогда он мертв.

Кампанелла стал проверять себя. Осторожно, придирчиво. Вначале строками, потом страницами. Нет, не забыл! Нет, помнит! Многое слово в слово. Помнит трактат Телезия, помнит сочинения Платона, помнит «Утопию» Томаса Мора, помнит сочинения Фичино и Пико делла Мирандолы. Невидимые тома раскрывались перед ним в полутемной камере, незримые страницы вставали перед его глазами. Он видел написанные или напечатанные строки, заметки на полях, записи, сделанные в тетрадях. Многие тетради похищены у него, отняты при обысках и арестах, лежат теперь неведомо где, а может, все еще изучаются цензорами-квалификаторами. Тетрадей ему не возвращают. Книг не дают. Слепцы! Разве можно отнять у него тетради с выписками и прочитанные книги! Они с ним. В его памяти. Всегда. И сейчас. Он не станет горевать о том, что забылось. Может, оно и не заслужило ничего, кроме забвения. Но то, что он помнит, стоит того, чтобы помнить это.

Кто сказал, что писать можно только чернилами на бумаге? Тот, кому есть что писать, может писать и щепкой, разведя копоть от светильника в воде. Гвоздем, царапая стену. Собственной кровью — в этих чернилах нет недостатка. А когда писать нечем и не на чем, писать можно мысленно. Раньше он думал — так можно сочинять только стихи. Но оказывается, так можно сочинять все — обдумывай слово за словом, складывай из них строку, повторяй, пока она не оттиснется в памяти, сделал шаг, иди дальше. Ненужное, лишнее при таком мысленном писании само отпадет. То, что останется, то запомнится. Такому писанию не нужен свет. Так писать можно и в темноте. В рукопись, написанную в уме, отпечатанную в собственной памяти, никто не заглянет. И в библиотеку чужих великих книг, которую хранит твой ум, встанут книги, сочиненные тобой. Когда-нибудь ты их запишешь. А если не будет этого «когда-нибудь»? Об этом не думай. Пиши! Пиши свою невидимую книгу.

Глава LXIX

Когда человек так близок к смерти, как он, пора подумать о завещании. Каким будет оно? Мысль о завещании уже не раз приходила на ум Кампанелле. У него не было ничего вещественного, что он мог бы оставить близким. Да и не о них — обо всем роде человеческом думал узник. Если благую жизнь получит все человечество, хорошо будет и его близким. Жизнь его близких коротка, и они не доживут до того будущего, о котором он мечтает. Но ведь он и сам не доживет. Но что значат его и их жизни по сравнению с тем, о чем мечтает он для всех калабрийцев, для всех итальянцев, для всего человечества! Он откроет людям какой должна быть прекрасной, справедливой жизнь.

…Кампанелла был не первым и не последним философом и революционером, полагавшим, что, если разумно и понятно объяснить людям, в чем истинное благо, они поспешат к этому благу. Разве они враги себе? И некому было сказать Кампанелле, что одними доводами разума мира не переделаешь…

Давно решено: когда он заговорит об этом совершенном мире, он обратит свой взор к Солнцу — славнейшему и величайшему из небесных светил. Оно дарует людям свет и тепло. Оно рассеивает мрак ночи и тьму предрассудков. Оно пробуждает зерно к росту. Оно освещает путь. Его завещание будет называться «Город Солнца».

Спокойнее! Спокойнее! Спокойнее! Слишком часто он давал увлечь себя страстям. Когда на глазах у всех положил стихи на гроб Телезия. Когда произнес опасные слова об отлучении, когда говорил в проповедях все, что думает, не останавливаясь перед тем, что его могут услышать враги. Да разве все перечислить! Теперь он должен быть спокойным и умудренным. Философом, не проповедником. Ему вспоминаются древние. Философствовать — значит учиться умирать, говорили они. Мудрая мысль, Но следовать ей мы погодим, думает он. Нет, философствовать — значит учиться жить. И учить жить. Жить в государстве разума и справедливости — в Городе Солнца.

В эти дни, когда напряженная работа ума стала для него лекарством и спасением, он думал не только о том, что напишет в своем будущем завещании, но и о том, как напишет. Он не даст захлестнуть себя чувствам. Он будет сдержан и спокоен. Он добьется того, чтобы его мысль была прозрачной и ясной. Как изложить ее? Лучше всего в форме диалога. Способ этот освящен великой традицией. Да и объяснять что-нибудь проще всего,

когда мысленно представляешь себе простодушного собеседника, который задает вопросы, слушает, удивляется. Ты отвечаешь, рассеиваешь его недоумения, говоришь с ним так, как учитель с учеником. Итак, это будет диалог. Решено!

И не стоит говорить: вот таким-то и таким-то будет государство, чтобы граждане его были счастливы. Люди не очень-то охотно слушают о том, что сбудется когда-то. Слишком много проповедей слышали о грядущем блаженстве. Надо рассказать о своей мечте как о чем-то, что уже есть. Где? Земной шар велик. Кампанелла путешествовал мало. Италию пересек, и то не всю. Об огромном мире знает только из книг. Не плавал на кораблях, не повидал ни Африки, ни Индии, ни Нового Света, не пересекал экватора, не видел, как выглядит небо в Южном полушарии. Однако ему кажется, что он побывал во всех частях Земли. Спасибо книгам, которые привели его туда, а книги путешественников он любит, читал их много, ему легко им подражать. Он поместит свое государство где-нибудь около экватора. А рассказывать о нем будет мореход, только что вернувшийся из плавания. Кампанелле случалось видеть таких людей — венецианцев и генуэзцев, обветренных, загорелых капитанов, рассказывавших об удивительнейших вещах. Итак, Мореход. А кто же будет его слушателем? Любознательный Гостинник, который дал приют путешественнику, домосед, которому не терпится узнать обо всем, что видел его гость. Начать нужно как можно проще. Начать нужно так.

Появляются два собеседника: Гостинник и Мореход. Где появляются? Это читатель пусть вообразит себе сам. Скажем, на набережной, — сюда только что причалил корабль Морехода. И Гостинник говорит так: «Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во время последнего плавания».

Все это надо обдумать. Взвесить. Выбрать самые простые слова, самые убедительные доводы. Написать так, чтобы каждый мог представить себе Город Солнца и вообразить себя его гражданином. Захотел бы жить разумно, счастливо, справедливо. С уверенностью, что живешь ради общего блага и что те, кто тебя окружают, пекутся о тебе не меньше, чем о себе самих. Неужели нельзя убедить людей, что только так стоит жить!

Было великой отрадой представлять себе страницы будущей книги и возникающий на них сказочный город, прекраснее Святого Иерусалима, описанного в Апокалипсисе. Солнечный свет, который озарит Город Солнца, проникал в мрачную камеру Кампанеллы, разгонял тьму, наполнял силой его измученную душу.

Трибунал вел допросы, записывал и сопоставлял показания,

изучал сведения о главных обвиняемых, поступавшие из разных городов Италии, читал все сочиненное Кампанеллой. Ясно, что в 1600 году дело закончено не будет. Не только честолюбие, но основательность — одна из главных черт Альберто Трагальоло, епископа Термоли. Однако тут произошло нечто неожиданное. Перед самым Новым годом епископ Термоли перестал появляться в трибунале. Заболел! А в самый первый день нового, 1601 года Альберто Трагальоло, мечтавший, что процесс над калабрийскими мятежниками и еретиками возвысит его в римской курии, скончался. Торжественна была заупокойная месса. Колокольный звон и печальное пение хора возносились к небесам. Звучали прочувствованные речи о прелате, славном благочестием и непримиримостью к еретикам. У Кампанеллы не было причин печалиться о смерти старого знакомца. Причины призадуматься были: кто сменит Трагальоло и что будет означать эта перемена? Прежде всего — новую проволочку. Это плохо, его измотала неопределенность. Это хорошо, он смог продвинуться дальше в обдумывании будущего трактата о Городе Солнца. Тем более что со смертью епископа Термоли надзор над ним снова ослабел.

«Бумагу, перо, чернил!» — стремительно ответил Кампанелла, когда друзьям удалось найти тюремщика, согласного передать ему самое необходимое. В первый миг, когда у него в руках оказалось, чем писать и на чем писать, он растерялся. Рука, которой он держал перо, дрожала. Накопилось столько мыслей. С чего начать? Что записать прежде всего, пока не отняли бумагу?

Кампанелла решил записать несколько важнейших мыслей. Фундамент постройки, давно возведенной в уме. Он не знает, будет ли у него время, достанет ли сил, чтобы возвести ее до конца, но краеугольные камни должны быть положены. Твердо. Прочно. Навеки.

Гражданам Государства Города Солнца удивительно, что в иных странах, пишет Кампанелла, мастеров считают неблагородными, а благородными считают тех, кто не знает никакого мастерства, ничего не умеет делать, живет праздно и держит множество слуг для своей праздности и распутства. Разве справедливо, что одни люди занимаются только ремеслами, а другие — только науками? В Городе Солнца занятия науками и ремеслами являются общими для всех — для мужчин и для женщин. Кампанелла подумал о том, что эти строки особенно поразят его читателей: где это видано, чтобы женщины занимались науками? У людей слишком короткая память! Они забыли об ученых женщинах древности, о славной Гипатии

например! Но сейчас не так важно доказать, что женщины могут быть учеными, как сказать о другом.

Кампанелла представил себе женщин на виноградниках и огородах, их старость, наступающую к тридцати годам. И он написал: «Наиболее тяжелые ремесла и загородные работы исполняются мужчинами так: пахота, сев, сбор плодов, молотьба, да и сбор винограда». Мысль эта, подсказанная воспоминаниями о собственной матери, о рыжеволосой соседке, которая так рано увяла, казалась ему очень важной. Он решил развить ее, особо указав, какие работы можно поручить женщинам: тканье, пряденье, шитье, изготовление лекарств. Всякому рассказу верят тем больше, чем больше в нем подробностей. И он добавил, что в Городе Солнца женщины занимаются также стрижкой волос и бород — женщины-цирюльники! О таком никто в Италии не слыхивал! Какое недоумение вызовет эта невинная строка у тех, кто обращается к брадобреям, и в какую ярость придут сами брадобреи! Ну что ж, не все же быть серьезным. Можно и позабавиться.

Чем прочно и почему богато государство соляриев — Город Солнца? Тем, что его граждане всякую нужную работу считают почетной и не стыдятся ее, как не стыдятся члены человеческого тела тех обязанностей, что возложены на них природой. Каждый, на какую бы службу не был назначен, исполняет ее как самую почетную. Рабов, развращающих нравы, у них нет; они в полной мере обслуживают себя, и даже с избытком. Все трудятся не так, как, например, в Неаполе, где часть неаполитанцев надрывается на непосильной работе, а другая — бездельничает, причем бездельничают не только богачи, но и развращенные ими прихлебатели.

В Городе Солнца, писал Кампанелла, и от этих простых слов у него чаще билось сердце, обязанности, художества, труды и работы распределяются между всеми… Как прекрасно поставить рядом эти слова — *обязанности, художества, труды.* Если трудятся все, трудятся на совесть, то каждому приходится работать не больше четырех часов в день! Что же делать людям с тем свободным временем, что останется у них от обязательных дел? Кампанелла написал об этом, думая, как он сам занял бы свободное время. Остальное время, писал он, проводится в приятных занятиях науками (что может быть приятнее, чем заниматься науками!), собеседовании, чтении, письме, прогулках, развитии умственных и телесных способностей, Он помедлил над этими словами, а потом приписал: все это делается радостно. Это важно! Разве не встречал он людей, которые изучают науки, мрачно насупив чело, будто тяжелую ношу несут, беседуют через

силу и книги читают нехотя. Нет, в Городе Солнца все делается радостно.

Он и сам трудился сейчас радостно.

Но тут работа обдумывания, записывания, оттачивания мыслей и слова — несказанное наслаждение! — была прервана.

Процесс возобновился и принял новый оборот. На место покойного епископа Термоли в трибунал был назначен епископ Казерты. Его преосвященство изволило заметить:

— Я не дам, подобно своему предшественнику, уморить себя этим процессом. Суд должен быть не только правый, но и скорый. Пора заканчивать! Все упирается в мнимое безумие Кампанеллы? Надо окончательно уличить его! Мы не позволим водить нас за нос!

Уличить должна новая пытка. И если прежние оказались недостаточными, надо применить более сильную. Пока Кампанелла наслаждался воображаемым путешествием по площадям и улицам Города Солнца, для него подбирали пыточное устройство, которое окончательно сломит его волю.

По обычаю, застенки в Кастель Нуово — под землей, в подвалах. Для тишины. Иногда сквозь каменные своды доносятся такие вопли, что люди, их услышавшие, бледнеют и крестятся. На это комендант смотрел философски. Нет такого камня, через который не проник бы голос человека, попавшего в умелые руки. А какая в том беда? Другим назидание. Иной среди ночи услышит такое — готов. Приведут его завтра на допрос, он все скажет без пытки: и самому легче, и возни меньше. По той же причине в застенок водили и из застенка волокли открыто — по коридорам и дворам, так, чтобы это видели другие арестанты. Нам скрывать нечего. У нас все по закону.

Комендант слышал от человека, поездившего по свету, что на севере, в Германии, в ходу не то шестьдесят, не то семьдесят видов пытки. Есть ли в таком разнообразии смысл? Комендант Кастель Нуово придерживался старинных взглядов. Дай хорошему мастеру в руки хороший инструмент, толково объясни, что от него требуется, и он без варварских ухищрений прекраснейшим образом добьется своего. А инструменты в Кастель Нуово — можно не хвалясь сказать — образцовые. Лучшими ремесленниками сработаны. На совесть. Знали, для кого работают. Опасались не угодить. В порядке содержатся очаги — большие и малые. Малые — для накаливания щипцов, большие — чтобы подвешивать над ними допрашиваемого, когда приходится подпечь ему пятки. В достатке простые, но необходимые вещи, веревки например. Ими привязывают голову к ногам, вставляют между веревками палку и вертят так, что голова пригибается к

пяткам, а позвоночник трещит. А вот штука, вывезенная из Мадрида. Когда-то считалась новинкой, потом вошла в обиход, только названием напоминает, откуда она родом, — «испанский сапог». Сапог из железа, внутри гвозди. Когда снаружи завинчивают винты, гвозди впиваются в ногу. Чтобы построить такой башмак, нужен искусный слесарь. Но обычные деревянные тиски тоже вполне хороши, ежели зажать в них пальцы или защемить кожу. Ну, конечно, главное устройство в застенке — дыба. Комендант Кастель Нуово гордился своими застенками и требовал, чтобы в них был порядок: чтобы кровь с каменных полов смывали, чтобы лиловых мясных мух — такие бывают на бойнях, — неведомо откуда забиравшихся в пыточные помещения, истребляли, они мешают судьям и протоколистам, чтобы всегда на месте были песочные часы — проверить, сколько времени длится истязание, чтобы было приготовлено все, чем судьи могли освежиться, утолить жажду, чтобы могли они перекусить…

Все, что можно испытать в этом образцово содержащемся месте, Маврициий, а затем и Кампанелла испытали.

Воображение европейцев, побывавших на Востоке; поразила казнь, которую они повидали, — посажение на кол. Она влекла за собой смерть долгую и необыкновенно мучительную. Рассказы об этой казни были со временем забыты. Только не инквизицией. Здесь бережно относились ко всему, что можно применить для пользы святого дела. Посажение на кол служило на Востоке для умерщвления. Этого инквизиции не требуется. Опытные механики по приказу инквизиции усовершенствовали восточное изобретение. Придумали систему блоков, веревок, расчалок, которые поддерживают пытаемого и позволяют то чуть приподнимать, то чуть опускать тело, насаженное на кол. Столяры это приспособление построили. Опыт позволил рассчитать, сколько времени держать пытаемого на колу, чтобы он не умер преждевременно. Изобретение, заимствованное на Востоке, было соединено с принудительным бодрствованием, от которого у человека мешаются мысли и слабеет воля. Впрочем, на колу не заснешь! От прежней пытки взяли ее мирное название «Велья» — «Бодрствование». Пугающих названий инквизиторы избегали, предпочитая безобидные иносказания.

Когда Кампанеллу привели в застенок, все судьи были в сборе. На председательском месте вместо Трагальоло сидел епископ Казерты, немолодой, тучный, добродушный человек. Он посмотрел на приведенного с любопытством. А Кампанелла уже понял, что его ждет. Хитроумное устройство — заостренный, блестящий, словно отполированный кол, блоки и веревки,

главный палач, хлопотавший подле гнусной машины, не оставляли сомнения. Тело узника пронзила ледяная боль предчувствия, она стянула все внутри, перехватила дыхание, чуть не остановила сердце. Не вырваться, не убежать, не уйти. Даже голову не разбить о стену.

Далее все шло по заведенному. Его увещевали. Вначале спокойно, потом угрожающе. Он, продолжая играть роль безумного, не отвечал вовсе или отвечал невпопад. Судьи приказали палачу начать пытку. Кампанеллу раздели догола. Истерзанное, исхудавшее тело покрылось гусиной кожей озноба.

Скрип блоков, стоны, кровь. Вопрос: «Признаешься?» Приказания: «Признавайся!» Крики пытаемого, они дословно записываются протоколистами, хотя в этих криках нельзя уловить смысла: это обрывки молитв, какие-то стихи, странные заклинания. Голос епископа: «Продолжать!» Скрип блоков, еще более громкие стоны, тяжелое дыхание палача, кровь…

— Отвратительное зрелище, — сказал один из судей шепотом, наклонившись к другому.

Тот пожал плечами:

— Сам виноват. Вольно ему упорствовать…

Судьи поочередно выходили на воздух передохнуть, подышать. Утомленного палача сменил другой. Кампанелла терял сознание. Его окатывали водой, разжав стиснутые зубы, вливали ему в рот подкрепляющее питье.

— Можно продолжать! — весь день слышал Кампанелла. Смеркалось. В застенке зажгли факелы. Наступила ночь, «Бодрствование» продолжалось…

«Велья» длилась много часов подряд, Кампанелла, истекая кровью, не сказал ни одного слова, которое звучало бы разумно, и не признался в том, что притворяется безумным. Мысленно он твердил себе: «Выжить, выдержать!» Вспоминая эти часы, Кампанелла впоследствии написал: «В течение сорока часов я был вздернут на дыбу с вывернутыми руками, и веревки рассекали мне тело до костей, и острый кол пожирал, и сверлил, и раздирал мне зад, и пил мою кровь, чтобы вынудить меня произнести перед судьями одно только слово, а я не пожелал его сказать, доказав, что воля моя свободна».

Но время, когда Кампанелла напишет об этом, впереди, а пока что он повис на веревках, голова его поникла. Тюремный лекарь, набравшись духу, доложил их преподобиям — продолжение пытки означает неминуемую смерть допрашиваемого. Обидно было судьям согласиться на прекращение допроса, непереносимо обидно. Опять ничего не добились? Позволить и дальше дурачить себя этому человеку?

Впрочем, старые члены трибунала были отчасти довольны — пусть не думает епископ Казерты, что его появление изменит ход проклятого процесса.

Кампанеллу снова окатили водой, кое-как одели, притащили в камеру и бросили на койку. Он скоро впал в беспамятство. Бредил. Теперь ему не нужно было придумывать бреда. Сжигающий жар сам подсказывал бессмысленные слова. Лекарь бился, пытаясь остановить кровотечение. Ему приказали сделать так, чтобы Кампанелла выжил. Во что бы то ни стало. Легко сказать! Он отгонял от себя опасные мысли о тех, кто вначале двое суток убивал его пациента, а теперь требует, чтобы он спас беднягу.

Не вырвав у Кампанеллы признания, что он симулирует безумие, трибунал запросил мнение авторитетнейших врачей. Их познакомили с записями бессмысленных речей Кампанеллы, которые он произносил при посторонних, а также вполне осмысленных, тайно записанных слухачами. Врачи нашли, что это противоречие ничего не доказывает. У душевнобольных возможны моменты просветления. Врачи выслушали рассказы надзирателей, наблюдавших за Кампанеллой, осмотрели узника и попытались поговорить с ним. Заключение светил было уклончивым. Вероятно, симуляция. Образованный узник, осведомленный о душевных болезнях, допустил ошибку: в состоянии, которое он изображает, присутствуют признаки известных душевных болезней, которые, однако, вместе не встречаются. Но возможно, что он действительно болен. Заключение их недостаточно, чтобы окончательно изобличить человека, который не выдал себя, пытаемый «Вельей». Самой малости не хватает судьям, чтобы отправить узника на костер. Досадно!

Процесс отложили. А Кампанелла угасал. Ему не нужно больше изображать безразличие и неподвижность. У него нет сил ни говорить, ни двигаться. Его кормили теперь, по тюремным понятиям, хорошо. Но истерзанное тело с трудом принимало пищу. Он пребывал в забытьи. Лекарь полагал, что забытье это каждый день может перейти в сон, от которого нет пробуждения.

Кампанелла был настолько беспомощен и вместе с тем настолько необходим судьям, что они разрешили допустить к нему других узников, чтобы они ухаживали за ним. Первые дни Кампанелла не замечал, что он в камере не один. Потом заметил. Но отвечал новым соседям туманно, сбивчиво. Помнил историю разговора с Пьетро Понцио, записанного подосланными писарями.

Прошло несколько дней, и те из калабрийцев, что сохраняли

верность заговору и молились за Кампанеллу, который еще раз своей стойкостью спас их от окончательной гибели, узнали: Кампанелла пришел в себя. Просит бумагу, перо, чернила! И опять сквозь решетки и запоры Кампанелла получает единственное, что ему необходимо сейчас. Он не хочет умереть, не закончив своего завещания. Он не умрет, не закончив своего завещания! Такой радости он врагам не доставит.

…В жизни Кампанеллы много удивительного. Сын неграмотного сапожника, он в юные годы поражает людей огромной ученостью. Обитатель монастырей, он проявляет осведомленность в военном деле. Философ — пишет пылкие стихи. Но, быть может, самое удивительное — время после допроса, на котором он едва не погиб. Оно становится временем упорной работы над «Городом Солнца»…

Чтобы солярии равно уважали все ремесла и науки, размышляет Кампанелла, их нужно приучать к этому смолоду. Разве справедливо, что ему в детстве было так трудно получить образование, потому что отец его не мог платить за школу? А сколько детей в его родном Стиньяно, да и в других местах Калабрии остались невежественными, потому что их родители были бедны? В Городе Солнца все будет по-иному. Едва дети начинают ходить и говорить, их передают опытным воспитателям. Те занимаются с ними, играя, учат их азбуке, показывая им картины, чередуют занятия грамотой с прогулками и телесными упражнениями, учат их истории и языкам, естественным наукам, а когда дети подрастают — ремеслам. В Городе Солнца нет ничего похожего на тесную школу, у дверей которой когда-то стоял Джованни, глядя, как школьников учат розгой. Там учение в почете. Там сами стены города служат ему. Искусными художниками изображены на них деревья, растения, птицы, животные, математические фигуры, карты Земли, ремесла и их орудия, и показано, как этими орудиями пользуются разные народы. Дети любят разглядывать рисунки и задавать вопросы. Годам к десяти они без труда, играючи, узнают от наставников много полезного, наглядно знакомясь с науками.

Исхудавший от страданий, серый от потери крови, Кампанелла мечтает о юных соляриях, развитием которых так озабочены в Городе Солнца, чьи улицы превращены в огромный и прекрасный класс, где заниматься — удовольствие. Что позволяет соляриям так уважать все труды, необходимые для общего блага, все ремесла и науки, не завидовать друг другу, мудро воспитывать детей? Кампанелла заносит на бумагу давно обдуманные мысли, которыми пытался увлечь сторонников в пору проповедей на горе Стило. В Городе Солнца нет частной

собственности. Это она порождает неравенство и все беды. «Община, — пишет Кампанелла, объясняя суть устройства Города Солнца, — делает всех одновременно и богатыми и вместе с тем бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им». Не они служат вещам, а вещи служат им! Кампанелле легко написать эти прекрасные слова. Всю жизнь он стремился приобретать знания и никогда не старался приобрести вещи. Он не представлял себе, как бесконечно трудно убедить людей не хотеть своего, даже если они будут владеть всем необходимым.

Людям надо объяснить, как пагубны корысть и себялюбие. «Чтобы добиться для своего сына богатства и… оставить его наследником крупного состояния, каждый из нас или начинает грабить государство, ежели он ничего не боится, будучи богат и знатен, или же становится скрягой, предателем и лицемером, когда недостает ему могущества, состояния и знатности», — писал он. Грабить государство дурно, быть скрягой, предателем и лицемером гнусно. Как избавиться от всех этих пороков? Отрешиться от себялюбия! Но как сделать, чтобы оно не возникало в людях? Откуда у людей такая привязанность к собственному? Он рассуждал так: собственность образуется у нас потому, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Кампанелла никогда не имел ни дома, ни жены, ни детей. Ему казалось, нет ничего проще, чем посоветовать всем отказаться от собственного жилища, жены, детей. Он простодушно писал: «…у соляриев жены общи и в деле услужения, и в отношении ложа…» Затем он стал рассуждать о том, как государство, сообразуясь с наукой, подбирает мужчин и женщин, заботясь, чтобы будущие дети унаследовали от них наилучшие качества: «Производство потомства имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц — лишь постольку, поскольку они являются частями государства; а так как частные лица по большей части и дурно производят потомство и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим, как за первой основой государственного благосостояния, вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за надежность этого может только община, а не частные лица».

Что может быть справедливее и разумнее этих мыслей, думал Кампанелла. Философ не подозревал, что века спустя тех, кто начнет строить новое общество, будут попрекать, утверждая, что у них жены общие, как к тому призывал еще Кампанелла. То, что написано, то написано. Кампанелла нашел прекрасные слова,

излучающие свет и радость, когда описывал улицы и площади Города Солнца, украшенные лучшими художниками. Он проникновенно сказал о том, как радостно жить в Городе Солнца, где все работы, ремесла и науки равно уважаемы, где женщины освобождены от непосильного труда, где люди обращаются друг к другу как члены одной большой, дружной, любящей семьи, где молодежь разумно и красиво одета, где по праздничным дням за общим столом звучит совершенное пение и прекрасная музыка, а по дням обычным — чтение вслух мудрых и увлекательных книг. Но он же написал, что один из правителей Города Солнца ведает деторождением и наблюдает за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. В его ведении — воспитание новорожденных, врачевание, изготовление лекарств, посевы, жатва и сбор плодов, скотоводство, стол и вообще все, относящееся к пище, одежде и половым сношениям. В его распоряжении наставники и наставницы, приставленные следить за этими делами. Делами! Какие рассудочные слова!

…Может быть, если бы Кампанелла четырнадцати лет не ушел в монастырь, если бы жизнь даровала ему счастье стать мужем женщины, выбранной по любви, стать отцом, испытать, что это значит — самому вместе с женой, которую любишь, растить и учить ребенка, иными бы стали эти страницы. Но об этом можно только гадать. Что написано, то написано…

Так он думал. Так верил.

Проходили дни, недели, месяцы. Процесс, о котором уже говорили как о чем-то вечном, все продолжался. Давно перестал принимать в нем участие Ксарава, умер епископ Термоли, так и не добившись изобличения Кампанеллы, сменялись цензоры-квалификаторы, изучавшие бумаги еретика, возникали и исчезали надсмотрщики, ушел на покой палач, некогда пытавший Маврикия, постарел Санчес де Луна, испортился характер у епископа Казерты. Он ни о чем другом не мог больше ни думать, ни говорить, кроме процесса. А калабрийцы, кроме тех, кто уже был казнен или умер, продолжали томиться в Кастель Нуово.

Неожиданно случилось то, что считалось невозможным. Двое обвиняемых по калабрийскому процессу исчезли из Кастель Нуово — один рядовой заговорщик и Дионисий Понцио — правая рука Кампанеллы. Для Кампанеллы это было потрясением. Дионисий не посвятил его в свое намерение бежать. Не смог? Из-под пера Кампанеллы вырвались горькие строки упрека другу. Прошло немного времени, и он успокоился. Может быть, Дионисий бежал для того, чтобы с воли устроить побег ему и другим узникам?

Кастель Нуово после побега преобразился. Поскакали

курьеры. Караулы были усилены. Заключенные посмеивались — какой смысл в усиленных караулах теперь! Несколько тюремщиков, прозевавших побег, сами превратились в заключенных. Арестанты припомнили им каждый пинок, каждую зуботычину. В городских трущобах шли обыски. Судам в гавани было запрещено сниматься со стоянки, трюмы обыскивали в поисках беглецов. Комендант поклялся живьем содрать с них шкуру. Но выполнить своей угрозы ему не довелось, зато пришлось давать объяснения вице-королю и услышать, что известны случаи, когда комендант тюрьмы сам становился ее обитателем. От огорчения и страха комендант слег. Когда стало ясно, что Дионисия и его спутника не разыскать, замять побега не удалось. О нем уведомили Рим и Мадрид. Пренеприятнейшая для неаполитанских властей переписка шла несколько месяцев.

Медленные колеса правосудия пришли в стремительное движение. Что подтолкнуло их? Недовольство вице-короля? Нажим Мадрида? Предписание папы, обращение к представителям церкви в трибунале? Все вместе.

Еще одно Рождество, еще один Новый год встретил Кампанелла в тюрьме. Он постепенно поправлялся. Только по ночам часто вскакивал от одного и того же страшного сна — ему виделся последний допрос и казалось, что он признался. Губы не хотели произносить тех слов, что требовали от него, но слова сами вырывались из его уст.

Задыхаясь, он просыпался на своем жалком ложе. Теперь, когда «Город Солнца» был вчерне завершен, он снова начал сочинять стихи. Он хотел блага прежде всего тем, кому было хуже всех, — самым бедным, самым обездоленным. С тех пор, как заговор был разгромлен, его часто мучила мысль: почему, когда начали хватать заговорщиков, народ, ради которого все было задумано, не пришел им на помощь? Если бы они могли рассчитывать не только на фуорушити, но на всех калабрийских крестьян и горожан, все было бы иначе. Народ не стал спасать тех, кто хотел помочь ему. Когда их, скованных, избитых, израненных, гнали через калабрийские деревни и города, никто не попытался выручить их. Даже слова сочувствия звучали редко. Но раздавались проклятия. Это страшнее всего. Многие в народе поверили всему, что говорили о заговорщиках. Как это понять?

Невеселые мысли подсказали Кампанелле один из самых горьких его сонетов.

Огромный пестрый зверь — простой народ.
Своих не зная сил, беспрекословно,
Знай, тянет гири, тащит камни, бревна —

Его же мальчик слабенький ведет.

Один удар — и мальчик упадет,
Но робок зверь, он служит полюбовно, —
А сам как страшен тем, кто суесловно
Его морочит, мысли в нем гнетет!

Как не дивиться! Сам себя он мучит
Войной, тюрьмой, за грош себя казнит,
А этот грош король же и получит.

Под небом все ему принадлежит, —
Ему же невдомек. А коль научит
Его иной, так им же и убит.

Чтобы народ стал не таким, каким он описал его в этом сонете, его надо просветить, объяснить ему, какой должна быть истинно счастливая жизнь, каким должно быть истинно праведное государство. О чем бы ни размышлял Кампанелла, он возвращался к «Городу Солнца».

Глава LXX

Кончилась первая неделя нового, 1603 года. За Кампанеллой пришли. Он едва успел спрятать бумаги. Стражники заставили его одеться, «как подобает». Как может придать себе подобающий вид человек в его положении? И что это значит — подобающий вид? Ему подобает рубище — одежда философов и святых.

В который раз его ведут через двор Кастель Нуово. Здесь ему знакома каждая плита. Над головой январское небо — сквозь белые облака проглядывает голубизна близящейся весны. Идти трудно. Каждый шаг отдается резкой болью внутри. Основательно его изувечили. Память об этом осталась навсегда. Что с ним будут делать сегодня? Снова терзать?

Нет, на сей раз его не допрашивают и не пытают. Его вызвали в трибунал, чтобы огласить приговор. На лицах судей удовлетворение. Они свое дело сделали. О сделанном доложили в Рим. Окончательное решение вынесла Святая Служба в Риме. Оно одобрено папой. Им выпала честь огласить решение высочайшей инстанции. Пытки, которые выдержал Кампанелла, не признав себя притворщиком, приговор оставлял без внимания. Вопрос о его безумии обходился молчанием. Противоречиями в показаниях других обвиняемых было пренебрежено. Зато все, что можно было обратить против Кампанеллы, было сведено воедино.

Уличенный в ереси брат Томмазо, по прозванию Кампанелла, приговаривался к пожизненному заключению «безо всякой надежды на свободу».

«Пожизненно» — отозвалось эхом под сводами зала и тяжелым камнем обрушилось на душу Кампанеллы. Приговор оглашен. Но судьи чего-то ждут. Чего? Что осужденный нарушит свое молчание? Что теперь, когда участь его решена, он отречется от еретических заблуждений? Будет благодарить судей, что ему сохранили жизнь. Признается, что обманывал высокий суд? Будет молить о милости? Пожизненно — это не лучше смерти. Кампанелла ничего не сказал. Он молчал, когда его уводили, так же, как молчал, когда его привели сюда. Судьи расходились со странным чувством. Им недоставало полного удовлетворения, которое испытываешь, завершив долгий и праведный труд. Один из них заметил, что Кампанелла легко отделался. Будь бы жив епископ Термоли, гореть бы еретику на костре. Другой сказал, что в мягкости приговора — неизреченная мудрость и доброта его святейшества папы. Им, верным слугам церкви, не подобает обсуждать того, что взвешено, решено, одобрено в Ватикане.

По-разному обошелся суд с другими заключенными. Мирян

— участников заговора, оставили в тюрьме, их дело считалось незаконченным. Духовные лица — монахи и священники были после многих лет заключения освобождены. Однако освобождение было неполным. Им предписывалось находиться там, где укажет суд, чтобы их можно было в любое время потребовать для продолжения следствия. Они повинны уплатить большой залог. Хорошо тому, у кого есть друзья и родные, которые его внесут. А как быть остальным? В такие подробности приговор не вникал. Тяжелой оказалась судьба то признававшегося, то отрекавшегося от признаний Петроло. Его приговорили к галерам. Напрасно вопил он, что виноват менее других, тщетно напоминал, как помог своими разоблачениями высокому суду. Стражники выволокли его из зала. Закованный в кандалы, он был уведен из Кастель Нуово. Никто не помахал ему рукой, некоторые плевали ему вдогонку. Сколько времени пробыл он каторжником, был ли освобожден или умер, прикованный к скамье галеры, задыхаясь от духоты трюма и тяжести весла, никто не знает. Петроло навсегда и бесследно ушел со двора Кастель Нуово и из жизни Кампанеллы.

Глава LXXI

Томмазо Кампанелла, бывший подследственный, превратившийся в осужденного государственного преступника и еретика, возвращен в камеру. Можно поразмыслить над своей судьбой. Через несколько месяцев ему исполняется тридцать пять лет. В тюрьмах он в общей сложности провел шесть лет. Все оставшиеся годы, — а кто знает, сколько их осталось? — ему предстоит быть узником. Некоторые считают — ему посчастливилось. Мог умереть в застенке. Мог быть приговорен к смерти. Мог сойти с ума. Воздай хвалу милосердному богу, что этого не случилось! Сражение во имя свободы своего края, а потом всей Италии он проиграл. О жертвах — погибших, замученных, убитых, оторванных от родных и близких, находящихся в тюрьмах, — страшно думать. Их много. Он не может помочь им. Не может доказать тем, кто жив, что все было не напрасно. А может, напрасно? Мысли об этом мучают его днем, не оставляют ночью. Что дальше? Он не в силах больше притворяться безумным. Да и какой в этом смысл? Трибунал в его болезнь не верит. Однако и сразу отказаться от тягостной роли опасно. Приговор подразумевал, что дело о заговоре завершенным не считается — Кампанеллу могут в любой момент вновь потребовать к ответу, и ничто не помешает вице-королю добиться смертного приговора.

Когда читали приговор, Кампанелла едва слышал секретаря. На минуты он словно глохнул. Только теперь, в камере, у него в сознании стали всплывать слова приговора. Кажется, там говорилось, что пожизненное заключение Кампанелла должен отбывать в римских тюрьмах Святой Службы. Тут было над чем задуматься! Перевезенный в Рим, он уйдет из-под власти испанцев. Для них он не столько еретик, сколько бунтовщик против их владычества. Но Святая Служба в Риме может снова заняться всеми его прежними прегрешениями против церкви. Все-таки, пожалуй, лучше оставаться в Неаполе. В Кастель Нуово он знает всех. И его знают все. Он здешняя достопримечательность, им гордятся солдаты, стражники, надзиратели. О нем наслышаны все заключенные. Здесь даже в самое трудное время он находит возможность передать и получить записку. В Неаполе у него друзья. Может быть, их хлопотам обязан он тем, что жив. В Риме он окажется один на один со Святой Службой. Ненависть Мадрида и ненависть Ватикана. Рим или Неаполь? Что выбрать? Разве он может выбирать? Разве от него что-нибудь зависит? Что может сделать человек, оказавшись на горной дороге в запертой

карете, если кучер пьян, а лошади понесли? Именно такую карету напоминал ему мир, в котором он живет. Так что же может этот человек? Пересаживаться с сиденья на сиденье? Выбраться из кареты, столкнуть кучера с козел, схватить вожжи в свои руки? Это прекрасно, но, увы, невозможно! Значит, ему остается одно — сохранять достоинство. Может быть, лошади не разнесут карету, может быть, кучер протрезвеет. Может быть, карета не рухнет в пропасть.

Глава LXXII

Нелегко устремляться мыслью к сложнейшим проблемам философии, возноситься воображением в мир небесных светил тому, кто еще помнит, как корчился на колу. Трудно заставить себя забыть о том, что его пожизненный удел — тюремная камера. Эта ли, другая ли, все равно — до конца жизни толстые стены, двери на запоре, глазок в дверях, решетка на окне. Он глядит на бумагу, держит перо и ловит себя на том, что мысли его снова в застенке и перед мысленным взором — судьи, протоколисты, палачи. Картина пострашнее Дантова ада. Теперь он может судить об этом — он побывал в земном аду! Хватит того, что видения эти мучают его, терзают, душат ночами. Днем он должен их победить, он может их победить, он их побеждает. Философствовать — значит учиться умирать, говорили древние. Но почему же умирать? Чем больше размышляет он над тем, как устроена Вселенная, тем больше он верит, что смерти нет. Жизнь каждого человека связана с жизнями других существ, со всей природой. Разве мы знаем, чем мы были в материнской утробе и в отцовском семени? Разве мы помним, что были когда-то хлебом, из которого произошла наша кровь? А ведь прежде того мы были травой, из которой родился хлеб! Окружающие нас вещи, которые составляют физический мир, постоянно изменяются и превращаются друг в друга.

С чем сравнить это? Кампанелле, неутомимому читателю, вдруг пришло на ум сравнение, точнее не придумаешь! Как типографский шрифт постоянно употребляется для набора новых страниц и постоянно рассыпается снова на буквы, так все существующее в телесной оболочке подвергается превращениям. Не думай о смерти, что она — только конец. Смерть одного служит зарождению многих, и из многих смертей рождается и новая вещь и новое тело. Не надо страшиться смерти. Не надо утешаться загробной жизнью! Бессмертие в том, что жизнь едина. В человеческом теле хлеб умирает и оживает вновь, превратившись в человеческую кровь, а кровь становится плотью и жизненным духом. Так многочисленные страдания, наслаждения, жизни и смерти создают жизнь нашего тела. Нам предшествует не одна жизнь одного организма, нас породившего, но поток жизней. И, умирая, мы оживаем в этом потоке. Поток жизни бесконечен! В нем сливаются бессчетные жизни и смерти, и все эти превращения составляют жизнь мира. Ничто не умирает. Бог, каким его представлял себе Кампанелла, не позволяет умереть тому, чему он однажды дал бытие! Надо додумать эту

мысль до конца — она великое утешение. Кажется, он снова пришел к ереси? Он не может жить, не размышляя, а размышления неизбежно приводят мыслителя к тому, что принято считать ересью.

Иным людям, чтобы ощущать себя счастливыми, нужны роскошные дома, дорогие одежды, обильные пиры, шумная слава, восхваления льстецов, некоторым — власть, которая дает все: и роскошные дома, и дорогие одежды, и обильные пиры, и восхваления льстецов, и шумную славу. Кампанелла счастлив тем, что у него не отбирают пера и бумаги, вечером дают светильник, не препятствуют писать. А уж если друзьям удается добиться свидания с ним — это радость безмерная!

Разрешение было однажды дано дель Туфо-младшему, Джованни Джеронимо. Дель Туфо вошел в Кастель Нуово с письменным дозволением важного лица и все-таки не смог преодолеть внутренней дрожи, когда перед ним отворились и со скрипом затворились ворота тюрьмы. Представилось вдруг, что ворота закрываются за ним навсегда. По двору, воркуя, ходят голуби, скачут воробьи. На дворе играют замурзанные дети. Но каждый шаг по этому не раз залитому кровью двору труден.

Джованни едва поверил, что перед ним Кампанелла. Казалось, они последний раз виделись не несколько лет назад, а десятилетия. Его встретил глубокий старик. Движения Кампанеллы затруднены и, по-видимому, причиняют ему страдания. На изрезанном морщинами лице резко выступили скулы. Страшный плуг вспахал эту плоть! Кампанелла сильно сутулился и казался еще коренастее, чем прежде. Тонзура его давно заросла, черные волосы поредели и поседели. Не изменились только глаза — огненно-черные. Они приковывают к себе взгляд собеседника, завораживают — недаром их побаивались суеверные люди. И голос остался прежний — сильный, глубокий голос оратора, проповедника, учителя, созданный для того, чтобы убеждать.

Дель Туфо спросил, какие у Кампанеллы надежды. Тот отмахнулся. Какие надежды! А вот желания есть — он хочет получить книги, он хочет передать на волю свои рукописи. Джованни обещал доставать книги, поколебавшись, согласился вынести сочинения Кампанеллы и позаботиться об их судьбе. Начать надо с того, которое покажется наименее опасным, если попадет в чужие руки. Кампанелла усмехнулся: ересь можно найти в каждом его сочинении. Если дель Туфо опасается, он не станет подвергать его тревогам и риску. Он был несправедлив к молодому другу. Тот твердо решил помочь Кампанелле всем, что в его силах, а если поколебался, то кто не поколебался бы на его

месте? Рукопись была вынесена благополучно — недаром фамилия дель Туфо принадлежала к самым чтимым в Неаполе. Джованни еще не раз посещал Кампанеллу.

За стенами тюремного замка стали известны новые стихи узника, доставленные на волю дель Туфо. У Кампанеллы была пора, когда после полупризнаний, вырванных прежними пытками, он написал немало мрачных строк. Он горько каялся в этой своей слабости, писал, что оказался недостойным своего пророческого предначертания, у него даже один раз вырвался вздох: «Бедный Кампанелла!» Теперь, когда он прошел через бесконечные месяцы игры в безумие, когда он выдержал сорок часов «Вельи» — самоуважение вернулось к нему. Джованни Джеронимо дель Туфо поразился тем, какая гордость и какая воля звучали в новых стихах Кампанеллы. Он писал, что, побывав в преисподней — в пыточном застенке, поправ самоё смерть, он видит, что в его судьбе осуществилось то, во что он верил. Муки, которые он претерпел, подтверждают его высокое предназначение. Он освободился от ада телесных мук, однако бездействие в темнице тоже мука. Достаточно ли одной мудрости, чтобы изменить мир? Нет! Для этого нужна сила. Если ты снова придешь в мир, Господь, восклицает Кампанелла, приходи вооруженным! А сам он, пророк, посланный Богом, в темнице не может достать оружия. Его оружие — мысль!

Иногда им овладевают усталость, сомнения, горечь, боль. Тогда он снова осуждает мир, где выживает лишь тот, кто притворяется глупцом, где мудрость надо таить за плотно закрытыми дверьми, а на людях рукоплескать безумным речам и делам.

Тяжело было сообщать Кампанелле известие, которое однажды принес дель Туфо, но промолчать нельзя. В Риме Конгрегация Индекса готовит окончательный запрет всех сочинений Кампанеллы. Печатных и рукописных. Тех, что уже написаны. И тех, которые он еще собирается написать. Дело за последними формальностями. Сочинения Кампанеллы попадут в один список вместе с трудами несчастного Джордано Бруно. Это имя посетитель произнес, невольно понизив голос.

— Оказаться в одном списке с Бруно — великая честь! — проговорил Кампанелла и улыбнулся. Дель Туфо вздрогнул — невероятной была улыбка на этом лице. Казалось, она пришла на него с другого лица, из другой жизни.

Странной была эта пора в судьбе осужденного. В ней все то и дело менялось, как в природе в пору самой переменчивой погоды. Кампанелле то делали поблажки, то лишали их, например, запрещали писать, держали то в общей камере, то в одиночке,

свидания то позволяли, то отменяли. Заранее предугадать эти перемены невозможно, но они позволяют судить о том, что происходит за стенами Кастель Нуово. Идет дипломатическая игра между Римом и Мадридом, веют едва уловимые веяния при дворе вице-короля, доносятся слухи о том, что Кампанелле собираются устроить побег, или о том, что его имя вызвало интерес за пределами Италии. И все это отражается на его положении, определяет, как его накормят, сколько масла дадут для светильника, спать ему на постели или валяться на полу, станут пинать его надзиратели, выполняя приказание: «С ним впредь построже», или не станут. Он — малая песчинка между могучими колесами. Колеса эти хотели смолоть его в пыль. Не смогли. Не смогли! И теперь эта стойкая песчинка при каждом новом повороте государственных и церковных колес напоминала о себе, а они отвечали, то усиливая давление на песчинку, то пытаясь сделать нечувствительной эту помеху смазкой поблажек. Не давал Кампанелла забыть о себе, никак не давал!

Однажды в Кастель Нуово появились новые арестанты — богатые чужеземцы, судя по платью. Они плохо говорили по-итальянски и не могли взять в толк, почему очутились в тюрьме. История была действительно необычная! По Неаполитанскому королевству инкогнито, но со свитой, путешествовал князь из Германии — Иоганн фон Нассау. Соглядатаи заподозрили в иностранцах врагов испанской короны. Немцев схватили и отправили в Кастель Нуово. Появление новых соседей — это была пора послаблений, когда Кампанеллу перевели в общую камеру, — да еще таких необычных, — событие! Особенно если новички люди много путешествовавшие, много повидавшие.

Кампанеллу издавна интересуют немецкие дела. Дела сии столь запутанны, что, пытаясь их изложить, новые знакомцы весьма в том затрудняются, то и дело начинают спорить между собой. По ожесточенности споров видно, какое разномыслие царит у них на родине. Кампанелла делает вывод, подтверждающий его прежние предположения: множество мелких государств, свои правители, свои законы, свои суды и налоги в каждом — бедствие для нации. Изумленные немцы выслушивают блистательную лекцию о едином всемирном государстве, управляемом по законам разума. В свите Иоганна фон Нассау были люди весьма образованные. Им представляется — они не в тюрьме, а на форуме, где к ним держит речь великий государственный муж и пламенный оратор, неизвестно почему одетый в тюремное рванье.

Отвлекшись от высоких государственных проблем, Кампанелла просветил новых соседей относительно порядков в

тюрьме. Не зная их, останешься голодным, окажешься на худшем месте в камере или, чего доброго, попадешь в беду, разговорившись с тем, с кем говорить не следует. От него они узнали, какого надзирателя остерегаться, а какой безобиден, его можно попросить об услуге, поблестев монеткой. Он подсказал новым соседям, как подать весть князю Иоганну фон Нассау, в ком тюремщики почуяли знатного господина и поместили в покоях для важных господ, временно попавших в беду. Сколько и каких наук мог преподать им Кампанелла, а пришлось обучать тюремной… Вечером, располагающим к откровенности, Кампанелла потряс их своей историей. С ужасом и содроганием слушали они его рассказ о пытках, но оторваться от этого повествования не могли.

В таком неожиданном обществе Кампанелла провел несколько дней. Среди новых знакомцев оказались разные люди. Одних привлекли его пророчества о переменах в мире, других — жившее в тюрьме убеждение, что Кампанелла владеет черной магией. Третьим — среди них был человек молодой и восторженный, Христофор Пфлуг — было просто жаль Кампанеллу.

Путешественники из Германии провели в Кастель Нуово немного времени. Иоганн фон Нассау, попав в крепость, решительно, властно потребовал доложить о себе вице-королю и папскому нунцию. То была речь человека, привыкшего повелевать. Владетельный немецкий князь, один из оплотов католической церкви в Германии, был скоро и с подобающими извинениями освобожден, а с ним и его спутники. Когда они добрались до родных краев, рассказов о путешествии, особенно о том, как они попали в страшную крепость, какой ужасной опасности подвергались там, хватило надолго. И в этих рассказах неизменно появлялся их странный знакомец из Кастель Нуово. Сильнее всего, что они видели в Италии, поразила их встреча с Кампанеллой. Муки и мужество Муция Сцеволы превзойдены им! Столько лет проведено в заключении и сколько лет еще предстоит провести в нем, сколько перенес и сколько еще перенесет, а какая бодрость духа, какая ясность ума, какие великие планы! Рассуждает о движении небесных светил, как астроном, об устройстве государства, как умудренный политик, пишет стихи и трактаты. В камере его волнуют судьбы мира и строение Вселенной! Он полон надежд и свое будущее связывает с будущим своей страны, Европы, всего человечества. Удивительный человек, завораживающий, притягательный…

Христофор Пфлуг, расставаясь с Кампанеллой, прослезился и обещал, призвав имя Господа и всех святых, что никогда не

забудет его. И это оказалось большим, чем простая сентиментальность. Вернувшись на родину, Христофор Пфлуг стал рассказывать всюду и всем о великом человеке, томящемся в несправедливом заточении. Он упорно добивался аудиенции у князей и, задыхаясь от волнения, говорил о Кампанелле, моля заступиться за того, терпеливо высиживал в конторах купцов, имеющих дело с Италией, стараясь заручиться их обещанием помочь Кампанелле, писал бесконечные письма европейским банкирам. Он сделал имя Кампанеллы и его судьбу известной далеко за пределами Неаполитанского королевства. Христофор Пфлуг заслужил, чтобы его помнило благодарное человечество, ибо он донес до окружающего мира весть об узнике Кастель Нуово и, возможно, тем спас его жизнь.

Глава LXXIII

Джованни Джеронимо дель Туфо горько сожалел, что его помощь Кампанелле мала. Он может принести ему еду, от случая к случаю доставать книги, он с немалой опасностью для себя выносит рукописи Кампанеллы из тюрьмы и ищет путей, чтобы издать их. Но какая все это малость по сравнению с ужасом пожизненного заключения!

Молодой дель Туфо попробовал представить себе, что он приговорен к такому заключению. Не в Кастель Нуово. В собственном доме. Пусть кругом не будет тюремщиков. Лишь одно — невозможность выйти за пределы этих стен. От одной мысли об этом он стал задыхаться. Она непереносима. Но как помочь Кампанелле? Добиваться пересмотра приговора? На это уйдут годы. И нет надежд на успех. Итак, человек выдающийся, мыслитель замечательный, философ и поэт, приговорен к пожизненному заключению. Его окружает надежная стража. Его отделяют от мира каменные стены. Его держит там ненависть вице-короля. Приговор Святой Службы. Гнев папы. А что противостоит этим грозным силам? Сочувствие нескольких людей на свободе. Слава узника, становящаяся все более громкой. Но разве слава — сила? Требуется найти способ его освобождения.

Джованни дель Туфо размышлял долго, с кем-то, чьих имен история не сохранила, советовался. Наконец забрезжил свет. В тюремном замке содержался человек, о котором сказали: этот может помочь! Личность то была странная. Заключенный, он был лицом влиятельным. Камера его не запиралась. Еду он получал особую. То, что ему присылали с воли, надсмотрщики не проверяли. Вокруг него крутилось несколько арестантов на посылках. Иногда его вообще выпускали из тюрьмы. Поговаривали, что он обделывает деликатные дела для важных лиц, пользуясь связями с наемными убийцами — «брави» — и другими бандитами. Все это было подозрительно, но тюремная молва утверждала: «Он не предаст. Человек слова!»

Джованни дель Туфо устроили встречу с влиятельным арестантом. Держался тот с достоинством. О Кампанелле отозвался как о человеке великих странностей, но уважаемом. Возможность устроить ему побег обещал обдумать. Ему безразлично, кого вызволять из крепости — еретика, философа, поэта, хоть самого черта. Правила у него простые: сказано — сделано, за хорошую услугу — хорошая плата, за предательство — удар кинжалом предателю и месть его родне. А тюрьма, что ж, тюрьма на то и существует, чтобы убегать из нее. Он и сам бы

убежал, дела удерживают…

Джованни Джеронимо дель Туфо рассказал Кампанелле о плане побега. В нем было много сомнительного, но мысль о свободе кружила голову, отказаться было выше сил, Кампанелла согласился рискнуть.

Дель Туфо должен был прийти к нему на свидание, условиться о последних подробностях, сообщить время побега, назвать надзирателя, который оставит незапертой двери камеры. Не пришел. Не было его и на следующий день. Испугался? Все оказалось куда хуже. Дель Туфо арестован! Он уже не посетитель Кастель Нуово, а заключенный. Неосторожность? Предательство? Этого Кампанелла так никогда и не узнал. Через некоторое время Джованни Джеронимо дель Туфо выпустили — у властей не было против него прямых улик, ничего, кроме смутного слуха. Того, кто обещал устроить побег, вообще не тронули. Задаток, данный ему, пропал. Такие задатки не возвращают. Скоро и сам влиятельный заключенный исчез из Кастель Нуово — освободили его или позволили ему бежать, кто знает.

Кампанелле было мучительно думать, что из-за него кто-то пострадал. Несколько недель, которые пришлось провести в тюрьме Джованни Джеронимо дель Туфо, невелика беда. Но тот, кто должен был встретить Кампанеллу за стенами тюрьмы, посадить его в лодку, вывезти из Неаполя, схвачен. Он ничего не сказал на допросе. Скорее всего, даже не знал имени Кампанеллы. Однако его судили. Приговор — каторга. Больше никаких попыток, которые могут навлечь опасность на знакомых и незнакомых! А так как побег без их помощи невозможен, надо отказаться от самой мысли о побеге. Свободу придется добывать иначе!

Кампанеллу в связи со слухом о побеге почему-то не допрашивали. Однако опять — ни бумаги, ни чернил, ни книг. Опять одиночка, камера в башне, откуда даже тюремного двора не видно. Только небо в узком окошке да ласточки. Нет для узника зрелища притягательнее, чем вольный полет птиц. И печальнее.

Какой ущерб может причинить такой узник могучей испанской державе, ее владениям в Италии, вице-королю, сановникам, чиновникам, судьям? Какую опасность представляет он для папы? Заговор, задуманный им, подавлен, друзья казнены или в заточении, его пророчества забыты, он отрезан от мира. И все-таки сама мысль о нем не дает покоя сильным мира сего. Его существование их тревожит. Стены Кастель Нуово кажутся им недостаточно высокими и прочными, тамошние тюремщики недостаточно строгими.

Однажды к Кампанелле в неурочный час приходят надзиратели. Ничего хорошего их лица не предвещают.

— Собирайся!

Он не спрашивает, куда, почему, зачем. Ответа он не получит.

Ничтожно имущество заключенного. Листки бумаги. Обрывок веревки — он завязывает на нем узелки, чтобы не сбиться со счета дней. Молитвенник. Но даже этого взять не позволяют. Ему связывают руки. Плохой знак. По двору Кастель Нуово Кампанеллу проводят стремительным шагом. Но заключенные успевают его заметить.

«Уводят Кампанеллу!» — разносится весть по тюрьме. Никто не знает, куда и зачем. Тех, кто пытается приблизиться к нему, отгоняют. Настойчивых отшвыривают.

Как давно не видел он улиц Неаполя! Их заполняет толпа: живет, шумит, кричит, спорит, торгуется, попрошайничает. Только что закончилась служба в церквах. Мужчины, женщины, дети выходят из церковных дверей, обмакивают пальцы в святую воду, крестятся. Кампанелле кажется, что жителей в Неаполе стало больше, чем было. От пестроты толпы, шума, разноголосицы кружится голова. Трудно дышать. Затеряться бы в толпе, стать ее частицей, раствориться в ней — больше ничего не надо! Вот они, люди, которых он мечтает сделать мудрыми, сильными, гордыми, радостными, счастливыми, сделать соляриями, сыновьями Солнца. Неаполитанцы на миг останавливаются, пропускают конвой, глядят на него и тут же забывают. Мало ли арестантов проводят но улицам? Только оборванные мальчишки бегут за узником и его стражей да старая женщина провожает его долгим сердобольным взглядом. Хлопает в переулках на ветру пестрая рвань белья. Стучат молотки мастеровых. Громко выкликают свой товар разносчики орехов, сластей, плодов моря. Над толпой высятся башни Кастель Нуово. Черные тени от них падают на площадь и на толпу, перечеркивают залитые солнцем улицы.

Замок Святого Эльма, худшая из неаполитанских тюрем. Скрипучая тяжелая дверь. Крутая темная лестница. Его грубо толкают в спину. Кампанелла едва ухитряется удержаться на ногах.

— С новосельем! — насмешливо говорит грубый голос в темноте. Дверь затворяется. Злобно гремит замок. Кампанелла после дневного света ничего не может разглядеть. Потом глаза привыкают к полутьме.

Камера немногим лучше «ямы для крокодилов». Окна нет. Свет едва проникает через узкую щель в двери. Осклизлые стены. На полу подстилка из гнилой соломы. Пять шагов в длину, три в

ширину — все! Надолго он сюда брошен? Он гонит от себя мысль о сроке. Силится сохранить в памяти улицы города, по которым его только что провели, вид синего неба над головой, облик толпы, лица женщин, смех детей. Запаса этих звуков и красок ему должно хватить надолго. Он будет растягивать его, как крохи в голодовку, как капли влаги в засуху.

Глава LXXIV

Жил на свете мальчик Джованни. Любил смотреть на небо, следить за облаками, размышлять над тем, почему так удивительно меняется их обличье, наблюдать за пчелами, муравьями и звездами. Стоял у открытых дверей школы, ловил объяснения учителя. Жил на свете любознательный подросток, сосредоточенно внимавший наставнику. Покинул он отчий дом, разрываемый желанием повидать мир и тоской по тому, что покидает. Жил на свете послушник, потом молодой монах, брат Томмазо, дал обет служения богу, отрекся от мира, сосредоточился на постижении высоких истин, был терзаем жаждой знаний. Не мог забыть мира, из которого ушел. Страницы книг не заслонили покинутой жизни. Размышления о тайнах мироздания соединились в пытливом уме с тревожными мыслями о неустройстве земной жизни. О бедах родного края. Италии. Всего мира.

Он помнил о калабрийских крестьянах, с которых местные и испанские властители сдирают шкуру. На его родине даже на вступление в брак — налог. Люди платят государю за то, что производят на свет новых подданных, которых он будет обирать так же, как их родителей. Тот, кто задумал купить участок земли, и тот, кто продает его, платят государю по десять процентов уплаченной и полученной суммы… Нельзя пригнать в город ни одной овцы на продажу, чтобы не отдать городской страже целого дуката. У того, кто везет на рынок масло и хлеб, сборщики налога отнимают большую часть. Налоги, если сложить все вместе, превышают цену имущества, за которое их взыскивают. Право и закон подчинены испанской жадности. Каждый, даже если нет у него ни дома, ни поля и кормится он только своей работой, платит подать. За что? За то, что носит горемычную голову на плечах? Нет ни одной малости, будь то дары природы, будь то изделия ремесла, которая не была бы обложена налогами. И поборы эти растут из года в год. Люди разоряются, продают все, что имеют, ростовщикам или купцам, откупившим у короля право собирать подати. Крестьяне становятся батраками, чтобы заработать деньги на подать, а если не могут ее набрать, бегут из родных краев или вербуются в солдаты, покидая жен и детей. Но и солдатского жалованья они не получают в срок и умирают в отчаянии. А вздумай они роптать, их приговаривают к смерти как виновных в оскорблении его величества. Он думал о жизни этих людей, которая вся — тяжкий труд, вечное страдание, постоянный страх, и висит эта жизнь на волоске. А жаловаться на

нее — преступление…

В прежней жизни перед ним вставал выбор: служить наукам или поэзии. Но превыше науки и поэзии — борьба с несправедливостью. А может быть, все это можно соединить? Однажды он написал сонет, в котором сказал обо всем, ради чего живет.

Родился я, чтоб поразить порок:
Софизмы, лицемерие, тиранство,
Я оценил Фемиды постоянство,
Мощь, Разум и Любовь — ее урок.

В открытьях философских высший прок,
Где истина преподана без чванства, —
Бальзам от лжи тройной, от окаянства,
Под коим мир стенящий изнемог.

Мор, голод, войны, козни супостата,
Блуд, кривосудье, роскошь, произвол —
Ничто пред тою тройкою разврата.

А себялюбье — корень главных зол —
Невежеством питается богато.
Невежество сразить я в мир пришел.

Был молодой ученый, пришедший в мир, чтобы сразить невежество, изумлявший старших и более опытных обилием знаний и смелостью ума. Был пламенный проповедник Кампанелла — Колокол, чьи речи завораживали людей. Был решительный заговорщик, столь же смело замахнувшийся на могущественную испанскую монархию, как некогда замахивался на ученые авторитеты. Был государственный преступник и еретик, которого преследовали, уличали, изобличали, пытали, ломали и не сломали соглядатаи, судьи, палачи, надзиратели. Был узник, остававшийся мечтателем и мыслителем, ученым и поэтом. И все это вместилось в три с половиной десятка лет — половину земной жизни. А ему казалось, что прожил он несколько бесконечно долгих жизней. Босоногое детство смутно виднелось в туманной дали. Он с трудом вспоминал, как пахло в родном доме, какой на вкус была еда его детства, как выглядела мать, как звучал ее голос — голос женщины, которая родила его, баюкала в колыбели, прикладывала ему прохладную ладонь ко лбу, когда он горел в лихорадке. Бедная мать, он причинил ей столько горя! Нестерпима была мысль о родных и друзьях,

претерпевших из-за него такие беды. Он привык все додумывать до конца, но эту мысль гнал от себя, а она возвращалась — его самая злая мука.

Были долгие споры с образованными людьми, были дороги, по которым он прошел молодым и свободным, была девушка, она плясала завораживающий танец и долго снилась ему потом. Были тихие библиотеки и шумные городские площади. Была острая радость, когда он взял в руки свою первую книгу, были высокие восторги вдохновения, были дерзкие планы, прозреваемое будущее, казавшееся таким близким, таким возможным… Было, было, было…

А теперь пять шагов в длину — мокрая осклизлая стена. Три шага в ширину — мокрая осклизлая стена. Склепы и то просторнее! И даже когда он делает эти шаги, у него на ногах цепи. Тем, кто держит его здесь, кажется — каменных стен недостаточно. Можно зажать тело между каменными стенами, можно сковать руки и ноги цепями. Можно ослабить и без того истерзанное тело голодом. Но горстка мозга продолжает жить, думать, даже мечтать. А живая душа живет.

Ученый забывает, что он узник, и размышляет над смыслом вещей. У него был трактат об этом. Его отняла Святая Служба. Отняла? Он вспомнит его, а когда будет можно, напишет снова. Поэт складывает в уме стихи. Канцону о презрении к смерти. Он пламенно любит жизнь, но ему нужно воспитать в себе презрение к смерти. Даже в пыточном застенке она не угрожала ему так, как сейчас в Замке Святого Эльма. Никто и ничто не помешает его врагам расправиться с ним в каменной могиле. Никто не узнает, никто не услышит! Будет сказано: узник Томмазо, нераскаявшийся еретик, скончался в камере. А причина? Найдется! Например, болезнь сердца.

Когда-то, когда он выбирал свой путь, он думал о Геракле на распутье. Теперь ему вспоминается Прометей. Эти два образа связаны: Геракл освободил Прометея. Но прежде тот бесконечно долго был прикован к скале в горах Кавказа. Каждый день орел прилетал терзать Прометея. Таков приговор богов. За то, что Прометей хотел блага людям, научил их пользоваться теплом и светом огня, открыл им ремесла и науки, показал, как плавать под парусами по морям, помог им приручить коней, дал им лекарства, сделал легче и лучше их тяжкую жизнь. Кто еще может так понять Прометея, как Кампанелла? Кампанелла складывает в уме сонет «Кавказ», сравнивает свою тюрьму со скалой, к которой был прикован титан, а себя — с Прометеем.

Однако у самого мужественного, у самого стойкого бывают дни отчаяния. Знал их и Кампанелла. Однажды ему показалось,

что он больше никогда не увидит солнечного света, лесной зелени, горных вершин, не вдохнет чистого воздуха, не встретится с друзьями. Он не смог справиться с ужасом. В тот день он написал «Канцону покаяния». Он говорил в ней, что хочет примириться с миром и богом. Может быть, это спасет его? Немало времени ему понадобилось, чтобы справиться с приступом черной тоски и слабости.

В непроглядно-темной камере он написал стихи о Солнце. Оно растопляет лед и оживляет ручьи. Оно пробуждает соки в стволах деревьев, гонит их листья и цветы, пробуждает в цветах жажду стать плодами. Оно озаряет и согревает весь мир!

Строжайшими запретами и предписаниями окружена камера Кампанеллы в Замке Святого Эльма. Он и мечтать не может о свидании с друзьями и даже не знает, помнят ли они его. Охранять его назначают самых тупых, самых надежных стражников — власти знают: Кампанелла способен заставить слушать себя и помогать себе.

…Много загадочного в судьбе, за которой мы следуем. Не все свидетельства уцелели. В уцелевших не все понятно. Как объяснить, что в каменном мешке Замка Святого Эльма, несмотря на строжайшие запреты властей, Кампанелла через некоторое время получил перо и бумагу? Чье сердце он тронул, кого привлек на свою сторону? Врача, изредка приходившего убедиться, что он еще жив? Безвестного солдата? Священника? Кто бы он ни был, этот неведомый человек, он заслуживает вечной благодарности потомков…

Горит в темной камере крохотный язычок пламени над светильником. Слабого дуновения достаточно, чтобы задуть его. Но все-таки горит! Но все-таки светит! Великая отрада глядеть на этот живой огонек. Еще большая — писать при нем.

Невозможно перечислить все, что написал Кампанелла в тюрьме Святого Эльма. Прежде всего — бесконечные письма о собственной судьбе. Он хотел добиться оправдания и освобождения. Он сулил открыть вице-королю, если будет освобожден, тайну столь мудрого управления Неаполитанским королевством, что, даже сократив налоги, государство обогатится, подданные станут процветать и надобность в суровых наказаниях отпадет. Письмо Кампанеллы старательно переписано тюремным писарем. Не подашь вице-королю бумагу, от которой разит камерой, на которой следы грязных рук арестанта. Писарь дивился, что узник не молит о смягчении своей участи, а обещает дать мудрые советы вице-королю. Может быть, узник прав? И он не преступник, а мудрец? Разве и прежде пророков не побивали каменьями, не объявляли безумными, не заковывали в цепи?

Писарь пугается своих мыслей, они не доведут до добра. Но того, что он переписывает, забыть он уже не может. Еще более опасная мысль приходит ему в голову: не снять ли украдкой копию для себя? Странные мысли рождаются иногда в головах послушных, незаметных и робких слуг власти.

Вице-король пришел в такую ярость, в какой его редко видели, — жалкий кандальник из вонючей дыры осмеливается учить государственной мудрости испанского вельможу!

Ответом были новые строгости. Но Кампанелла продолжал писать. Он принялся за большие сочинения «Испанская монархия» и «Монархия Мессии».

…С этими сочинениями связано то, что в позднейшие времена назовут загадкой Кампанеллы, его парадоксом. Действительно, они и загадочны, и парадоксальны. Кампанелла красноречиво доказывает, что он не враг, а приверженец испанской монархии. Было время, когда это объясняли просто: узник, приговоренный к пожизненному тюремному заключению, пытается добиться освобождения, стараясь обмануть тех, кто держит его в неволе. Кто осудит его за это?

Однако свободы Кампанелла таким путем не добился. Не добился потому, что упорно развивал свои взгляды, которые в главном остались неизменными. Они выражали его мечту о политическом перевороте, о социальных преобразованиях не только в Калабрии, Неаполитанском королевстве, Италии, но и во всей Европе, а затем и во всем мире. Народ, ради которого он и его друзья прежде всего задумали свой заговор, не поддержал их по-настоящему. Раз не сбылась эта надежда, может быть, теперь ее осуществит могущественная власть? Когда-то в Падуе он в своих обращениях к государям надеялся, что единое, разумное и справедливое государство может возглавить папа, опираясь на сенат, избранный из достойнейших. Теперь ему показалось, что можно подвигнуть на это испанское королевство.

Кампанелла не молил испанского короля о прощении и пощаде, не заискивал перед ним. Он как равный давал ему советы. Всемирное единение человечества — вот смысл великих преобразований. Единство человеческого рода, который забудет о распрях и войнах, — вот что такое монархия в мечтах Кампанеллы.

Дерзкий мечтатель! Обращаясь к испанским властям, он обличает абсолютизм, нападает на тиранию, взывает к установлению на земле равенства и справедливости. Величайшие беды мира проистекают от постоянных войн в распрей, писал Кампанелла. Они уносят богатство народов и жизни людей. Они опустошают земли. Только единство может спасти мир. Оно —

великое благо. Оно — единственная надежда. Пусть объединяющей силой будет испанская монархия. Главное, чтобы распри и междоусобицы прекратились. И если ради того, чтобы был услышан этот призыв, надо говорить о преданности испанской короне, он пойдет на это.

Хитрость отчаявшегося узника, решившего любой ценой вырваться на свободу? Нет, Кампанелла не таков. У него много раз была возможность облегчить свою судьбу отступничеством, и каждый раз он с презрением отвергал такую возможность. Он и теперь не стал иным. Не прямым путем шла его мысль и не прямые способы приходилось ему искать, чтобы выразить ее. И еще не раз впоследствии будут останавливаться читатели Кампанеллы перед странной, озадачивающей и ошарашивающей противоречивостью его сочинений.

В будущем государстве равенство должно быть введено Законом. Оно — истинная кормилица народов. Неравенство пагубно!

Узник темной камеры прозревает это государство так же ясно, как он видел свой Город Солнца, да оно, это Государство Мессии, и есть по-новому описанный, но, в сущности, тот же Город Солнца. Чтобы добиться равенства, учит он власти, надо обложить налогами баронов и ростовщиков, ввести подоходное обложение, государственные средства расходовать не на роскошь, а на содержание войска, необходимого для его защиты, и на просвещение.

Кампанелла вникает в подробности. Государство должно покровительствовать наукам и просвещению, строить и поддерживать школы. Ему следует посылать экспедиции в дальние страны.

Опаснейшие мысли высказывает этот человек в своих политических сочинениях! Правители боятся народных восстаний? «Чтобы народ не бунтовал, — пишет он в одном из тюремных сочинений, — лучше вооружить его, чем разоружить. Тогда, если ты будешь хорошо управлять, — обращается он к правителю, — народ употребит оружие в твою пользу, а если будешь править дурно и неблагоразумно, народ, хотя бы он и не вооружен, восстанет и найдет себе оружие, и повернет его против тебя».

Нет, это не язык покаявшегося бунтовщика, который вымаливает свободу. Это язык человека, убежденного в том, что дело, за которое он страдает, — дело правое.

Пишет он и о своей верности церкви. Но как! Он настаивает на том, чтобы церковь была преобразована, чтобы она вернулась к тем временам, когда христианство провозгласило равенство

людей, бедность, нестяжательство как высшие блага. Нужно, утверждает он, «чтобы все духовенство, красное или белое, зеленое или черное, ходило в церковь босиком, и постилось, и пило простое вино, и ело мужицкий хлеб». Он с горечью восклицает, что с той церковью, какой она стала, связывается у людей представление о казнях и налогах, о тюрьмах и пытках, о преследованиях.

Изумившись, вспомним, где и когда это писалось. Для Кампанеллы каждый час, на который ему разрешали зажечь светильник, каждый лист бумаги, который доставался ему, были величайшим благом, сегодня доступным, завтра запретным. Все примеры — исторические, философские, политические — ему приходилось приводить по памяти — в Замке Святого Эльма у него не было книг, ни единой. А спорить ему приходилось с сильными оппонентами.

Умами многих государственных деятелей владели мысли, которые за век до Кампанеллы высказал секретарь Флорентийского совета Никколо Макиавелли. В сочинении «Князь» он советовал им подчинять честь, совесть и религию политическим интересам правителя. Книга его вызывала споры. Иным казалось, что его советы — мудрость, без коей не может обойтись правитель. Иные же полагали, что Макиавелли лукавит, — он вовсе не прославляет двоедушия, необходимого правителю, а показывает людям, к какому двоедушию неизбежно прибегают правители, пишет не о желаемом, а о сущем.

Кампанелла эту догадку не принимал. С Макиавелли он спорил постоянно, он отвергал пути, какими тот учил пользоваться, написав однажды такие слова: «…есть опасность, что все народы поверят, что религия — это искусство держать их в узде, как учит Макиавелли и большая часть политиков…»

Но, не раз снова повторив, как ненавистен ему Макиавелли, Кампанелла советует испанским властям хитрые и жестокие пути, чтобы добиться всемирного господства. Что это? Лицемерие? Хитрость? Насмешка? Печальное признание того, что в этом мире ничего не добьешься прямотой и честностью?

Дивиться ли тому, какие странные, порой жестокие пути предлагал Кампанелла, чтобы осуществить свою мечту? Счастье человечества казалось ему выше счастья отдельного человека, и жестокость он порой призывал уничтожить жестокостью. Так он думал. Так он верил. Да и мог ли он думать и верить иначе? Но почему Кампанелла обращал свой призыв к испанской монархии? Он искал силу, способную объединить народы, считая, что их распри — величайшее из зол.

Были в его сочинениях, написанных в тюрьме, страницы,

которые можно истолковать как попытку обмануть своих тюремщиков. Но их истинный смысл не скрылся ни от его друзей, ни от его врагов. Друзья распространяли их в списках — некоторые из этих копий дошли до нашего времени. А светские и церковные власти их запрещали и уничтожали.

Кампанелла упорно, неутомимо продолжал строить свое воображаемое всемирное государство. Он мечтал, чтобы его призыв был услышан на небе и на земле. В прозе и стихах он обращал его к богу и всем святым. Он взывал к слуху государей и народов. Он требовал, чтобы ему вняли итальянские князья и республики, папа, все прелаты и все монахи католической церкви. Ему мало было Германии, Испании, Франции. Он взывал к великому князю бесконечно далекой Московии и к царю Абиссинии, к китайскому богдыхану, к племенам недавно открытых заокеанских земель. Каждый и все должны соединиться в одну семью. Пусть их объединит католицизм, только бы навеки прекратились распри народов и неравенство людей.

Во мраке камеры хотелось думать о свете. Он вспоминал друзей. Мы все были погружены во мрак, писал он. Многие среди нас были обессилены невежеством и темнотой. И находились презренные музыканты, которые за плату навевали на людей еще более глубокий сон. А хоть иные и бодрствовали, но их влекли почести и богатство, они спокойно проливали чужую кровь, они презирали тех, кто печалится о мире. «И тогда я засветил лампаду!»

Да, этого у него никто не отнимет! Он засветил лампаду истинной мудрости. Думать ему помешать не могут. Диоген и в бочке оставался мыслителем. Правда, в нее светило солнце и он не был к ней прикован: мог выйти из нее и отправиться куда глаза глядят.

Кампанелла заставлял себя сосредоточиться на своих мыслях, часто сложнейших и отвлеченнейших, ему хотелось умственным взором объять все мироздание. А иногда им овладевало страшное волнение — надо что-то делать для своего освобождения! Так больше нельзя! Но что может сделать узник, заключенный в тюрьму, из которой никогда и ни за что не убежать? Единственное его средство — слово, единственная надежда — красноречие. Он писал письма кардиналам, молил папского нунция и апостолического комиссария в Неаполе о свидании по важнейшему делу. Чтó важным прелатам, святым отцам, церковным иерархам, обремененным церковными делами, облеченным высоким доверием папы, жалкий монах, опозоривший свой сан, изобличенный еретик? Мало ли таких, как он, расплачивается за дьявольскую гордыню в тюрьмах Святой

Службы, а презренный прах иных давно развеян палачом по ветру? По какому праву сей нечестивый просит свидания? И как просит? Его просьба смахивает на требование!

Десятки писем Кампанеллы остаются без ответа. Но они вызывают неясную тревогу в душах тех, к кому обращены. В Неаполе живет, не угасая, слух, что Кампанелла владеет некими важными тайнами, важными для судьбы королевства, обладает даром предсказывать события и, как знать, может быть, умеет влиять на них. Вдруг вспоминают, как среди процесса скончался главный противник Кампанеллы — епископ Термоли. Думают о том, как далеко разнеслись слухи о Кампанелле за пределами Италии; с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться!

Узник вызывает изумление и внушает страх. Властям чудится: он обладает не только тайнами, но и силой. Может быть, он собирается раскрыть свой секрет?

Изумленная стража Замка Святого Эльма увидела однажды перед воротами торжественную процессию. Важные духовные лица, один в черном, другой в лиловом облачении. Это были апостолический комиссарий и папский нунций. Они восседали на холеных верховых мулах. Их сопровождала нарядная свита. Встревоженный комендант кинулся встречать высоких гостей, отвешивая земные поклоны. Ему предъявили бумагу из канцелярии вице-короля, повергшую его в крайнее изумление. Святым отцам надлежало безотлагательно устроить встречу с заключенным секретной камеры — Кампанеллой.

Комендант испугался. От опасного узника можно ожидать всего. Сегодня он в цепях, а завтра вознесется так, что затрепещешь! Говорят, он распоряжается грозными тайными силами. Если бы не это, сдох бы давным-давно. Пожалуй, будет жаловаться высоким посетителям на притеснения. Но он, комендант, только исполняет строжайшие приказы. Будет приказано — тут же снимет с Кампанеллы цепи, накормит досыта. Прикажут — оденет в бархат! Все это пронеслось в привыкшем к повиновению, исполненном страха перед сильными мира сего темном сознании коменданта. Ясно одно: святые отцы не могут спуститься в подземную камеру. Лестница крута. В подземелье смрад. Узника выведут наверх. Снимать ли с Кампанеллы кандалы? Времени на раздумья не было. Господа спешили. Оставить в кандалах — решил комендант. Снова узник услышал приказ:

— Выходи!

Когда-то он легко карабкался по горным склонам, теперь каждая ступенька — препятствие. Посреди лестницы показалось — сейчас упадет. Может, голова кружится оттого, что он не знает,

куда и зачем его ведут. Неужели его ждет что-то хорошее? А может быть, что-то еще более страшное?

Комендант предоставил для свидания лучшее помещение тюремного замка. Высоким гостям было предложено приличествующее их сану угощение: вино из винограда, который возделывали заключенные, печенье, персики с пушистыми румяными бочками, бронзовые сочные груши, дымчато-розовый виноград.

Кампанелла шел по блестящим каменным плитам парадного зала. Ржавые кандалы гремели. Каждый шаг оставлял на полу мокрый грязный след. Глаза его были полуприкрыты. Солнечный свет из окон казался непереносимо резким. Он поднял голову, разглядел высоких посетителей и, преодолевая тяжелую одышку, неожиданно звучно сказал:

— Благословен будь Господь наш, Иисус Христос, и его милостивое соизволение, которое привело вас в эту юдоль страданий. До почиет на вас, святые отцы, благодать господня!

Приветствие, содержавшее подобающие формулы, от начала и до конца — неслыханная дерзость. Упоминание о «юдоли страданий» применительно к тюрьме, куда сей еретик попал по собственной вине, просто непозволительно!

Нунций и комиссарий переглянулись, не найдя сразу, что ответить. Чего они ждали? Что Кампанелла раскаялся и, бия себя в грудь, станет твердить о своем исправлении, ползать на коленях, смиренно молить, чтобы ему облегчили невыносимую участь? Кампанелла молчал. Он не искал слов раскаяния. Просто он увидел бокалы с вином, виноградные гроздья, персики и груши. Он оторвал глаза от манящего дива, проглотил набежавшую слюну и заговорил. Изможденный, обросший, оборванный человек, закованный в кандалы, без сомнения больной — дыхание его было прерывистым и тяжелым — не каялся. Ни о чем не просил. На торжественной латыни, в обдуманных словах напоминал он о своих великих познаниях в разных науках, обещал принести великую пользу, если ему дадут применить эти познания на деле, намекал на ведомые ему тайны.

Папский нунций, опытный дипломат, был потрясен. Пожизненный заключенный, червь, извлеченный на свет из-под земли, говорит с ними как равный. Начнет, чего доброго, ставить условия! Хотел прервать уверенную речь Кампанеллы и не смог. Она завораживала. Не отпускала. Заставляла слушать. Недаром иные из последовавших за этим крамольником уверяли, что он околдовал их. Недаром иностранцы, приезжавшие в Неаполь, наслышаны о нем и задают неудобные вопросы. Одни знали о Кампанелле как об ученом. Другие — как о великом астрологе.

Третьи — как о маге, посвященном в таинства магии. Открыто или осторожно осведомлялись они о нем. Вопросы звучали так, будто речь идет не об опасном преступнике, а о великом человеке. Не терпит ли Неаполитанское королевство ущерба, если такой великий ум пропадает втуне? Но папский нунций и апостолический комиссарий не дадут заворожить себя! Они решительно прерывают беседу.

Высокие господа и свита покинули Замок Святого Эльма. Комендант вздохнул с облегчением. В отместку за пережитый испуг он распорядился в этот день не кормить узника, осмелившегося непочтительно говорить с особами, которым было благоугодно его посетить.

Глава LXXV

Кампанелла заметил, что теряет счет дням. Потом стал сбиваться в неделях и месяцах. О том, какое время года, он мог догадываться только по тому, насколько увеличивалась сырость в подземелье и как одеты надзиратели. Если бы не врач и священник, изредка навещавшие его, он вообще не знал бы, что творится в мире. Но разговоры этих посетителей с ним были краткими — они жалели Кампанеллу, но опасались быть подслушанными. Время шло, а казалось, оно неподвижно. Умерло. Перестало всходить и заходить солнце. Перестала расти и убывать луна. Застыли в недвижности небесные светила. Не зеленеют деревья. Не поют птицы. Не бродит вино в бочках. Не рождаются дети. Может быть, он уже жил однажды? Был грешен в той жизни и оказался теперь в аду? Это и есть ад! Без кипящих котлов. Без горящего пламени. Темный безмолвный ад. Пять шагов в длину. Три — в ширину. Единственные звуки — капе́ль со стен да звон кандалов. Единственные обитатели кроме него — мокрицы. А срок — вечность. Так что же — каяться в грехах, совершенных в той, прошлой жизни? Молить о прощении? Ему некого молить. Ему не в чем каяться. Дни отчаяния, когда он написал «Канцону покаяния», миновали. Он хотел людям счастья. И если мир за это платит так, тем хуже для мира. Что остается ему? Все то же. Думать. Неотступно думать, как изменить мир. Строить, пусть мысленно, свой светлый город. Город Солнца. Когда настанет срок строить, все должно быть наперед решено! Чего не будет в Городе Солнца? Скупости, зависти, злобы, взаимной ненависти, тяжб, обманов, пороков телесных и душевных. Себялюбия, порождающего все пороки.

Люди, которым даровано счастье жить в Городе Солнца, преданно любят свое Отечество. Они пылают к нему такой любовью, что ее трудно выразить словами! Кампанелла понимает, сколь опасно в его положении хранить такие записи, но заносит на клочок бумаги слова, которые непременно включит в свое сочинение о Городе Солнца, когда настанет время печатать его: «Мы изображаем наше государственное устройство не как устройство, данное богом, но как открытое посредством философских умозаключений, и исходим при этом из возможности человеческого разума, чтобы показать, что истина Евангелия соответствует природе». Рядом поставлены утверждения: «не как устройство, данное богом» и ссылка на Евангелие. Само по себе это ересь! Но для него Евангелие — учение о человеческом братстве, о справедливости. И если это

ересь, то он от нее не отречется!

Коль скоро государство создано на основе философских умозаключений, значит, и управлять им должны самые образованные и самые мудрые. Высшие правители Города Солнца обладают познаниями во всех необходимых науках. Верховный правитель — самый мудрый из всех. Солярии зовут его Солнцем. При нем состоят три соправителя: Мощь, Мудрость, Любовь. Они хорошо осведомлены в военном деле, свободных искусствах, ремеслах и науках, заботятся об учебных заведениях. Советчики Мудрости — Астроном, Космограф, Геометр, Историограф, Поэт, Логик, Ритор, Грамматик, Медик, Физик, Политик и Моралист. Радостно перечислять эти науки, зная, что он в каждой из них сведущ, по праву стал бы в Городе Солнца мудрым советчиком правителей, а может быть, и одним из них!

Должностные лица Города Солнца называются Великодушие, Мужество, Целомудрие, Щедрость, Правосудие, Усердие, Правдолюбие, Благотворительность, потому что именно об этих прекрасных качествах должны они постоянно заботиться. Не забыл ли он чего важного? Забыл. Обитатель темной тюремной ямы записывает, что в Городе Солнца, государстве его мечты, особое лицо будет заботиться о бодрости духа граждан, и станут именовать его Бодрость, а особое — о веселости, и имя ему будет Веселость. Бодрость и Веселость — устои государства. Какая прекрасная мысль, Кампанелла!

Глава LXXVI

Без малого четыре года провел Кампанелла в подземной камере Замка Святого Эльма. Они остались бы в памяти тусклым сумраком, сыростью, смрадом, холодом, приступами отчаяния, когда бы не работа. Писание, когда можно было писать, обдумывание, когда писать невозможно. Он был убежден: все им написанное издадут после его смерти. Но он страстно мечтал, мечтал, как о чуде, чтобы труды его были изданы, покуда он жив. Особенно его трактат о Городе Солнца. Знал, чувствовал, верил: есть люди, которым нужны его мысли.

Иногда ему вспоминались опыты, которые показывал ему делла Порта, и еще больше те, о которых он рассказывал ему. И Кампанелла написал, что в Городе Солнца есть удивительные суда. Они ходят по морю без помощи весел и ветра. Их приводит в движение совершенный механизм.

Неудивительно, что солярии совершают далекие плавания. И не для наживы, а чтобы познакомиться с разными народами и странами. В этих путешествиях они постоянно допытываются, нет ли где-нибудь народа, который бы вел жизнь еще более похвальную и достойную, чем они, и у которого можно было бы поучиться.

В тесной камере, в глухой тишине каземата у него возникла столь необычная мысль: «Они уже изобрели искусство летать — единственно, чего, кажется, недоставало миру, а в ближайшем будущем ожидают изобретения подзорных труб, при помощи которых будут видимы скрытые звезды, и труб слуховых, посредством которых слышна будет гармония неба».

Однажды к Кампанелле в необычный час вошли надзиратели и солдаты:

— Собирайся!

Стражники обступали его таким плотным кольцом и заставляли так быстро идти, что он почти ничего не разглядел, только почувствовал — пахнет рыбой, солью, водорослями, значит, близко залив. Морской воздух ударял в голову, как вино. На берегу ждет многовесельная лодка. Кампанеллу грубо толкают: «Садись в середину!» Гребцы смотрят на него равнодушно. Они не знают, кого везут. Они будут умело и равнодушно взмахивать веслами, даже если стражники на их глазах выбросят его в воду. А вода — глаз не оторвать. Густо-синяя, с прозрачными комками медуз. Перед лодкой мелькнуло черное тело дельфина и ушло в воду. Огромные белые птицы — Кампанелла забыл, как они называются, — на распахнутых

крыльях парят над водой, стремительно падают вниз, чтобы схватить рыбу. Он не может отвести взгляда от искрящихся капель воды — они срываются с весел, когда гребцы поднимают их, от парусов над водой — белых и оранжевых, от высокого неба и глубокой воды. Весеннее солнце сияет над морем. Сверкает синяя вода. Дует теплый ветер. Он не солью пахнет, не водорослями, не рыбой. Он пахнет свободой! Огромный горизонт расстилается перед глазами Кампанеллы. У него кружится голова. Сколько времени не был он под таким солнцем, не дышал таким воздухом, не видел такого моря, такого простора. Сердце не выдержит! Разорвется.

Тут с правого борта показывается маленький остров. А на нем тяжко громоздится почти квадратная крепость, устрашающе мрачная, грузная, с зубчатыми стенами, почти без окон. Гребцы дружно поднимают весла. Вода стекает с них прозрачными крыльями, в которых загорается радуга. Лодка подходит к берегу. Два гребца выпрыгивают из нее в воду, вытягивают нос на песок, привязывают веревкой к столбу.

— Выходи! — слышит Кампанелла приказ.

Только что было море, солнце, ветер в лицо, птицы над головой. И опять — камера, тюрьма: Кастель дель Ово.

На новом месте Кампанелла занемог. Он не в подземелье, как в Замке Святого Эльма, и камера его не столь тесна и темна, как там, и через решетку врывается морской воздух и слышен прибой. А у него обмирало сердце и перехватывало дыхание. Неужто он так привык к своей яме?

Потом отдышался, огляделся, стал различать звуки, доносившиеся в камеру. Звяканье лодочных цепей, иногда пение рыбаков, скрип колес на мосту. Но громче этих мирных звуков — топот солдатских сапог на крепостной площади. Иногда среди ночи — стоны и вопли. Сколько лет преследуют его ночные голоса терзаемых.

Здесь Кампанелла с изумлением заметил в себе перемену. Что бы ни происходило с ним до сих пор, он писал стихи. О земле и о небе. О счастье, к которому стремился, и о бедах, что обрушились на него. О милых друзьях. О великой мудрости и о страшном неразумии мира. О пытках, которые перенес. О женщинах, о которых мог только мечтать. О своих надеждах. Надеждах, несмотря ни на что.

Но здесь, в новой тюрьме, не такой страшной, как прежняя, он перестал писать стихи. 1608 год был отмечен тремя событиями в жизни Кампанеллы. Ему исполнилось сорок лет. Его перевели в Кастель дель Ово. И он перестал писать стихи. Словно лопнула какая-то струна в душе. Что сказал бы Пьетро Понцио,

собиравший каждую стихотворную строку, написанную им, узнай он, что Кампанелла больше не пишет стихов? Как бы он горевал! Но где Пьетро и как он может узнать об этом? Кампанелла больше не пишет стихов. Этого его враги добились. А ведь когда-то, размышляя над трактатом «Поэтика», он пришел к убеждению, что для человека писание стихов столь же естественно, как пение — для птицы, что поэзия восходит к такой же древности, как речь человеческая, и столь же необходима. Теперь поэзия покинула его.

Тем неистовее трудился он над научными сочинениями. Теперь его мысли были обращены к физике и медицине. Все, о чем когда-то толковали они в домах дель Туфо и делла Порта, обступило его. Беседы с Соправия и Кларио пришли на ум. Вспомнились и недолгие встречи с Галилеем и Бруно. Единственным пособием в этих трудах была его память. Он писал упорно, заставлял себя быть осторожным, чтобы не дать оснований вновь обвинить себя в ереси, но, увлекшись, забывал об осторожности. Смолоду мечтал он создать универсальный свод всех наук. Теперь он принялся за эту задачу…

Кампанелла был надолго вырван из жизни. А жизнь продолжалась. Великое время универсальных гениев, какими была славна эпоха Возрождения, ушло в прошлое, натурфилософы — Телезий, Бруно, да и Кампанелла — должны были уступить место ученым, которые не только размышляют и рассуждают о природе, но ставят опыты, делают вычисления. Да, Бруно и Кампанелла не ставили опытов над физическими телами. Жизнь поставила опыт на них самих, и они показали миру, что может выдержать человек. О приборах для этих опытов позаботилась инквизиция. Кампанеллу выхватили из потока движущегося времени, и оно ушло вперед, а Кампанелла, говоривший о строении мироздания, но ни разу в жизни не глядевший в телескоп, остался позади. Его враги преследовали в нем бунтовщика и еретика. Вырвав его из жизни, они не думали, что вырывают его из науки. Но то, что они отняли у человечества, отняв Кампанеллу у науки, им не забудется и не простится. История не знает сроков давности…

Надзиратели докладывали начальству — Кампанелла пишет. Иногда написанное отбирали. Кто-то где-то просматривал исписанные листы. Кто и где, он не знал. Когда ему первый раз небрежно швырнули то, что он писал и что считал отнятым безвозвратно, он испугался. Уж не считают ли его мертвым, а его писания безобидной забавой? Он не знал, что в его камере скрещиваются, сталкиваются противоборствующие влияния. Вдруг вице-король — князь Беневенте, сменивший графа

Лемоса, — получает послание одного из немецких князей, который просит помиловать Кампанеллу, а если это невозможно, смягчить его судьбу. Отмахнуться от такого послания не позволяют интересы высокой политики. О помиловании не может быть и речи. На мелкие поблажки — в ответе они изображены великими благодеяниями — можно пойти.

Кампанелле возвращают несколько недавно отобранных у него рукописей. Дозволяют свидания и — о счастье! — разрешают читать. Узнав об этом, он так растерялся, что не сразу смог сказать, какие книги ему нужны. В первое свидание друзья хотят знать, что нужно Кампанелле, — он твердит о книгах. Спрашивают, чем помочь ему, — он продолжает говорить о книгах. Справляются о здоровье — он просит назвать книги, которые он упустил за это время. Одержимый!

Кампанелла едва успевает порадоваться свиданиям, едва успевает раскрыть доставленные ему книги — разражается гроза. У Святой Службы всюду глаза и уши. Все, что происходит в Кастель дель Ово, ей известно. Вице-король получает пренеприятную бумагу. Витиеватая по форме и резкая по сути, она напоминает, что приговор, вынесенный брату Томмазо, именуемому Кампанеллой, — приговор нераскаявшемуся еретику. Он должен нести наказание без послаблений… Немецкий князь, просивший за Кампанеллу, далеко, Святая Служба близко. У вице-короля нет желания ссориться с ней. Он не сомневается, что копия полученной им бумаги пошла в Мадрид. Не хватало ему давать объяснения его величеству из-за крамольника!

У Кампанеллы отнимают недочитанные книги. Он сражен этим. К нему не пускают друзей. Он снова один.

Ну что же! Жаловаться некому, просить некого. Молиться? Каких только молитв не возносил он в своих камерах, карцерах, ямах! Молиться больше нет сил.

Кампанелла написал много. Главнейшим из написанного он считает сейчас «Город Солнца». Но есть ли у него уверенность, что его труд поймут? Может быть, надо объяснить, растолковать его? В трудную пору, когда его на краткий миг поманили малыми благами, которые бедному узнику казались огромными, а потом отняли их, Кампанелла обдумывал трактат «О наилучшем государстве».

Кампанелла старался представить себе лица возможных оппонентов, их голоса. Ему виделся диспут, на котором он во всеуслышание будет защищать идеи Города Солнца. На каких древних философов и на какие церковные авторитеты можно сослаться? Вспомнился ему англичанин Томас Мор. Он тоже

мечтал о разумном государстве и погублен врагами. Он написал о нем, как о союзнике: «Эти возражения опровергает авторитет недавнего мученика Томаса Мора, который описал вымышленное государство Утопии, с той целью, чтобы мы по его образцу создали свое государство или, по крайней мере, его отдельные устои». Он никогда не видел Томаса Мора, но ему казалось, что они знакомы. Как горько, что его нет в живых, как ужасно, что он казнен. Неразумен мир, убивающий своих мудрецов!

Глава LXXVII

Не только столкновением далеких и могучих сил определялась жизнь Кампанеллы. Надзиратель, рьяно и дотошно, до последней буковки исполняющий все предписанные строгости, делает тяжкую жизнь узника непереносимой. Другой закрывает глаза на то, что на воле не имеет никакого значения, а для Кампанеллы подобно жизни. И вот уже в камере пусть не листы, но хотя бы клочки бумаги. И хоть не чернильница, но черепок. Однако в него можно макать перо, а если не перо, хоть заостренную палочку, Этим премудростям Кампанеллу не учить. Мог бы трактат написать — тысяча хитростей в обход тюремных запретов! Не напишет он такого трактата. Еще многих философов и бунтарей, мудрецов и пророков после него постигнет такая же судьба, и они поневоле выучатся этой горькой науке. Записывать ее уроки нельзя. Это наука тайная, великое изустное предание гонимых, преследуемых, заточаемых. Им и передавать его друг другу, им и хранить, не раскрывая его тайн тем, кому их не следует знать.

Комендант крепости Кастель дель Ово встречал знатных людей, которые говорили о Кампанелле с любопытством, а иные и с восторгом. Что им Кампанелла? Слава этого узника бросала лестный отсвет на коменданта Кастель дель Ово. Комендант гордился — на острове он хозяин. Он забывал, как мало расстояние между крепостью и берегом и что их связывает мост, по которому в любой миг может прискакать гонец с приказом, коему комендант обязан беспрекословно повиноваться. Сам себе он казался на острове владетельным синьором. Разве не он отдает приказы солдатам крепостного гарнизона? Разве не он отдает приказы дозорным на башнях? Разве не ему подчиняются пушкари на стенах? Не он назначает каждый день пароль и отзыв? Не он распоряжается надзирателями?

Порой Кампанелла казался коменданту не столько заключенным, сколько подданным островного княжества. Подданных можно карать, а можно миловать. Иногда комендант допускал к Кампанелле посетителей. И не только неаполитанских друзей или родичей и знакомых из Калабрии. Совсем нет! Порой в камере Кампанеллы появлялись люди, которых узник не знал. Зато они о нем знали. Не только из других городов — из других стран приезжали повидать Кампанеллу. Комендант видел, что с его узником говорят не как с крамольником, а как с мудрецом. И это наполняло его душу спесью.

Комендантом Кастель дель Ово руководило не только

горделивое сознание, что он властен разрешить, а властен и отказать человеку, прибывшему ради встречи с Кампанеллой за тридевять земель, не только тщеславное сознание, что в его власти знаменитость. Он получал от своей снисходительности вполне ощутимые блага — среди людей, искавших встречи с Кампанеллой, многие были состоятельными. Тщеславный комендант и не подозревал, что несколько торопливо им написанных пропусков к Кампанелле стали для него пропуском в бессмертие. Никогда никто не вспомнил бы о нем, не случись ему войти в историю снисходительным тюремщиком Кампанеллы. Он закрывал глаза не только на то, что посетители приносили Кампанелле книги, но и на то, что они выносили из его камеры рукописи. Переписанные от руки, его сочинения расходятся в эти годы по разным странам. Это великое утешение!

Глава LXXVIII

Время шло. В Замке дель Ово оно не казалось неподвижным. Здесь днем и ночью слышно море: иногда шелестом, иногда тяжелым ударом волн в каменные стены крепости. В узком окне менялся цвет неба, желто-розовый на заре, красный на закате, голубой и синий днем. В прежней яме Кампанелла почти забыл, сколько оттенков имеет небо. Он жадно различал запахи, которые приносил ветер. Чаще всего пахло гниющими водорослями, иной раз казалось, что ветер доносит аромат садов, он даже чувствовал в нем прекрасный и тонкий запах цветущих лимонов. Далекая, недоступная ему жизнь, где люди возделывают сады, ловят рыбу, давят вино, сидят у домашнего очага, нянчат детей, доносилась до него такими слабыми отзвуками, что иногда казалось, ее вовсе нет. Дорожная пыль на сапогах одного из его посетителей потрясла Кампанеллу. Значит, есть еще в мире дороги, по которым можно скакать на коне, ехать на медлительном ослике, шагать пешком! Есть корабли, отплывающие в далекие края, — их паруса возникали в его окне, и он следил за ними. Не скакать, не ехать, не идти ему по дорогам. Не плыть на кораблях!

Шли недели, месяцы, годы… Как рассказать о времени, в котором ничего не происходит? Ничего не происходит, только уходит, утекает жизнь.

Замкнутый в тесном пространстве, лишенный впечатлений, человек начинает испытывать смутное беспокойство. Оно переходит в тоску, у некоторых — в панический ужас. Иным, чтобы испытать все это, достаточно нескольких дней, другие выдерживают недели. Кампанелла провел в одиночке долгие годы. И выстоял!

Когда к нему приходили посетители, наслышанные о его истории, они, предполагая увидеть человека, изнемогшего под бременем судьбы, печально склоняли головы, придавали скорбное выражение лицам, начинали говорить с ним, как с тяжелобольным.

Здоровьем Кампанелла действительно похвалиться не мог. Но ясность его ума и бодрость его духа поражали посетителей. Они поднимали головы, скорбные морщины на их лицах разглаживались, начинали звучать не сочувственные, а обычные голоса, и скоро возникала обстановка ученого диспута.

Радостью были такие свидания, и все же после них оставался привкус горечи. Почему? Смолоду Кампанелла страстно любил учить. Когда он видел лица учеников, когда видел, как высказанная им мысль вызывает в их глазах ответную вспышку,

острое чувство пронзало его. Всем телом ощущал он ответную волну внимания, волна эта возвышала его, голос его становился вдохновеннее, взор проницательнее, мысль отважнее. То были миги счастья!

Что-то похожее на них он испытывал, когда говорил с людьми, навещавшими его в тюрьме. Но лишь похожее.

Едва между ним и слушателями возникал живой ток, надзиратель напоминал посетителям, что пора уходить, общение прерывалось. Своих гостей Кампанелла чаще всего больше не видел. Мог только гадать, вынесли ли они что-нибудь из этой встречи, кроме удивления и сочувствия. Все это прекрасно, но не о том тоскует он. Ему нужны ученики. Ученики, к которым он сможет обращаться день за днем.

Кампанелла мечтал об учениках. А далеко от Неаполя жил человек, мечтавший стать его учеником.

В городе Мейссен, в Германии, дворянское семейство Бинау решилось отпустить в далекое путешествие молодого Рудольфа Бинау. Был он пылок и горяч, путь ему предстоял не близкий: паломничество в Святую землю. Отец решил дать ему в спутники человека рассудительного и ученого, чтобы путешествие способствовало образованию молодого человека. Его выбор пал на Тобия Адами, известного своей ученостью. Адами было в ту пору за тридцать.

Трудно сказать, как поступил бы глава семьи Бинау, узнай он, почему Адами так стремится в путь, не предпочел бы он поискать сыну другого наставника. Однако Адами не стал посвящать семейство Бинау в свои планы. Он хотел на обратном пути непременно побывать в Италии, попасть в Неаполь, повидать Кампанеллу. И когда оба путешественника провели много времени в пути, когда старший пригляделся к младшему и увидел, как открыт его ум всему новому, он рассказал ему о Кампанелле. Юноша слушал его внимательно, а потом спросил, жив ли этот ученый и нельзя ли познакомиться с ним. Жив, а вот познакомиться с ним нелегко. Кампанелла уже без малого пятнадцать лет в заточении. Узник Святой Службы.

Рудольф был воспитан в протестантской семье и не удивился тому, что услышал. Разве не объявил папа римский еретиком великого Мартина Лютера? Видно, и тот ученый, о котором рассказывает его наставник, протестант. Это не так, сказал Адами. Кампанелла — католик. Но взгляды его и мысли столь необычны, что для Рима он — опаснейший еретик. То, что тянуло Тобия Адами в Италию — желание повидать Кампанеллу, — увлекло и его подопечного. В 1613 году на обратном пути из

долгого путешествия, побывав в Иерусалиме, путешественники прибыли в Неаполь. Устроившись на подворье, они отправились бродить по городу. Недалеко от берега, окруженная водой, тяжелой громадой высилась на маленьком острове крепость Кастель дель Ово. Узкий мост вел на остров с берега. Изредка к нему подплывали лодки. У моста и на пристани у крепости стояла вооруженная охрана. Мрачный облик крепости вселял трепет. Мысль о человеке, который томится здесь, ранила душу. Был миг, когда Адами показалось, что он затеял предприятие неосуществимое. Но он любил немецкую поговорку: Frisch gewagt ist halb gewonnen! — «С ходу отважиться — наполовину выиграть!».

Рекомендательное письмо немецкого купца, который вел большие дела с Неаполем, открыло дорогу к коменданту крепости. Тот разрешил путешественникам свидание с Кампанеллой. Тобий Адами и Рудольф Бинау стали бывать у Кампанеллы почти каждый день. Сговорчивость коменданта не столь удивительна. В Неаполе повеяло теплым ветерком. У вице-короля много дел кроме необходимости помнить о преступнике, столь давно осужденном, а новый комиссарий инквизиции заботится о славе человека гуманного.

Так у Кампанеллы оказались постоянные и преданные слушатели — Бинау и Адами. Как изумился бы Бинау-старший, узнай он, что его сын слушает лекции в тюремной камере! Кампанелла спешил. Ему казалось — счастье общения внезапно отнимут у него. Ему о стольком хотелось рассказать пытливым слушателям! Их занимало все: философия и поэтика, медицина и астрономия, география и история. Кампанелла говорил горячо, стремительно. Слушатели не всегда успевали записывать за ним. Тогда он опоминался, начинал говорить медленнее, порой диктовал. Записанное под диктовку он проверял. Так возникал текст его новых трудов. Главным из них должна была стать «Рациональная философия». Посетители Кампанеллы покидали его камеру, проходили по гулким коридорам, за ними затворялись ворота, позади оставались мост, ограждение, стража. Они останавливались на берегу, оборачивались на крепость, стараясь разглядеть окошко, за которым — Кампанелла. Их мысли долго еще не могли оторваться от него. Адами говорил воспитаннику:

— Ни в одном университете Европы не получили бы мы столько, сколько в камере, которую только что покинули!

Он мечтал увезти с собой рукописи Кампанеллы и издать их в Германии, открыв всем ученым Европы. Время, которое путешественники могли провести в Неаполе, подходило к концу.

И деньги. Снисходительность коменданта не была бескорыстной. Настало время распрощаться с Кампанеллой.

Нелегко выпускать из рук свои сочинения. Но он верил, что Адами постарается издать его работы. Вот только сможет ли он выполнить свое обещание? Увидит ли Кампанелла свои рукописи, которые станут книгами? Еще одно расставание. Со сколькими людьми, дорогими ему, приходилось уже прощаться Кампанелле, зная, что он никогда их не увидит, что и весточку от них получит навряд ли! Но если они увозят с собой его мысли, значит, мечта его сбылась. У него есть ученики.

…Кампанелла не ошибся в Адами. Вернувшись на родину, тот надолго посвятил себя изданию его трудов. В 1617 году он напечатал философский труд Кампанеллы под названием «Предвестник восстановленной философии», в 1620-м — книгу «Об ощущении вещей», в 1622-м — сборник стихов под псевдонимом, в котором угадывалось имя Кампанеллы, и, наконец, в 1623 году — «Реальную философию», в которую вошел «Город Солнца». Книги Кампанеллы будут печататься в Германии. Они, вместе с теми сочинениями, которые прежде были известны в списках, станут известными в Нидерландах и в Англии. Их прочитают во Франции и Испании. Решение Конгрегации Индекса будет перечеркнуто. Кампанеллу станут переиздавать, цитировать, ссылаться на него. В письмах многих ученых того времени станет все чаще встречаться его имя. Оно сохранится в веках. Все это будет. Будет!

Глава LXXIX

А пока он остается узником. И положение его опять ухудшается. Напрасно думал комендант Кастель дель Ово, что на острове он — владетельный господин. У него были завистники. Святая Служба получила полный благородного негодования донос о неслыханной снисходительности коменданта Кастель дель Ово к нераскаявшемуся еретику.

Пока комендант, за один день потерявший всю свою важность, оправдывался, Кампанеллу, после шести лет, проведенных на острове, спешно вернули в Замок Святого Эльма. Подземная камера, которую он некогда назвал в стихах своим Кавказом. Прометей прикован к той же скале. Сырой, гнилостный полумрак, никаких книг, никаких посетителей, никаких поблажек. Связи, некогда с таким трудом установленные, оборвались. Теперь тут другой врач. Другой священник изредка приходит к нему. Надзиратели тупы и жестоки.

И снова потянулись дни, недели, месяцы, годы…

«Я немало видел в тюрьме заключенных, — писал Кампанелла, — за долгое время свыкшихся со своей неволей и уже не желавших выходить на свободу, столь низкими и рабскими были их души: они уже не представляли себе, что могут жить иначе». Он не таков! Он не желает свыкаться с неволей, сколько бы ни длилась она. Низкое, рабское чуждо его душе. Едва узник, возвращенный в замок Святого Эльма, обрел возможность писать (едва? Чтобы получить ее, ушли месяцы!), он принялся за новое сочинение — речь в защиту Галилея… Память о первой встрече с Галилеем в Падуе Кампанелла сохранил навсегда, за его блистательным возвышением в науке следил внимательно. Едва он получил возможность писать письма, он обратился с дружественным посланием к Галилею, потом писал ему еще несколько раз, но ответа не дождался. Может быть, Галилей счел небезопасной такую переписку, а может быть, ответы были написаны, но не дошли. Кампанелле было горько это молчание, но он не затаил обиды. В 1616 году Кампанелла узнал, что церковь запретила Галилею развивать учение Коперника. Бесправный заключенный решил помочь человеку, которого, несмотря на его молчание, продолжал считать другом и глубоко уважал как ученого. А ведь Кампанелла отнюдь не во всем был согласен с Галилеем, со многими его доводами спорил в своих трудах. Кампанелла и Телезий принадлежали к эпохе, которая кончилась вместе с Бруно, а Галилей начинал эпоху новую. Упрекать ли Кампанеллу — оторванного от собратьев по науке, от

их опытов и споров, в том, что он отстал от Галилея? Удивляться ли тому, что, признавая подвижность небесных тел, он считал Землю недвижно расположенной в центре мира? Кампанелла мог бы сказать о себе: «Я не разделяю ваших взглядов, но готов умереть за ваше право эти взгляды иметь». Он доказал это, написав «Апологию Галилея» и послав ее в Ватикан. Искушенный в полемике с теми, от кого исходят запреты, Кампанелла доказывал: взгляды Галилея не противоречат учению святой католической церкви, а, напротив, способны прославить его.

Он, чьи сочинения, как напечатанные, так и не напечатанные, запрещены, он, числящийся в неисправимых еретиках, рисковал многим, когда посылал такое письмо. Уже тем, что напоминал о себе! Его обращение было опасным свидетельством против него. Оно доказывало, что, несмотря на все препоны, он знает о борьбе вокруг теорий Коперника и Галилея, знает о запрете, но дерзает оспаривать его…

А он дерзнул, защищая Галилея, процитировать такие слова, некогда неосторожно сказанные одним из отцов церкви: «Если истина скандальна, лучше согласиться, чтобы произошел скандал, чем прекратить поиски истины».

Ватикан не ответил на дерзость Кампанеллы. Пройдут еще несколько лет, его «Апология Галилея» стараниями верного Адами будет издана в Германии. Галилея о том известят друзья. Они напишут ему, что «Апология» построена на великолепных и неопровержимых доводах. Галилей никак не откликнется на это.

…Спустя века в бумагах Галилея найдут такую запись: «Отец Кампанелла, я предпочитаю найти одну истину, хотя бы о незначительнейших вещах, нежели долго спорить о величайших вопросах, не находя истины».

Когда-то в молодости они понимали друг друга. Теперь они говорили на разных языках. Галилею была важна истина, которую можно доказать строго, проверить опытом и вычислениями. Кампанелле нужны были истины, охватывающие землю и небо, судьбу человека и судьбы народов, идею бога и мысль об общем устройстве природы, истины, опытом не доказуемые, числами не выражаемые. Тут не просто один человек не мог понять другого, тут одна эпоха в жизни науки отказывалась понимать другую. Как бы горько было Кампанелле узнать об этом! Но встретиться и объясниться невозможно. Кампанелла по-прежнему в заключении.

Глава LXXX

В судьбе узника снова произошли перемены. Со времени процесса калабрийцев прошло много лет. Острота событий, связанных с заговором, давно притупилась. Многих противников Кампанеллы уже не было в живых. В вице-королевстве повеяло новыми веяниями. Вице-король граф Лемос-младший не угодил Мадриду и был смещен. Новый вице-король, герцог Оссуна, стремился доказать, что при нем все будет лучше! Но сделать так, чтобы все действительно стало лучше, трудно. В финансах дыра на дыре, налоги собирают со скрипом, казна опустела, в Неаполе полно нищих, побережью по-прежнему угрожают пираты. Если нельзя доказать, что все стало лучше, докажем, что все стало иначе.

Его предшественник не читал писем, которые посылал ему Кампанелла, не принимал тех, кто приходил просить за него. А такие ходатаи появлялись постоянно — и из Неаполя, и из других городов Италии. Послания в защиту Кампанеллы приходили даже из других стран. Странные люди! Большинство из них никогда не видели Кампанеллу. Что им до него? Но мысль, что человек такого ума, таланта и благородства и столь горькой судьбы все еще в заключении, не давала им покоя.

Герцог Оссуна поинтересовался давним судебным делом. Ему доложили: Кампанелла осужден и как заговорщик и как еретик. Его судили не только светские судьи, но и инквизиторы. Разбирательство длилось долгие годы, от процесса остались горы пыльной бумаги. Вникать во все это? Увольте! У вице-короля есть занятия поважнее. Освободить человека, признанного еретиком, вице-король без согласия инквизиции не может. Кампанеллы ему не жаль, однако сознавать, что во владениях герцога Оссуны есть что-то ему не подвластное, неприятно. Новому вице-королю кажется, что с тех пор, как он вступил на свой пост, глаза всей Европы устремлены на Неаполь. Толки об ученом, которого в Неаполе держат в подземной тюрьме на гнилой соломе, чуть ли не в цепях, что его почти уморили, — пятно на том представлении, которое хотелось бы создать о себе и своем королевстве.

Однажды Кампанелла снова слышит приказ:

— Собирайся! Выходи!

Опять подъем по крутым ступеням темной лестницы. Стражникам приходится поддерживать Кампанеллу. Он едва идет. Наверху — обморочное головокружение от свежего воздуха. На сей раз узника не ведут по городу. Приказано внимания не

привлекать. Его вталкивают в закрытую повозку и куда-то везут. Надежды и опасения переполняют душу Кампанеллы. Надежды, скорее всего, окажутся тщетными. Опасения, скорее всего, сбудутся. Кажется, сердце не выдержит.

И снова окрик:

— Выходи!

Кампанелла оглядывается. Он на внутреннем дворе Кастель Нуово. Все возвращается на круги своя! Он стоит во дворе, по которому его вели в застенок. Видит двери, через которые его увели на пытку. Свободные от работы заплечных дел мастера опять отдыхают в тени. Сейчас они лениво потянутся, встанут и пойдут заниматься делом. Только не это!

Однако его ждет нечто иное. Ему торжественно объявляют о милости, оказанной ему вице-королем. Место его заключения отныне — Кастель Нуово. Более того: ему дозволяется свободно ходить по всей крепости.

— Вас почти освободили, отец Томмазо! — благодушно говорит тюремщик, состарившийся здесь, который когда-то был снисходительнее других к странному узнику. — Надеюсь, вы не убежите!

Куда ему бежать! Он и ходит-то с трудом. Зато он может дышать воздухом, греться на солнце, разговаривать с людьми. Если вчера, сделав несколько шагов, он натыкался на стену камеры, теперь он может прогуливаться от одной крепостной стены до другой. Его почти освободили…

Глава LXXXI

Несколько ближайших лет жизнь Кампанеллы походила на перемежающуюся лихорадку. Он едва успел надышаться воздухом и отогреться на солнце в Кастель Нуово, как его по требованию Святой Службы снова вернули в Замок Святого Эльма. Опять подземная камера. Возвращение было ужасным. Кампанелле показалось, эта тюрьма станет его могилой. Через полтора года из подземной ямы Кампанеллу опять перевели в Кастель Нуово. Прошло почти двадцать лет, как Кампанеллу арестовали, а на воле все еще помнили о нем. Кто-то упорно хлопотал о нем и добился облегчения его участи. Правда, свободное хождение по крепости на сей раз не дозволялось. Старожилы крепости теперь не узнали Кампанеллу. Перед ними был живой мертвец с белым лицом и почти закрытыми глазами — смотреть на свет он не мог. Каждый шаг давался ему с трудом.

Кампанелла заново учился ходить и смотреть на свет. Гнал от себя сны, в которых все еще был в подземной тюрьме. Осторожно нащупывал ниточки старых, оборванных связей. Это оказалось трудно: несколько заключенных, которых он знал по первому пребыванию в Кастель Нуово, — давно сломленные, отчаявшиеся люди. И уже нет надзирателей, когда-то расположенных к нему. Все нужно начинать сначала.

А на воле тем временем шла своя жизнь, происходили перемены. Менялись вице-короли. К каждому из них Кампанелла обращался с прошениями о пересмотре дела. Иногда брезжила надежда. Потом и она оказывалась призрачной. Менялись не только вице-короли в Неаполе. Менялись папы в Риме. Климента VIII, при котором Кампанеллу заточили, на несколько недель сменил Лев XI, потом на долгие годы Павел V, это при нем Кампанелла провел в заключении шестнадцать лет, и, наконец папой стал Григорий XV.

Среди многих работ, написанных в заключении, у Кампанеллы был трактат, названный по первым строкам псалма «Вспомнят и обратятся…» В нем шла речь о путях и средствах обращения в христианство всех народов, исповедующих иные верования, об объединении их в одну семью. Кампанелла был искренне убежден: все разобщающее людей — зло, все объединяющее их — благо. А что может объединить лучше, чем единая христианская вера? Вот только понимал он ее по-своему. Ему скоро напомнили об этом те, кому надлежало толковать, какой должна быть вера.

Кампанелла посвятил свой трактат новому папе и переслал

его вместе с другими сочинениями в Рим. Григорий XV читать эти бумаги не стал. Их передали кардиналу Роберто Беллармино. Кардинал — автор многих богословских сочинений — был главным ревнителем чистоты веры. Ему принадлежало решающее слово и в инквизиции и в цензуре. Это он был главной фигурой годы назад в процессе против Бруно. Это он направлял преследования Галилея. И к нему на отзыв попали труды Кампанеллы. Полагая себя великим церковным писателем, Беллармино терпеть не мог, когда кто-нибудь другой пробовал писать на подобные темы. Сочинение Кампанеллы он объявил не соответствующим учению святой церкви, а заодно напомнил, что и все прежние его труды признаны еретическими.

…Европейская известность Кампанеллы была уже такой, что с ней Конгрегация Индекса ничего не могла поделать. Вырвавшиеся из-под ее власти сочинения философа-бунтаря уже нельзя было отнять у людей, запретить, уничтожить. Мысли, высказанные в «Городе Солнца», прозвучали и были услышаны. Государство, созданное воображением Кампанеллы, где каждый трудится для общины, а община заботится о каждом, где труд почетен, науки уважаемы, где ничего не жалеют, чтобы дети выросли образованными, где радость — одна из важнейших основ бытия, пленит многих, книга, посвященная этому государству, оказалась одной из немногих книг, что пишутся на века. И голос Кампанеллы в защиту безусловной свободы научного исследования, прозвучавший в его «Апологии Галилея», тоже услышан. И стихи его, бичующие спесь, ложь, лицемерие, тиранство, себялюбие, невежество, робкую покорность, стихи, воспевающие разум, добро, красоту, правду, свободу, мудрость, высокие знания, служащие людям, прозвучали, услышаны, не забыты. Его сочинения — частью в списках, частью опубликованные — читает вся образованная Европа. В Неаполь ради свидания с ним приезжают издатели из других стран. У некоторых такие рекомендации, что власти не могут отказать им в свидании с сочинителем. Небольшая подробность, что автор все еще в тюрьме, обходится при переговорах обоюдным молчанием. Странность великого человека — он принимает своих посетителей в комнате с решетками на окнах…

Не всем, кто приезжал к нему, удавалось напечатать его труды, некоторые, поразмыслив, сами отказывались от этой попытки. Самоотверженно выполнил свое обещание верный Адами.

Отношения между Римом и Мадридом оставались сложными и даже снова обострились. Вокруг калабрийского процесса, насчитывавшего уже четверть века, продолжались споры. А в

Мадрид шли прошения от калабрийцев. Люди, не забывшие Кампанеллу, уверяли короля, что их земляк двадцать пять лет несет муки ни за что. А тот, за кого они заступаются, в красноречивейших письмах доказывал, что выступал лишь против нерадивых властей Неаполитанского королевства, но был всегда преданным сторонником великой Испанской монархии, о чем свидетельствуют его многие сочинения. Кампанелла устал добиваться свободы, но не прекратил этих попыток. У него вновь появилась надежда. Между новым вице-королем герцогом Альбой и Святой Службой пробежала черная кошка. Герцог Альба во всеуслышание заявил, что не нуждается в предписаниях, даже если они исходят из Рима.

Конец мая. В Неаполе уже лето. Днем на дворе Кастель Нуово нестерпимо жарко. Каменные плиты источают тепло. В домах, где живет стража, закрыты ставни с вырезанными в них сердечками. Все живое прячется в тени. На пустой тюремный двор выводят старого сутулого человека. Он старается шагать твердо, но каждый шаг ему дается с трудом, он оступается. По крепости разносится весть:

— Кампанеллу снова уводят!

Нет, на этот раз его не уводят.

Его отпускают.

Он был приговорен к пожизненному заключению. Ему оказывается великая милость. Прошло всего двадцать семь лет, считая годы следствия, всего двадцать три года после приговора, а он уже свободен. Тысячи раз Кампанелла представлял себе этот миг. И вот он настал. Но вокруг, казалось бы, ничего не изменилось. Те же крепостные стены, те же камни, те же лица. Не прозвучал торжественный благовест, возвещающий о свободе. Не было приветственных кликов.

Будничным голосом чиновник, присланный вице-королем, пробубнил приказ об освобождении. Несколько строк. Сбылось! А может?.. Нет, не почудилось, не послышалось. В этом убеждают оговорки и дополнения. Местом жительства ему назначен монастырь, где он сказал когда-то какую-то дерзость про отлучение, после которой начались его беды. Он снова увидит старые стены. Можно будет пойти в библиотеку монастыря и дочитать книги, оставшиеся недочитанными тридцать четыре года назад. Кампанелла выслушал дополнительные предписания: он не смеет никуда отлучаться из обители и обязан по первому требованию явиться в Кастель Нуово. Все это звучало как сквозь завесу. Свободен, свободен, наконец он свободен!

Глава LXXXII

Свободен? Теперь, когда он не в тюрьме, когда нет на его окнах решетки, на дверях — запоров, когда нет вокруг ненавистных харь надзирателей и соглядатаев, когда он, после стольких лет, не узник, а снова инок, брат Томмазо, который мирно живет в обители, Кампанелла почувствовал — он погибает. Сердце не в силах вынести обретенной свободы. Ночью он не может спать, днем задыхается. Нужно немедля что-то делать, кому-то что-то доказывать, куда-то писать. Но нет сил делать, доказывать, писать. Неужели враги его добились своего и он может дышать только в темнице? Какая горькая ирония судьбы: он свободен и не может насладиться своей свободой. Да и что это за свобода? Слабость помеха не меньшая, чем оковы. Не упадет ли он на улице? И куда он пойдет? Джамбаттиста делла Порта умер. Другое поколение живет в доме Марио дель Туфо, иные разговоры в стенах милого его сердцу дома. Его там примут, будут расспрашивать о пережитом, слушать с любопытством, с трепетом, жадно. Особенно если речь зайдет о «яме для крокодилов», о пытках. Подумать только, что еще совсем недавно творилось в неаполитанских тюрьмах! Творилось? Будто они стали иными!

Кампанелла знал, что среди бывших узников есть такие, кто ни о чем, кроме тюремных лет, говорить не может, остается прикованным мыслью к тюрьме, как некогда был прикован к ее стене цепью. Он не хотел уподобляться им. Для себя он хотел другого. Чего? Додумать эту мысль, одолеть обморочную слабость, занести несколько слов на бумагу он не успел.

22 июня — самый длинный день в году, радостный праздник святого Джованни. Кампанелла с детства любил этот день, вместе со сверстниками громоздил горы хвороста, ночью зажигал костры, прыгал через огонь. Сегодня он чувствовал себя получше — все-таки прошло уже три с лишним недели, как он покинул тюрьму. Он вышел во двор обители посидеть в тени старого каштана. Ухоженный сад обители был прекрасен. Благоухали розы — алые, пунцовые, пурпурные. Олеандровые деревья были усыпаны белыми и розовыми цветами. Пылали недолговечные маки. Гудение пчел висело в жарком воздухе, подобное звучанию виолы да гамба. Кампанелла почувствовал — страшное напряжение, мучившее его все это время, оставляет его. Голова прояснилась, он может обдумать свое положение, может продолжить работу. За три недели на свободе он не написал ни строки. Такого с ним еще не бывало. Посидит в тени, подышит,

вернется в келью — и за работу. Слишком много времени потеряно!

Кампанелла еще сидел в саду, когда в келье настоятеля появились стражники папского нунция. Старший показал приказ, из которого явствовало, что они пришли за братом Томмазо. Напрасно пытался что-то сказать настоятель. За Кампанеллу внесен залог? Залог вернут. Кампанелла слаб и не может идти? Под руки поведем. Надо будет — потащим. Приказ есть приказ! Так распорядился его преосвященство папский нунций. Такова воля его святейшества папы. Настоятель не знал, что стряслось за это время, но почувствовал — спорить бессмысленно.

А произошло вот что. В Риме узнали, что Кампанелла приказом вице-короля освобожден из тюрьмы и находится в монастыре. Чтобы новость эта достигла Рима, потребовалось ровно столько времени, сколько нужно курьеру, доставляющему тайные донесения, на путь от Неаполя до Рима. Столько же времени ушло на обратную дорогу. Папскому нунцию в Неаполе предписывалось действовать, руководствуясь приговором, утвержденным Святой Службой, которого никто не отменял. Пусть знают в Неаполе и в Мадриде, чье слово в католическом мире последнее.

Глубокой ночью из Неаполитанского порта тайно и спешно отплывал парусник. Капитану было сказано, что ему надлежит в возможно короткий срок доставить в Римскую гавань на Тибре государственного преступника с охраной. Его обязали молчать о сем важном деле как в Неаполе, так и в Риме. Когда были спешно подняты паруса и корабль отвалил от берега, в гавань на галопе влетел конный отряд. Резко осаженные кони прядали ушами, свет и тени от факелов метались по причалу. Резкий голос, привыкший приказывать, с сильным испанским акцентом окликнул капитана:

— Эй, на борту! Находится на корабле Томмазо Кампанелла?

— Такого на борту нет! — ответил капитан, умирая от страха. На корабле стражники папского нунция, а на берегу солдаты вице-короля. Они недорого возьмут выпалить по его судну, пока оно в пределах досягаемости для их аркебуз.

— Нет такого на борту! — повторил капитан. — Мы везем дона Джованни Пиццуто.

Под этим именем на борт корабля был доставлен Кампанелла, под этим именем его вывезли из Неаполя из-под носа солдат вице-короля, под этим именем его доставили в Рим.

Кампанелле суждено совершать зловещие круги. В Неаполе его вернули в монастырь Сан-Доменико Маджоре, в Риме — в

Замок Святого Ангела, населенный дорогими и страшными воспоминаниями. Он шел по дворам замка, а рядом с ним шагали Стильола, Пуччи, Бруно и он сам — молодой, полный сил, не ведающий, что на склоне лет и на исходе сил снова окажется в этой тюрьме.

Странное безразличие охватило Кампанеллу. Он был не в силах начинать сначала борьбу за свободу. Григорию XV он посвятил трактат. Не помогло. Теперь на папском престоле Урбан VIII. В бытность свою кардиналом он слыл покровителем наук и поклонником поэзии. Не дает ли это некоторых надежд узнику — ученому и поэту? Нет сил думать об этом. Нет сил искать путей к папе. Однако Кампанелла пребывает в оцепенении недолго. Он не смеет сдаваться!

Кампанелла пишет почтительный комментарий к стихам папы, весьма недурным. Комментарий передан папе. Никаких перемен в судьбе узника. Новая попытка задумана тоньше. Кампанелла смолоду занимался астрологией, знал ее туманный язык, правила составления ее таблиц, формулы ее предсказаний. Постоянно упражнялся в составлении гороскопов. Почти во всех тюрьмах, где был Кампанелла, среди начальников и стражей находились люди, обращавшиеся к нему за предсказаниями по звездам. То, что он еретик, их не останавливало. Славе философа и поэта сопутствовала слава астролога. Для многих она была главной славой Кампанеллы.

Теперь он решил воспользоваться ею. Урбан VIII жил в постоянном страхе смерти. Наместнику Христа на земле христианское учение о бессмертии души утешения не давало. Страх смерти мешал папе спать, перехватывал дыхание, ледяным потом покрывал лоб, делал его больным. Молитвы не помогали. Он хотел знать, сколько ему осталось жить. И если срок мал, продлить его. Кто способен на это?

И однажды, обдумав все, что доносила молва о странностях властителя Ватикана, Кампанелла попросил друзей сделать так, чтобы Урбан VIII узнал о его занятиях астрологией. Искусно пущенный слух дошел до папы. Он распорядился, чтобы ему сообщили все, что известно о Кампанелле. Отчет, составленный Святой Службой, кого угодно убедил бы в том, что тот опасный еретик. Однако папа прочитал его по-другому.

Человека почти тридцать лет держат в тюрьмах. Многие годы в темной сырой яме и на цепи. Его жестоко пытают. Любой другой десять раз сдох бы от всего, что выпало на долю Кампанеллы! А он жив! Он в состоянии писать ученые трактаты, сочинять письма в свою защиту, привлекать на свою сторону людей. Значит, у него в руках есть тайные силы. Он не только может прочитать свою

судьбу по расположению небесных светил, он может подчинить себе судьбу. Черная магия, за которую полагается костер? Пусть так! Пусть черная магия, пусть колдовские заклинания, пусть что угодно! Только бы помог мне, Урбану VIII, узнать свой смертный час и отодвинуть его. Приближенные папы ошеломлены — его святейшество требует, чтобы к нему немедленно был доставлен узник Замка Святого Ангела Томмазо Кампанелла. Перечить его святейшеству никто не смеет.

Папа едва дождался Кампанеллу. Выслал всех секретарей и слуг. Они остались вдвоем — наместник бога на земле и еретик, признанный Святой Службой нераскаявшимся. Кампанелла вошел в папские покои узником. После нескольких встреч с папой он покинул их свободным человеком.

В нестерпимо жаркий июльский день 1628 года, спустя двадцать девять лет после того как Кампанелла был схвачен в Калабрии, он окончательно вышел на свободу, став советником Урбана VIII по вопросам астрологии. Уж не сон ли это? Нет, не сон! Папа уверовал, что никто, кроме Кампанеллы, не может составить ему верного гороскопа, а главное, никто, кроме него, не знает, как повлиять на светила, чтобы их положение было благоприятным для Урбана VIII. Кампанелла совершил шаг, еще более опасный и смелый, чем тот, которым спас себя в Кастель Нуово от смертного приговора, когда изображал безумие. Он пошел на великий риск, стал приближенным папы и выиграл.

Итак, он свободен!

Великое счастье! Нужно столько лет быть узником, чтобы его оценить. Свободен… Лучше поздно, чем никогда. Горькие слова. Друзья его погибли или умерли. Маврикия он отринул от себя. Дионисий исчез в неведомой дали.

Жизнь прошла. Перечеркнута тюремными решетками, задушена тьмой подземелий, вытекла кровью из ран. Убитые годы ему ничем не оплатят.

Ошибок не исправишь. Поздно…

Ну нет! Он столько лет боролся за свободу, что не станет упрекать ее за опоздание. Свобода никогда не приходит слишком поздно. У него достанет сил встретить ее достойно. Он насладится ею. И не в спокойной бездеятельности. Отдых не его удел.

Он не может позволить себе быть слабым. Если слабость заметят, его растопчут. Уверенным он должен предстать теперь перед папой, ни на миг не позволяя заподозрить себя в слабости. Пусть властитель Ватикана видит перед собой мудреца, не только знакомого с тайнами светил, но способного влиять на них, пусть папа почувствует, что зависит от Кампанеллы.

Однако ему не нужна свобода, которая уйдет на то, чтобы быть советником папы. Существовать ради того, чтобы спасать свое существование, он не хочет.

Да, сил у него немного и времени впереди тоже немного. Но пока есть силы, пока есть время, он пойдет по пути, который избрал однажды. У него есть цель — истины, открытые им, сообщить миру!

Выиграл свободу. Надолго ли?

Эпилог

Кампанелла! Кампанелла! Ты слышишь меня, Кампанелла?! Он проснулся, почувствовал, как тяжко бьется сердце. Кто зовет его? Никто. Ему померещилось. Это колокол звучит за стенами. Колокол бронзовый взывает к нему — колоколу живому. Ты еще жив? Ты еще жив, Кампанелла? Отзовись, отзовись, отзовись…

Где он? Под ним не тощая подстилка. Он не на каменном полу. Стены не давят и не дышат сыростью. У него мягкое и теплое ложе. Значит, он не в тюрьме. Слава богу! До сих пор каждый раз, когда он просыпается, ему чудится, что он в Замке Святого Ангела, или в Кастель Нуово, или в Замке Святого Эльма, или в Кастель дель Ово. Во сне он чувствует, как болят руки. Проснувшись, понимает, они болят не потому, что их вчера выворачивали на дыбе, а ноги ноют не потому, что их веревками притягивали к острым перекладинам. Пытки в прошлом, а ноги и руки болят всегда и никогда болеть не перестанут. Они изувечены так, что не болеть не могут.

Но где он? Тяжелый туман обволакивает сознание. Такое мягкое, такое теплое ложе было у него когда-то в доме Марио дель Туфо. Когда это было?

За окном голоса. Незнакомые голоса и речь не итальянская. Где он? Кампанелла вдруг все вспоминает. Он во Франции. Уже давно. Целых пять лет. Бесконечных пять лет. Он бежал сюда, когда ему в Риме стал грозить новый арест. А шесть лет после освобождения жил там в вечной опасности. Среди приближенных папы у него было много врагов, они только и ждали возможности погубить его. Он знал: в день, когда вера папы в могущество Кампанеллы-астролога поколеблется, он погиб. Ему бы давно покинуть Рим. А он оставался. Раньше в тюрьмах он боролся за свободу. Теперь он боролся за отмену запрета своих книг. Нелегкая борьба! Когда-то его врагами были прокуроры, судьи и палачи. Теперь его злейшим врагом стал главный цензор Ватикана — магистр Святого дворца Никколо Риккарди. Когда Кампанелла первый раз увидел его, он подумал, что Риккарди привиделся ему в страшном сне. Риккарди был уродливым карликом. Все звали его за спиной падре Мостро — отец Чудовище. И он мстил миру за свое уродство — более злобного и лицемерного человека не сыщешь! Вот с кем Кампанелла вел долгую борьбу. Кое-чего ему удалось добиться: имя его исключили из Индекса запрещенных книг. Это не справедливость восторжествовала, а новый приступ страха сделал папу особенно милостивым к своему астрологу. Чуткие к веяниям собратья из

доминиканского ордена удостоили брата Томмазо высокой чести: недавний еретик был провозглашен магистром богословия. Это не мешает отцу Чудовищу, который уже не мог запрещать сочинения Кампанеллы все сразу, запрещать их по отдельности.

Жизнь в Риме требует сил, хитрости, терпения. Здесь постоянно плетется паутина интриг, здесь живут слухами, здесь в единый узел связываются соображения высокой политики и мимолетное настроение папы. Кампанелла не придворный, не дипломат. Он опять совсем не бережется. Читает лекции новым ученикам. У него они есть опять. С некоторыми он беседует не только на философские темы. У Кампанеллы часто появляются живущие в Риме молодые калабрийцы. Узнав, что Галилей снова в опасности, Кампанелла — ему бы быть тише воды, ниже травы — опять вступается за Галилея. Враги Кампанеллы торжествуют — неосторожным этим шагом он сломает себе голову! В деле Галилея папа проявляет непреклонность: непрошеному защитнику несдобровать… Однако его святейшество счел за благо не придать значения заступничеству Кампанеллы.

Но тут стряслась беда. В Калабрии раскрыт новый заговор против испанского владычества. Новые заговорщики хотели продолжить дело, некогда начатое Кампанеллой, Дионисием и Маврицием. Только надеялись не на турок, а на французов и венецианцев. Начать они хотели с уничтожения вице-короля. Заговорщиков выдали. Главный из них, Томмазо Пиньятелли, был сразу схвачен. Он держался на допросах стойко, но испанцам удалось дознаться, что Пиньятелли в Риме принадлежал к числу учеников Кампанеллы. Они сделали вывод — старый мятежник причастен к плану нового заговора, и, по-видимому, не ошиблись.

Снова в переписке Мадрида и Рима появилось имя Кампанеллы. Испанская корона резко потребовала у Рима немедленной выдачи своего злейшего врага, несколько лет назад тайком вывезенного из Неаполя, а теперь виновного в новом злоумышлении против Испании. Друзья успели предупредить Кампанеллу.

Опять оказаться в цепях? Опять стать узником, которого под усиленной стражей везут в Неаполь? А там — Кастель Нуово, Кастель дель Ово, Замок Святого Эльма? Опять допросы? Опять одиночки? Опять палачи?

На это у него больше нет сил. Этого он больше не выдержит.

Французский посол, с которым Кампанелла вел беседы на философские и политические темы, давно предлагал Кампанелле приют, защиту и безопасность. Посвященный в планы нового калабрийского заговора, которому Франция благоприятствовала, посол теперь, когда заговор раскрыт, а участники схвачены,

настоятельно повторил свое давнее предложение, Кампанелла принял его. Его отъезд из Рима походил на бегство.

И вот он уже пять лет во Франции. Речь за окном его просторной кельи в парижском монастыре на улице Сент-Оноре — речь французская. И большой город за стенами монастыря — Париж. Здесь ему никто и ничто не угрожает… Чем хуже отношения французского короля Людовика XIII с Испанией, тем благосклоннее он к Кампанелле. Кампанелле покровительствует кардинал Ришелье. У кардинала свои счеты с ватиканскими прелатами, и кардиналу приятно показать, что он не считается с ними. Конечно, не все так хорошо, как хотелось бы. Книги Кампанелла издает с трудом. Ему то дозволяют их печатать, то чинят помехи. Но к таким превратностям он привык. Он беден. Но он и прежде не был богат. У него в жизни есть цель — собрать и издать все, что он написал. А это целая библиотека! И пока он не издаст ее, он не может позволить себе ни праздности, ни смерти. Написанное раньше надо перечитать, улучшить, дополнить. При каждом удобном случае напоминает он о главном из трудов своих, о «Городе Солнца».

Когда рождается наследник престола, будущий Людовик XIV, Кампанелла в «Эклоге на рождение дофина» пишет:

Соединятся цари, воедино сольются народы.
Солнечным названный Град воздвигнет великий герой.

Посвящая одну из книг, изданных в Париже, кардиналу Ришелье, Кампанелла поместил на первой странице слова: «И Город Солнца, который я изобразил, а тебе надлежит воздвигнуть, да воссияет вечным и немеркнущим светом». Пусть все, прочитавшие посвящение, вспомнят про Город Солнца, если читали о нем, и прочитают, если не читали прежде.

Кампанелла — значит Колокол, и пока колокол звучит, он будет напоминать про Город Солнца! И про свою милую родину, томящуюся под властью испанцев. О чем бы ни спрашивали Кампанеллу его французские покровители, какого бы совета ни просили у него, он говорил: Франция должна прийти на помощь Италии! Франция должна помочь Италии прогнать испанцев! Кампанелла — значит Колокол, и пока колокол звучит, он будет напоминать о родной земле, что томится под властью чужаков, будет призывать к ее освобождению.

Увидит ли он когда-нибудь Калабрию? Поднимется ли он когда-нибудь по крутой тропке на гору Стило, чтобы окинуть взглядом город, лежащий у его подножия, родное Стиньяно, поля, рощи, виноградники? Увидит ли он милую землю, ставшую

наконец свободной! Сможет ли, увидев ее, сказать: «Ныне отпущаеши…» Свершилось!

Ему представилась гора Стило, на ее склонах — верные ученики в белых одеждах праведников, вокруг — мир, свободный, справедливый, мудрый, прекрасный. Им предсказанный, им выстраданный.

Что заполнило сердце? Радость или боль?

— Вот и все, Джованни, — проговорил он, называя себя забытым детским именем. — Вот и все…

Кампанелла! Кампанелла! Ты слышишь меня, Кампанелла?! — бушевал, взывая к нему, невидимый колокол.

Он не мог ответить. Он больше ничего не слышал. Не дожив нескольких месяцев до семидесяти одного года, Джованни, сын сапожника из Стиньяно, брат Томмазо по прозвищу Кампанелла, Гражданин Города Солнца скончался.

1975–1978 гг.

notes

Примечания

1

Освященная облатка, заменяющая при причащении хлеб, символ тела Христова.

2

Пометки на полях книги.

3

Католический молитвенник.

4

Глава монашеского ордена провинции.

5

Льняной или шелковый платок с зашитыми частицами мощей, на котором изображено положение в гроб Иисуса Христа.